Новый Журнал

209

THE NEW REVIEW

1997

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский
1978-1981 редактор Роман Гуль
1981-1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Е. Магеровский
1984-1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986-1990 Редакционная коллегия
1990-1994 редактор Юрий Кашкаров

Пятьдесят шестой год издания

Кн. 209 **НЬЮ-ЙОРК** 1997

Главный редактор Вадим Крейд

Редакционная коллегия:
Сергей Голлербах
Марина Ледковская
Марк Раев
Всеволод Сечкарев
Валентина Синкевич
Зоя Юрьева

Секретарь редакции
Екатерина А. Брейтбарт

Обложка художника Мстислава Добужинского

THE NEW REVIEW
DECEMBER 1997
© 1997 by THE NEW REVIEW

Присланные рукописи не возвращаются

Просим издательства, редакции газет и журналов СНГ всякий раз ставить нас в известность о намерении перепечатать произведения, когда-либо помещенные на страницах "Нового Журнала"
Редакционная коллегия

THE NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by The New Review Inc., 611 Broadway, #842, New York, N. Y. 10012. Periodical postage paid at New York, NY Publication No. 596680. POSTMASTER: Send address changes to The New Review, 611 Broadway, #842, New York, N. Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

Вилен Разин — Вольный сбор 5
Юрий Дружников — Неудачники 18
Александра Попофф — В последнем плавании 36
Георгий Демидов — Фанэ квас (*окончание*) 45

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

Елена Аксельрод — На рынке; Октябрь в Нью-Йорке; После выставки 90
Николай Сарафанников — Зимний пейзаж; Открытка из Санкт-Петербурга; Деревня 92
Виктор Урин — Реквием 94
Григорий Марк — "В глубь неба..."; "Очнешься в будильничном..."; "В предыдущие жизни..."; "В тропическом..." 99
Иосиф Косинский — "Из ущелья этого хода нет..." 101
Александр Сибилев — "Что ж ты оставила поле..."; "Знать бы им, хребет тогда ломая"; "На кладбище Сен-Женевьев тишина..."; " Чья-то ж жизнь, как пуля — на излете..." 103
Марина Гарбер — "Те, которых давно я знала..." 106

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Борис Пастернак — Десять писем к Карлу Тенсу (публ. *Е. Пастернака*) 107
Эрих Голлербах — Разъединенное (публ. *Е. Голлербаха*) 124
Василий Яновский — Из дневника 1955-1959 гг. (публ. *Веры Крейд*) 164
Зинаида Гиппиус — Письма к А. Л. Бему (публ. *Ж. Шерона*) 206
Михаил Волин — Воспоминания (Гибель Молодой Чураевки) (публ. *Э. Штейна*) 216

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Генрих Иоффе — Большевизм умер сам 241
Григорий Свирский — Атланты держат небо 254

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Марина Ледковская — Забытый поэт (Кирилл Владимирович Набоков) 277
Лев Вершинин — Елизавета Пешкова — любовь и ГУЛаг 288

БИБЛИОГРАФИЯ

Генрих Иоффе — Э. Радзинский. Сталин; *Валерий Лебедев* — Виктор Суворов. Последняя республика; Игорь Бунич. Лабиринты безумия; *Вольфганг Казак* — The Modern Encyclopedia of East Slavic and Eurasian Literatures; *Ростислав Полчанинов* — Русская эмиграция в Югославии; *Алексей Арсеньев* — Мирослав Йованович. Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС, 1919-1924; *Марк Раев* — Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine; Soliers on the Steppe — Army Reforms and Social Change in Early Modern Russia 298
Анатолий Либерман — Обзор книг, присланных в редакцию 330

Об авторах 345

Вилен Разин

ВОЛЬНЫЙ СБОР

НЕ КЛИМАТ

Рабочий, видавший виды автобус второй час пылит по степи, везет на буровые вахту. Дежурную, очередную. Теперь много дней без дома, без семьи.

Дело привычное, это так, а все ж на душе хмарно. Сосет. Надо чем-то заполнить образовавшуюся пустоту, разогнать эту хмарь, развеять.

И первое тут средство, конечно же, хороший разговор. Под табачок, под вкусную сигарету.

Он и вяжется, разговор-от, неспешный, с паузами да намеками, шутками-прибаутками, со смешком, с веселым взрывным хохотом. В этот живой, бурлящий котел идет все, только давай!

Время от времени разговор начинает слабнуть, выдыхаться, того и гляди вовсе иссякнет. Тогда кто-либо из собеседников р-раз — и повернет тему, подкинет что-нето новенькое. Снова бурлит котел, греет душу, отвлекает от всяких смурных мыслей, всяких таких дум.

Говорили о детях. Дети — большие, малые — почти у каждого, и каждому есть что сказать, каждому любопытно услышать, как это у других. Говорили, говорили — да и попримолкли. Снова, видать, взгрустнулось.

В этот самый момент один молодой буровик — не то чтобы уж совсем молодой, поскольку семейный, но все-таки — тоже решил поделиться, добавить кое-что и от себя. На ту же всех интересующую тему.

— А я свою Дуську однажды застукал, — произнес он бодро. Котенка мучила.

Кто-то, отрешась от собственных переживаний, переспросил сумрачно:

— Как мучила?

Дуськин отец, топорща губы в ухмылке, пояснил:

— Казнь устроила усатому-полосатому. Свернула ему голову, потом стала ножницами отрезать лапки.

Лица вокруг напряглись, глаза насторожились, сделались жесткими.

— Ну... а ты? — вопрос прозвучал все так же сумрачно, тяжеловесно, но в голосе слышалось некое ожидание.

— А я ей говорю: эх, ты, дуреха! Разве это казнь? Сперва, говорю, надо лапы оттяпать — одну, другую, все четыре. А уж тогда, напоследки, — голову.

И гоготнул, давясь смехом, довольный собой, своим рассказом. Вот подкинул так подкинул!

Нелепый, бездушный смешок его достойно венчал эту дикую историю.

Все сидели ошеломленные и переглядывались неловко, растерянно. Трудно было даже представить себе что-либо подобное, вообразить.

— Ты что — разыгрываешь нас?

— На пушку берешь?

— Сбрехал, паря, да?

Дуськин отец, не ожидавший такой реакции, готов был оскорбиться.

— Ничего я не придумывал! Все — как есть.

Надулся, напыжился. Повисло каменное молчание.

Немного погодя автобус сбавил ход, остановился. Прямо посреди степного голого пространства. Буровики, не сговариваясь, стали один за другим выходить.

— Ты тоже выйди давай, — сказали незадачливому отцу.

— А на́ что? — возразил он заносчиво. Он все еще чувствовал себя обиженным.

— Выходи-выходи! Потолкуем на вольном воздухе...

Несколько дней спустя, прежде времени воротясь в поселок,

буровик этот пришел в контору и положил на стол начальника геологоразведки листок бумаги с немногими строчками на нем.

Начальник взял листок, со вздохом заглянул в него. Людей, как всегда, не хватало, каждая пара рабочих рук была на счету. Однако делать нечего: конфликтная ситуация, даже можно сказать, остроконфликтная. И он, вооружась шариковой ручкой, вздохнул еще раз.

— Стало быть, здесь тебе не климат?

Буровик, пряча глаза, стыдясь своей не совсем еще поджившей физиономии, буркнул:

— Угу. Стало быть, так.

ЛУЧ ЗАКАТНЫЙ

В предвечерний закатный час, когда солнце шлет в комнату ко мне последние лучи, на твой портрет ложится мягкий, розоватый отсвет. Твои черты обретают объемность, в них будто какой-то скрытый трепет, будто под этой бледной, гладкой кожей затеплилась живая плоть. Мнится: еще чуть-чуть, и лицо твое дрогнет, вспыхнут глаза, с губ сорвется дыхание, а затем, может быть, и слово. Твое слово, мама.

Я весь в ожидании, я почти верю, что услышу его. И жду, жду.

Но закатный луч короток. Он быстро слабеет, блекнет, пропадает. Блекнет живое тепло на твоем лице, и нет уже прежнего трепета, как нет и предощущения чуда.

Потом я еще долго слышу в тишине стук собственного сердца.

ПОЧЕМУ?

Мы были тогда молоды и счастливы, даже как-то уж слишком, до неприличия счастливы. Ожидали своего первенца.

Мы приехали в тихий украинский городок, весь в садах и дубравах, и сняли комнату. Беленую, с прохладным глиняным полом, убранную расшитыми рушниками.

По утрам, умывшись водой из колодца, с аппетитом ели хрусткие,

в пупырышках огурцы, бело-розовую редиску, душистый укроп — все это только что с грядки. Пили парное козье молоко. Наша хозяйка, пожилая, одинокая, коровы не держала. И шли на речку.

По пути заглядывали на базар, покупали спелые — тронь, брызнут соком, — вишни, медово пахнущие абрикосы. Потом купались, читали, валялись на траве под деревьями. Мечтали, сочиняли свою будущую жизнь.

Обедали поздно. Вечерами гуляли по дремотно-покойным улицам. Подолгу сидели на лавочке возле хаты, зачарованные звездным южным небом, слушая, как шумит в высоких ветвях жаркий, еще не остывший ветер, ощущая его у себя на лице, на губах.

Ветер рождал неясное волнение, дышалось глубоко, мысль летела... Нам было хорошо. Так хорошо, как бывает, наверное, только однажды, в самую рассчастливую пору.

Хозяйку мы видели мало. Говорили с ней тоже мало: так, несколько слов. Она была, как нам казалось, нелюдимой, общения не искала. Постоянно что-то делала, чем-то была занята.

Иногда я замечал ее недвижно стоящей где-нибудь в огороде, под грушей — их росло у нее две-три. Она могла так стоять и стоять. Взгляд, устремленный вдаль, и вся она будто не здесь, не в сегодняшней, не в теперешней своей жизни...

Отпускной блаженный месяц отсчитал почти все денечки. Мы собрались уезжать. Хозяйка пошла проводить нас. Так ей пожелалось.

Вместе дошли до конца улицы. Постояли минутку в неловком молчании, стали прощаться.

В глазах женщины, в ее лице, наклоне головы, покрытой выцветшей косынкой, было что-то жалостно-печальное, что-то, от чего вдруг сжалось сердце... Просто так уйти мы не могли. Я обнял старую женщину, поцеловал в морщинистую щеку, потом то же самое сделала жена.

И тут наша хозяйка тихо попросила:

— Напышить мэни пысьмо.

— Письмо? — переспросил я.

— Ага, пысьмо.

— Конечно, конечно! — стал я уверять ее бодрым голосом. — Обязательно напишем.

Мы уехали. Дома тотчас навалились дела, заботы, с письмом я со дня на день откладывал. Потом вовсе забыл о своем обещании. А когда вспомнил долгое время спустя, подумалось, что писать уже поздно, ни к чему. И не написал.

Теперь, дожив до седых волос, я спрашиваю себя: "Почему, ну почему я так поступил?! Не мог же я, в самом деле, не сознавать, как нужно, необходимо было той осиротевшей в жизни женщине получить мое письмецо? Не мог, конечно! Допустим, вначале ее просьба и удивила. Но потом-то я все понял. Понял, что эта просьба непростая, за ней что-то есть, что-то трудное, горькое. А все-таки не написал, не собрался.

Выходит, счастье эгоистично? Или не в нем тут дело?.. Откуда же в нас, так чувствующих жизнь, эта душевная глухота? Глухота, что сродни равнодушию.

УЛЫБКА ФОРТУНЫ

Одному московскому художнику — вполне русскому человеку с затерявшейся где-то в ветвях генеалогического древа инородной добавкой — вдруг стало известно: в Эгейском море, на каком-то там островке живет его родня, хотя и дальняя, вроде бы даже владеет тем крошечным кусочком суши. А вскоре, как улыбка фортуны, ему оттуда — приглашение, зовут погостить, даже очень зовут, хотят поближе познакомиться.

И вот он на острове, где сплошь экзотика, где все для него — пожалуйста. Наслаждайся природой, твори, отдыхай, вообще чувствуй себя как дома. Пожелаешь — можно и поселиться, обрести здесь тихую гавань; родне это даже польстило бы.

От зари до зари художник пишет, рисует. Жизнь его наполнена до краев. Но... странное дело! Все чаще дотоле ему неизвестное, неведомое чувство посещает его. Чувство какой-то зажатости, что ли, тесноты. Оно, это чувство, давит, сковывает, оно будто гиря.

Ну, действительно! Метров пятьсот-шестьсот всего-навсего прошагал — и суша кончается, дальше земли нет. В другую сторону — то же самое. Тоска! Эффект "золотой клетки".

Всю жизнь проживший в огромной стране, он привык к про-

стору и размаху, к необозримости. Ну хоть тот же Хабаровск или Владивосток, те же Камчатка, Чукотка — туда лететь-ехать ой-ой сколько! Да что там лететь — при одном поглядении на карту дух захватывает.

Потомился художник, потомился, тяготясь с каждым днем все больше, понял: этот рай не для него. Не для него, что поделаешь! И, немало удивив успевших привязаться к нему островитян, махнул раньше времени восвояси, на милую сердцу сторонушку, какая она ни есть. Привычка свыше нам дана.

ЯГОДЫ

Столичный рынок, разнолюдье, разноголосица. В ряду торгующих — пожилой мужчина, похоже, приезжий. Перед ним на прилавке товар, дары леса. Тут и связки сушеных грибов, и орехи, и плоды шиповника. Причудливой формы корневища — материал для поделок. Всякое прочее.

— А это у вас что?

Женщина в очках, близоруко склонясь, рассматривает пучочки алых, прихваченных морозцем ягод.

Мужчина-продавец с ответом не спешит. Изломив густую бровь, поглядывает колко и как бы с некоторым удивлением: мол, городская, да еще небось ученая, а не знает, зряшные вопросы задаст.

— Что за ягодки такие? — добивается женщина.

Помаежив ее еще малость, бровастый отчетливо, со значением произносит:

— Шукшин.

— Чего-чего? — круглятся за стеклами очков глаза.

Мужчина шумно, досадливо вздыхает, качает головой. Потом повторяет раздельно, будто диктует беспонятливой ученице:

— Шук-шин! Вот чего!

— А-а! — выражение недоумения на лице женщины вдруг сменяется светлой, хорошей улыбкой. — Вон оно что! Ясно.

Слегка зардевшись, все еще изумленно улыбаясь, дотошная покупательница отходит.

Продавец с укоризной глядит ей вслед.

У ГРОБОВОГО ВХОДА

Дремотно-тихое кладбищенское утро. Ивы, рябинки, березки, елочки, посаженные два десятка лет назад, встали уже молодым, набирающим силу леском. За леском поспешает подлесок — деревца у свежих могил, как и прежде, сажают, сажают...

Энергичные галки расхаживают вокруг, деловито склевывают всяких там жучков-паучков. Белочка, перебравшаяся из большого леса, то взлетает на дерево, то спускается вниз, быстро-быстро что-то грызет — после недавней пасхи тут есть чем поживиться, полакомиться. От ее пушистого, стремительного присутствия — будто свет на душу.

Пусть их будет здесь больше — птиц, белок, пусть будут они и потом, когда я займу свое место, которое уже закрепил за собой — рядом с мамой. Если б еще при этом "дыша, вздымалась тихо грудь", я был бы, пожалуй, вполне доволен земным, бесхитростным жизнеустройством, где все вперемешку — добро и зло, радость и горе, бытие и небытие.

НА ПОТОМ

Как большинство нас, грешных, был он честолюбив, размышлял: вот достигну, о чем мечтается, осуществлюсь, тогда уж и разверну свое "я" на всю катушку, в полной мере стану самим собой. А пока мечты не сбылись, пока я обычный середнячок, и вести себя надо тихо, скромно. Соответственно.

Увы, ничего из ряда вон выходящего он не добился, и жизнь — неповторимая, единственная — прошла в некоем ожидании, в откладываньи на потом настоящего, раскованного бытия. Когда, наконец, он это понял, исправлять что-то, менять модус вивенди было уже поздно. Сил не осталось — ни физических, ни душевных.

Так, по инерции, он дожил остатнее, не вкусив — хоть напоследок — простой радости побыть тем, что есть, каким сотворила тебя мать-природа. Пожить в полном согласии, единении с нею, что издревле считалось основой земного, немудрящего счастья. Пусть и призрачного, эфемерного, как сама наша быстротечная жизнь.

БАНАН

Воскресным днем мы с Олюней, моей внучкой, отправились на прогулку. Внучке три года, она говорунья, затейница, вообще славный человечек. Но речь не о том.

Гуляли мы, гуляли — пошел дождь. Решили переждать в ближайшем магазине. Это был овощной.

К прилавку тянулась очередь. Продавали бананы.

— Олюнь, купим бананов?

Круглая розовая мордашка излучает сияние. Еще бы, ее любимое лакомство!

Пристроились в хвост — и тут же услышали:

— Больше не становитесь! Бананы кончаются.

Ах, досада! Я уж было представил, как выберу для Олюни самый большой, самый красивый банан, дам ей. Сколько будет радости... И вот те на! С погодой не повезло, теперь здесь.

Бананы и вправду скоро кончились. А других фруктов не было.

Огорченные, стали мы с Олюней у витрины. За толстым стеклом по-прежнему сеялся дождь, пробегали, укрывшись под зонтиками, люди.

Тем временем к нам подошел рабочий-подсобник в синем, видавшем виды халате. Взлохмаченная шевелюра, добродушная улыбка. Эта улыбка была обращена к Олюне. Все так же приветливо улыбаясь, он протянул ей желтый, спелый банан, уже освобожденный с одного конца от кожуры.

— Держи, малышка. Ешь.

Олюня смутилась: дядя, правда, совсем незнакомый, но он так хорошо глядит на нее, а банан так вкусно пахнет... Взяла.

Надо бы, конечно, получить сперва мое согласие. Да чего уж там! Всем нам свойственно отступать от правил.

Но что это? Моя Олюня молчит. Дар приняла — и ни слова. Совсем нехорошо.

— А что надо сказать?

Смотрит то на дядю, то на банан в руке. И безмолвствует.

— Оль, ты же знаешь: нужно поблагодарить. Что ты скажешь дяде?

Стоит, очи долу. Растерялся ребенок.

Дядя сам приходит на помощь.

— Ты ешь давай. Откусывай... Во-от!

Обращается ко мне. Рассказывает.

— В войну мы с матерью под Москвой жили, в поселке. У нас там госпиталь располагался. Как-то раз я руку порезал, прибежал в крови. Пять годков мне было только-то. Мать испугалась, в охапку меня — и скорей в госпиталь, к медицине. Там все что надо сделали, перевязали. А больно! Они со мной и так, и эдак — я в три ручья. Пацан... Тогда сестра — в белом таком халате — вынимает из кармана сухарь. Да не простой — обсыпанный сахаром. И мне. Плакать я тут же перестал, зажал сухарь в здоровой руке, гляжу на это чудо во все глаза. Такое вдруг счастье! А мать — ну, вот как вы сейчас: "Что надо сказать? Сказать-то чего надо? А?.." Я молчал-молчал, а потом и говорю сестре этой в белом халате: "Дай, — говорю, — еще..."

ТАИНСТВО

Не мысль, не чувство, не запавший в сердце образ, нет, скорее, лишь отблеск чего-то ушедшего, позабытого, вдруг — вне всякой связи с настоящим — мелькнул, едва коснувшись сознания, на краткий миг воскресив в душе нечто светлое, трепетное.

Мираж через годы? Нечто от подсознания, от того, что живет в нас само по себе, по своим туманным законам, и что, наверное, можно квалифицировать как наше альтер эго, наше второе "я"? Игра воображения, которое иногда задает нам такие загадки? Некое таинство, способное захватить, взволновать, оставаясь при этом нерасшифрованным, оставаясь инкогнито?

А может, просто почудилось, что воскресил, поблазнилось, попритчилось, настолько был тот миг неожиданным, быстролетным. Настолько он был эфемерным.

И ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ

В зоомагазине переполох. Какой-то человек, энергично орудуя палкой, устроил форменную охоту на маленького ярко-зеленого попугайчика. Перепуганная птаха мечется, перелетает с места на место, жмется к потолку, а человек со все возрастающим упорством, с остервенением снова и снова целит в него своей грозной клюкой.

— У-у, гад! — восклицает он, промахнувшись, и готовится к новой атаке.

Публика в недоумении. Публика негодует, шумит.

Выяснятся... Человек этот только что купил попугайчика, выложил за него свои кровные. А попугайчик как чувствовал, в чьи руки попадет, упорхнул — и под потолок. Администрация ни при чем: сам покупатель упустил, сам виноват. Вот он и неистовствует: не желает, чтоб его "вещь" пропала, досталась кому-то задарма. Уж лучше пришибить зловредную птицу, за которую заплачено.

ДОМ, В КОТОРОМ..

Один мой приятель познакомился в Польше с личным фотографом Папы Павла Иоанна. Фотограф живет в Варшаве, но часто бывает в Риме, в Ватикане, снимает Папу во всех его поездках, выпустил много альбомов. Ну, и так далее. Как-то сказал своему русскому знакомому: "Сделаю вам подарок". И повез куда-то в предместье.

Вышли из машины, подошли к какому-то дому. Вдруг личный фотограф — на колени, и замер. Идет дождь, а он с непокрытой головой, недвижим, в руке горящая свеча.

Что такое? Зачем? Почему?

Оказалось: это дом, в котором Папа родился.

ИРМА

Пройдя в глубину комнаты, Ирма повернулась на каблуках, огляделась.

Ручной работы, под старину, вязаная скатерть на столе. Под ногами пестрый импортный палас. Новомодное бра над тахтой, мягкий голубоватый свет... Как это сказано: голубой для уюта, красный для сладострастия. Ну, с красным придется повременить, а голубой как нельзя кстати. Словом, комфорт, интим. В его вкусе.

Постояла у зеркала — большого, почти до самого пола.

Стройная, вся — изящество, вся — соблазн. Брошенные на плечи волосы, гладкая, шелковистая кожа, чуть затуманенный взор... Она еще хороша, еще очень хороша. Может быть, внешне немного холодновата. Но кто бы знал, какие страсти, какие бури у нее в груди!

Потом, опустившись в кресло, взяла длинную душистую сигарету, щелкнула зажигалкой.

Придет сегодня? Он уже почти дозрел... Полгода назад, с тем, другим, она слегка поторопилась — уж очень хотелось поскорее прибрать его к рукам. Мужчина хоть куда, нравился ей, и с положением, с блестящей перспективой... В последний момент сорвалось, чем-то, видимо, насторожила. Ну, да может, оно и к лучшему. Твердоват был, упрям, себялюбив... Этот — глина. Лепи что тебе угодно. Ради обещанного ему блаженства на все пойдет, надо думать, на все. А ей такой как раз и нужен. Именно такой. Чтобы под башмаком у нее чувствовал себя счастливчиком.

Она вспомнила свою мать, красавца-отца. Вертопрах был редкостный, один вид чужой юбки кружил ему голову. А мать, безвольная, слабая, всю жизнь только и делала, что лила слезы да прощала.

Нет, с ней, Ирмой, подобного не случится, она построит свою личную жизнь по иной, куда более приятной схеме. И новый ее избранник должен с самого начала крепко-накрепко усвоить: все только так, как она пожелает. Отныне — и навсегда. Сегодня вечером станет ясно, принял он это условие *безоговорочно* или еще раздумывает? Мужчина он или слюнтяй, тряпка?

Он знает — она дала ему это понять: никаких компромиссов! Ей претит сама мысль о чужом ребенке. Конечно, по-человечески ей даже жаль ту женщину, его жену. Умереть при родах, совсем молодой! Не повезло бедняжке. Но взять чужого ребенка, эдакую обузу — нет, это не для нее, не для Ирмы. Она хочет жить. Жить!

Молодость, красота так недолговечны. Пока они есть, можно желать и добиваться. А будущий муж еще оценит ее, молиться на нее станет... Теперь же он должен решить, сделать выбор: она и все, что сулит ему жизнь с нею, либо ребенок, рожденный той женщиной. Ребенок, который еще ничто. О сделке и речи быть не может. Исключено! И пусть решает все сам, без ее участия. Она и знать ничего не желает.

Ирма рассеянно перелистывала журнал, когда в дверь позвонили. Коротко, деликатно. Она не спеша поднялась, остановилась у зеркала. Привлекательна, в высшей степени. И сколько достоинства. Принцесса!

Звонок молчал. За дверью терпеливо ожидали.

Ирма самодовольно усмехнулась и пошла открывать.

Он, конечно, он. Тщательно выбрит, весьма тщательно одет. В руках букет, какие-то свертки. Еще с порога, откровенно любуясь, окинул ее взглядом, жадно смотрит в глаза.

— Можно войти?

— Разумеется. Прошу.

Он преподносит ей цветы, целует руку. Несмело тянется к ее губам. Ирма, чуть-чуть играя, подставляет щеку, хотя... можно бы и губы. Она уже все увидела и все поняла. Все, что хотела увидеть и понять.

Он пришел не просто так, не уговаривать. Он сделал выбор — этот "новый русский". Да, сделал. Он выбрал ее, Ирму.

СОСЕДИ

Муж, уходя на фронт, наказывал: "Сиди до последней возможности, прежде времени не срывайся. Сорвешься — все потеряешь: дом, детей..." И я сидела. Бои шли уже где-то недалеко, многие поуезжали, в леса поуходили. Звали меня с собой. А я все сидела, слушала фронт. Все уже подготовила, даже сено для козы увязала. Но с места не трогалась, наказ мужнин помнила.

Соседи, конечно, всякие были. Кое-кто заходил, злорадствовал: "Твой партейный, знаем! Вот немцы придут — мы на вас покажем..."

Особо усердствовала одна женщина — они наискосок от нас жили. Столько яду на меня вылила, столько выплеснула злобы, угроз.

А фронт до Конакова до нашего так и не дошел. В Клину немец был, посвирепствовал. Дальше его не пустили. Вскорости вовсе погнали.

После войны мы с этой женщиной иногда встречались. Ни она мне ни слова, ни я ей. Молча каждая в свою сторону, своей стежкой-дорожкой.

Потом она умерла, осталась дочь. И надо ж такому случиться — сын привел ее в дом к нам невестой!..

Ничего я, конечно, молодым не сказала. Зачем?

Пусть свою жизнь живут. Пусть будут счастливее нас.

ИЗ МУЗЫКИ ДЕТСТВА

Самые счастливые у меня воспоминания — о детстве. Не оригинально? Что ж с того. И самое из них самое...

Летнее росное утро. Мы с отцом едем в поле. Вдвоем — он и я. Солнце еще невысоко, его косые лучи бьют из-за леса. Кое-где понизу туман, он редеет, редеет прямо на глазах.

Отец впереди, в руках у него вожжи. Он правит и что-то себе напевает вполголоса. Он любит вот так, в тихую минуту, что-нибудь задушевное... Время от времени, примолкнув, поворачивает ко мне голову. Просто так. Ему отрадно видеть меня, видеть, что я, его дочура, здесь, с ним рядом, что мне хорошо.

Мне хорошо!.. Я сижу сзади, свесив голые ноги. Это мое любимое место. Дорога после дождя сырая, лужи серебрятся. И комья грязи мне по ногам — шлеп... шлеп... шлеп...

Вот это ощущение — как грязь шлепает по голым икрам, пяткам, ступням — живо во мне по сей день. Оно будто символ безоблачного счастья, привет из светлого, сияющего далека.

Москва

Юрий Дружников

НЕУДАЧНИКИ

Мне нравилось одно существо с французского отделения.

Кое-что про нее удалось выяснить. Ее звали Лина. Она почти совсем окончила балетное училище Большого театра, когда ее, как она сама подругам объяснила, выбраковали. За что — я не мог догадаться, сколько ни глядел на нее в толчее перерывов между лекциями. Длинноногая, длинношеяя, с походкой, полной грации, она ступала по земле так, словно это был не грязный университетский коридор, а райская долина. Волосы у нее были абсолютно черные, туго затянутые на затылке аптечной резинкой. Глаза чуть раскосые, губы, всегда готовые растянуться в улыбке. И никакой косметики, все свое. Последнее обстоятельство по своим восемнадцати годам я считал высшей добродетелью. Ее подруги ходили с яркими сумками — она носила черный чемоданчик. Они постоянно прихорашивались — я ни разу не заметил, чтобы она погляделась в зеркало. Я бы на ее месте любовался собой ежеминутно. Короче говоря, она являла собой всему миру совершенство, сомнений у меня не возникало, кроме одного.

Единственным ее недостатком оказалась фамилия. Она портила картину. Фамилия была Умнайкина. С такой фамилией в наш ироничный век нужно думать над каждым словом. Лучше бы она была Глупышкина или Дурнайкина. Хотя жил известный физик Умов, но то было давно, в доироническую эпоху.

Фамилия ее, думал я, станет зацепкой, с помощью которой отыщутся другие недостатки, и постепенно я остыну. Но других недостатков не находилось. Как я ни противился, мысли об этом существе стали существенной частью моего бытия. Она казалась

легкой и остроумной, близкой по духу, по интересам — по всему. Правда, все это были только предположения, поскольку Лина Умнайкина оставалась недоступной. Со своей нерасторопностью и неизжитым еще комплексом неполноценности я только искал способа хотя бы перебросить с ней парой слов. Если б она мне меньше нравилась, сделал бы я это без труда. Несмотря на непрерывные тусовки всех со всеми, мы с ней, как ни странно, ни разу не оказались в одной компании. Одну ее я не видел ни разу, подруги так и липли к ней. Даже попытка просто поздороваться провалилась: она ответила рассеянно, словно пыталась вспомнить, кто я такой.

Сидя на лекции, я думал о том, как увижу ее в коридоре. В коридоре репетировал, как подойду и... Мне бы только подойти. Потом уж я бы не растерялся. Наконец, решился: теперь или никогда. После звонка, чуть не сбив с ног профессора Крючкова, выскочил первым из двери, пробежал полтора коридора и, глотнув воздуха, остановился возле аудитории, где по расписанию должна была сидеть она.

Умнайкина появилась из дверей, но, шепча ей что-то на ухо, рядом с ней волочился Баландин — длинный парень в очках с четвертого курса истфака. Баландин играл в волейбол за сборную института и фактически был главным забивалой, вся сборная играла на него. Лина прислонилась к перилам не то у дорических, не то у коринфских колонн и смотрела с балкона вниз. А Баландин, зажав между щиколоток спортивный чемоданчик, продолжал ей что-то страстно рассказывать. Я растерянно стоял возле двери в опустевшую аудиторию. Баландин покровительственно похлопал Лину по плечу, сел перед ней на чемодан и, взяв в руки воображаемую гитару, хрипло запел:

Прошел меня любимый мимо,
Прийти к фонтану повелев.
Я прихожу, смотрю: любимый
Стоит в кольце прелестных дев.
На ногу ногу запрокинув,
Стоит он в блеске пышных фраз.
Я на диване рядом стыну
Уже, наверно, целый час.

Она внимательно слушала, слегка улыбаясь и не подозревая, что это единственная песенка, которую Баландин знает и поет всем, на ком сосредоточился его взгляд. Бежавшие мимо студенты останавливались, с любопытством наблюдая за этой сценой. Он, вдохновленный публикой, продолжал:

— Легли колонн густые тени.
У института на виду,
Руками охватив колени,
Своей я очереди жду.
Стоит, о смысле жизни споря,
Не собирается кончать.
О, Боже! О, какое горе,
Любить такого трепача.

— Только так, а не иначе! — прибавил Баландин свою любимую поговорку. — Песня Ады Якушевой, ставшая впоследствии народной, посвящена ее первому мужу Юре Визбору.

Студенты разбежались. Баландин поднялся с чемодана, поклонился и поднес к глазам Умнайкиной ладонь. Что-то писал на ней, водя пальцем другой руки. На губах Лины блуждала усмешка, губы шевелились, читая буквы, которые выводил лучший волейболист института. Он сжал ее плечи, закрепляя свой успех, но она вырвалась и убежала. Баландин захохотал.

— Только так, а не иначе! — проходя мимо меня, повторил он. — Еще сутки, и крепость будет наша!

Подмигнув мне, он удалился, довольный собой. А Лина уже была окружена девчонками. Я побрел не солоно хлебавши.

Баландинские штучки нам известны. Он всегда зазывает симпатичных девчоночек болеть. А поскольку наша сборная выигрывает благодаря его прыжку, получается, что все остальные ему только мешают. Таким образом, провожать приглашенную болельщицу он идет королем ринга. Если бы у меня был прыжок Баландина! Я бы допрыгнул до Лины в один момент.

Увидел я Умнайкину впервые в конце лета на приемном экзамене. Сочинение писали сразу несколько потоков. Она сидела рядом, через узкий проход, и видна была мне вся — от черной аптеч-

ной резинки в волосах до блестящих пряжек на белых туфельках, которыми она упиралась в скамейку впереди. Она похожа на балерину, подумал я тогда и засмеялся: балерина слизывала языком чернила с пальца. Почувствовав на себе пристальный взгляд, она оглянулась, сделала недовольную гримаску и только что облизанным пальцем показала сперва на меня, потом на свои глаза и на тетрадь. И улыбнулась. Если бы я встретил ее в приемной комиссии, когда подавал документы, я подал бы их на французское отделение.

Сидя на лекции по истории западной литературы, я напряженно думал, как поступил бы Бальзак, чтобы сблизиться с Умнайкиной. Но Бальзак жил в эпоху иных человеческих отношений. Может, послать ей стихи? Но полфакультета пишет стихи, мои не лучше. Позвать ее в воскресенье на стадион, где я буду стартовать в кроссе филфака? Пусть увидит, как я, задыхаясь, бегу одним из первых среди последних. А что если пригласить ее в театр?

Мысль эта пришла в голову потому, что с театром у меня были непростые отношения.

2

В первый день лета, после получения аттестата зрелости, настроение мое оставалось радужным. На второй день оно омрачилось размышлением, как жить дальше. Весь третий день я жалел, что раньше об этом не думал, а на четвертый случайно столкнулся на улице лицом к лицу с Андреем Федорчуком. Лицо у Андрея было озабоченное, он спешил, и, коль скоро узнал меня и остановился, зачем-то я ему, несомненно, понадобился.

— Чем занят? — Андрей ткнул в меня пальцем.

— Ничем.

— Чудненько! У меня деловое предложение. Я, понимаешь, теперь помощник режиссера. Беру тебя в театр.

Он бросал спасательный круг моим тревогам.

— Прямо? — не поверил я.

— Минуя вуз, — расхохотался он. — Завтра в одиннадцать ноль-ноль придешь к служебному входу. Будешь участвовать в гражданской войне.

— Это как?

— Не бойсь! Нам людишки нужны для "Любови Яровой".

Он сгреб свои длинные волосы пятерней со лба и побежал дальше, а я остался на краю тротуара, жалея о том, что ничего толком не узнал, не выспросил. Неужто в театр со служебного входа? Ведь не пустят же!

За два года до этого к нам в школу пригласили выступить одного известного артиста. Потешая зал, он рассказывал смешные эпизоды из жизни за кулисами, и это было восхитительно. Девчонки и учительницы чуть с ума не посходили. Меня он загипнотизировал. Я вдруг увидел себя на его месте на сцене почему-то в широкополой шляпе с пером. Я фехтую на шпагах, объясняюсь в любви, срываю поцелуй и кланяюсь, кланяюсь, кланяюсь. Публика неистово аплодирует и бросает мне цветы, забыв о том, что пора бежать в гардероб занимать очередь. Короче говоря, решение было твердое, как сталь: буду актером.

Что касается конкретного пути из неартистов в артисты, над этим я как-то не очень задумывался. Впрочем, кое-что почитал. В книгах про великих актеров рассказывалось, как они преодолевали свои недостатки. Мне тоже хотелось преодолеть свой невысокий рост и, мягко говоря, недостаточно приятное выражение лица, далекое от требований, предъявляемых жаждущим пробраться в театральные вузы, где попавших счастливчиков превращали в Жераров Филиппов и Мастроянни. Только неясно было, как конкретно надо преодолевать.

Я пошел в драмстудию, которой руководил пятикурсник из театрального училища Андрей Федорчук. Почему-то он с уважением относился к моим сценическим опытам, подбадривал меня. А я принимал это уважение как дань моему таланту. Ведь сам Федорчук был без пяти минут настоящим режиссером.

Теперь, когда вахтер в театральной проходной поставил галочку в списке против моей фамилии и пальцем указал, как пройти к помрежу Федорчуку, я подумал: вот я и стал актером. Такая у меня генетика. Мой компас вывел, куда надо.

— А вот и еще один! — весело сказал Федорчук.

Он взял меня за шиворот и повел к режиссеру. Так в студии во время репетиции он разводил нас за шиворот на свои места в мизансцене — это проще, чем объяснять, где тебе, бестолочи, занять позицию.

Режиссером оказался усталый седой человек с впечатляющим животиком и одышкой, похожий больше на бухгалтера. К губе его присохла погасшая сигарета.

— Новобранец, — представил меня Федорчук. — Но с хорошим опытом.

— Опять из твоей студии? Ты их что, как пирожки печешь?

Сопя, режиссер посмотрел на меня в упор, потом, отступив на шаг, прищурился и оглядел сверху вниз и снизу вверх, сложил свои огромные губищи дудочкой, нехотя вынул из кармана замшевой куртки руку. Он немного пошлепал губами и ткнул меня в плечо, как тыкают вилкой рыбу, которую надо доесть, но уже не хочется — не вкусно.

— Для красного солдата мелковат, — промямлил он. — А белых у нас уже своих полно. Не надо!

— Да я ему уже вроде пообещал, — сказал просительно Федорчук. — Парень хороший, старательный. Наш человек...

— Ты б еще не нашего привел! — возразил режиссер и, повернувшись, крикнул: — Голубец нужен задник, голубец! На кой мне эта ядовитая зелень?!

Стрелка моего компаса заколебалась. Я вздохнул и хотел уйти. Но тут режиссер снова повернулся ко мне:

— Старина, а ты в джазе себя не пробовал? Имею в виду: чувство ритма у тебя есть?

Я скромно кивнул.

— Возьми его, — устало сказал он помрежу. — Проведи через второе действие. Пускай поработает лошадью.

"Любовь Яровая" шла полным ходом уже не в репетиционном зале, а на сцене, но еще без костюмов и грима. Меня поставили слева у кулисы, неподалеку от пульта помощника режиссера. На щите перед ним загорались и гасли сигнальные лампочки. Федорчук сидел во вращающемся кресле и бурчал в микрофон:

— Начинаю второе действие. Кончайте курить. Занятых в первой картине прошу на сцену. Прошу пошевелиться!

Помреж недолго возился со мной. Я быстро сообразил, что и как делать. Все-таки в кармане у меня лежал аттестат зрелости. Ну, пусть не в кармане, а дома, в шкафу под бельем, — не придирайтесь к словам. По гениальному замыслу режиссера, когда кра-

сные временно отступают, поручик Яровой должен в панике промчаться на лошади, в глубине за сценой остановиться, а затем появиться перед зрителем.

С лошадью, хотя это эффектно и привело бы зрителя в восторг, решили не связываться, как с дорогостоящей и трудно управляемой стихией. Магнитофонов тогда в театрах еще не было, музыку делал небольшой оркестр в яме. Три дня с утра до вечера, к ужасу родни и соседей, лошадь тренировалась дома и достигла несомненных результатов. Стоя слева за кулисой, я держал наготове руки с зажатыми в них кастаньетами.

Моя работа начиналась после взмаха руки Федорчука, следом за фразой на сцене тылового деятеля Елисатова "Как бы трюмо не повредили". Дождавшись этой фразы, я начинал цокать тихо, потом лошадь приближалась, и звук кастаньет становился громче: Та, та-та, та-та-та, та-та-та, та-та, та-та-та-та-та, та-та!

Тут поручик Яровой соскакивал с лошади и стремительно бежал через сцену. Вслед ему Елена, жена профессора Горностаева, кричала:

— А, голубчик! Что? Режь буржуев, как кур?!

Любовь Яровая испуганно спрашивала:

— Ай, кто, кто там?

А лошадь еще некоторое время цокала за кулисой копытами, перебирала ногами. После этого я был свободен.

Чувство причастности к большому искусству заставляло меня проводить за сценой долгие часы. Я с восторгом вбирал в себя разговоры, краски, звуки. Потом это стало несколько однообразным и поднадоело. Театр изнутри постепенно разочаровал меня своей прозой: грязными вблизи декорациями, матерщиной рабочих сцены, нудными повторениями одного и того же на репетициях, приказами дирекции о том, что артисту Н. объявляется выговор за явку на прогон в нетрезвом виде. Я осторожно поделился этим открытием с Федорчуком.

— Разочарование, — философски заметил он, — следствие избыточных восторгов. Скоро все станет на место. Откроется нечто таинственное, непостижимое. Театр выше быта, суеты. Театр — это часть жизни, это так, но он выше жизни, как цветы выше корней. Вон, видишь, бежит по коридору актриса, заслуженная, между

прочим? Она вчера перепила, ночь провела ей самой не известно с кем и опоздала. Сейчас ее выматерит режиссер. Потом она закурит, расскажет ему похабный анекдот, и он успокоится. А она потихоньку сбегает в буфет опохмелиться, вернется, выйдет на сцену и вдруг преобразится в божественное создание, в которое влюбится ползала.

— Но как, в чем секрет?

— В ней что-то включается... Так деревянный ящик превращается в рояль или в телевизор, способный открыть мир. Чудо! Театр, дружище, — это Золушка. Под рваным платьем скрыта красота: прекрасное тело и гармоничная душа. Стучи копытами, старайся! Сделаем тебе рекомендацию в театральный вуз.

Федорчук оказался прав: постепенно я вошел в колею, на грязь перестал обращать внимание, постигал душу Золушки, одетой в лохмотья.

В мужской артистической, когда пошли в ход костюмы и грим, статистов стало набиваться полно. Все они были студентами, старше и опытнее меня. Мне просто повезло. А может, и не просто, хотел думать я. Не бездарней же я натуральной лошади!

Гримировались стоя, оттесняя друг друга от банок с красками, в которые лезли руками. Мне одному не надо было гримироваться: в отличие от красных и белых солдат, лошадь на сцене не появлялась. Она стояла у кулисы, там, где из стены торчала красная коробка с надписью: "При пожаре разбей стекло и нажми кнопку". Стекло было уже выбито, оставалось нажать.

Когда ни красные, ни белые солдаты на сцене не требовались и режиссер был занят с актерами, мы собирались на узкой площадке винтовой лестницы, ведшей вверх, на чердак, и вниз, в оркестровую яму. Иногда к статистам подбегали актеры взять закурить, за это расплачивались шутками. Вдруг от скуки кто-нибудь нажимал красную кнопку в коробке и кричал: "Атас, ребята! Сматывай удочки!"

Все разбегались и прятались, кто где мог, но так, чтобы следить за происходящим.

Вскоре по скрипучей лестнице сползал с чердака пожарник дядя Константин. Толстый, абсолютно лысый, в военной гимнастерке с широким ремнем, дотачанным, по-видимому, куском пожарного шланга, дядя Константин держал наперевес огнетушитель и, тяжело

дыша, оглядывался: где горит? Впрочем, не раз обманутый, он, наверное, и сам не верил, что может быть пожар. А когда у него начинала выть сирена, спускался по обязанности, обозначенной в инструкции, и за это ненавидел хулиганов.

Убедившись, что нигде ничего не горит, дядя Константин подходил к кнопке, обнюхивал ее, словно хотел по запаху найти преступника или искал отпечатки пальцев. Константин заслонял спиной кнопку и, все еще держа огнетушитель наперевес, будто он готов немедленно отразить нападение поджигателей театра, хриплым от неупотребления голосом спрашивал:

— Хто жал? Я спрашиваю, хто жал?!

Вокруг никого не было.

Дядя Константин поправлял ремень, стягивал гимнастерку за спиной и более спокойно прибавлял:

— Выясню! Все равно выясню, хто жал. Подам дирекции докладную, пускай увольняют. Так и знайте!

Тут, как ни в чем не бывало, начинали собираться статисты.

— За что ты его уволишь, дядя Константин?

— За ложную тревогу. Скажите еще спасибо, что я сразу пожарную часть не вызвал. Сидели бы вы все в пенном порошке и пускали пузыри!

— Спа-си-бо, дя-дя Кон-стан-тин! — скандировали мы хором.

Пожарник взваливал огнетушитель на плечо и, тяжело ступая толстыми больными ногами, гордо поднимался к себе на верхотуру, на свой пост. Работа его состояла в том, что он целые дни спал.

3

Настал день сдачи спектакля комиссии министерства, которую боялся даже сам режиссер. Все суетились, присматривали друг за другом, дабы от волнения чего не натворить. Помреж Федорчук — за рабочими сцены, чтобы не перепутали декорации и посреди гостиной не прибили развесистый дуб. Актеры — за гримерами и костюмершами, художник — за осветителями. На всех рычал режиссер. И только статисты не волновались. Нам все было до лампочки. Подумаешь, пробежать по сцене или постоять на карауле возле шта-

ба, пока актеры перешвыриваются репликами! Лошадь: та-та-та — и порядок! Станиславский, конечно, прав: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Но у маленьких актеров и роли маленькие, и маленькая ответственность. Это — про нас. Всем своим видом статисты говорили: "За нас не волнуйтесь! Уж мы-то не подведем, свое дело сделаем без особого напряга. А вот вы?!"

После каждой картины в артистических с нервным смехом обсуждали, кто чего забыл на сцене: кто чашку, кто винтовку, кто реплику. Нам нечего было забывать и нечего нервничать. Да и все шло нормально. Я знал свое место и перед вторым действием уже стоял неподалеку от Федорчука и ждал своей минуты. Помреж сегодня не замечает меня. Побледневший и внутренне напрягшийся, он охрипшим голосом выговаривал в микрофон:

— Сцена — готово? Свет — готово? Поручик здесь? Горностаева здесь? Яровая на месте? Где Яровая, леший ее забери!?

— Послушай, Андрей! — подбежал к помрежу молодой артист Лёня. — Как лучше: "Господа, танцы продолжаются! Ле кавальс ангажс ле дам!..."? А может, лучше повторить два раза: "Господа, господа!" Будет выразительней...

— Отойди, Лёня, со своей выразительностью! — гавкнул Федорчук. — Делай по тексту и отойди. Ей-Богу, не до тебя!

Лёня отправился на сцену спрашивать совета у Горностаевой.

— Уберите! — взмолился Федорчук. — Даю занавес! Уберите Лёню со сцены!

— Ты что, спятил? — зашипел режиссер, неизвестно откуда взявшийся. Он встал рядом с Федорчуком, скрестив по-наполеоновски руки на груди. — Ведь кто-нибудь услышит "Уберите Лёню со сцены", подумает, что ты о Брежневе!

— Осталось два гвоздя! — рявкнул рабочий, отточенными движениями прибивая к скамейке дерево.

— Не надо гвоздей! — сквозь зубы процедил Федорчук. — Занавес! Тишина, даю занавес!..

Потекло второе действие. Сейчас Федорчук сделает мне знак рукой, чтобы я приготовился, и сразу после слов на сцене "Как бы трюмо не повредили" я начну бить копытами. Рядом со мной стоит поручик Михаил Яровой, старый артист, собирающийся на пенсию. На нем полведра омолаживающего грима. Яровой переминается с

ноги на ногу, будто только что и в самом деле слез с лошади, — так он входит в роль. Я буду работать сперва тихо, потом громче, еще громче... Тут Яровой прокричит мне в самое ухо:

— Тпру-у! — затем тихо, только для меня, добавит: — Стой, стерва!..

И — выскочит из-за кулисы на сцену, разминая ноги, будто только что проскакал галопом верст двадцать.

Вот Федорчук делает мне знак рукой. Я поднимаю кастаньеты. И тут вместо слов "Как бы трюмо не повредили" слышу сзади, над самым ухом, заспанный хриплый голос:

— Хто жал?! Хто жал, спрашиваю!

Оглядываюсь — вплотную ко мне стоит пожарный дядя Константин. На поручика Ярового он не смотрит — тот старый артист, не будет же он перед пенсией баловаться! Дядя Константин хватает меня за локоть, поворачивает и, решив, что я сейчас брошусь удирать, наставляет мне в грудь огнетушитель.

— Наконец-то я тебя накрыл! — шипит дядя Константин, выпуская из легких огромное количество горячего воздуха.

— Я не нажимал, — сразу открещиваюсь я.

Ведь это святая правда! Красные и белые солдаты, не занятые в этой картине, только что толпились тут, кто-то нажал, и все смылись. А дядя Константин сводит счеты со мной.

— Ах, ты не нажимал?! — наступает он на меня, упирая мне в грудь огнетушитель.

Еще чуть-чуть, и он вытолкнет меня на сцену.

— Если не ты, хто же? Хто? Грозил уволить — теперь приведу в исполнение. Совсем обнаглели!

А занавес поднят.

На сцене стоит онемевшая Горностаева. Она должна крикнуть Яровому, а тот никак не едет. В зале слышится смех. Туда долетают крики дяди Константина. Наконец Горностаева нашлась и кричит за кулисы поручику Яровому:

— А, голубчик! Что? Режь буржуев, как кур?!

Спасая театр, Любовь Яровая подбегает к ней и произносит свою реплику:

— Ай, кто, кто там?

На что взбешенный дядя Константин ей резонно кричит из-за кулис:

— Хто, хто?! Пожарная охрана.

Яровая не находит ничего лучше, как сказать реплику по роли:

— Не может быть! Показалось!

— Показалось? — кипит дядя Константин. — Чичас акт будем составлять!

Режиссер и Федорчук вдвоем хватают пожарника сзади за ремень, пытаясь оттащить его от сцены. Но тушу Константина сдвинуть с места невозможно. Тогда Федорчук пытается рукой закрыть ему рот. И кивает мне: дескать, давай, начинай. Тучный дядя Константин легко отдирает их руки и еще крепче упирает в меня огнетушитель.

— У тебя свое начальство, у меня свое, — сипит он, выворачивая голову, чтобы уклониться от ладони Федорчука. — Сказал, уволю, — уволю!

Наконец, поручик махнул на нас рукой и выскочил на сцену, не дождавшись топота лошади. Он был опытным артистом, не в таких переделках бывал. Движения, которые он делал, были нелепы. Трудно догадаться, что по замыслу режиссера Яровой только что спрыгнул с коня. Было похоже, что он встал с кровати и потягивается, а может, вышел из туалета.

Дядя Константин, матюгаясь, взвалил огнетушитель на плечо и стал взбираться по лестнице на свой пост. Федорчук вытер платком капельки пота со лба: спектакль вошел в колею. Но, вытирая лоб, помреж поднял руку и тем напомнил мне, что я должен работать лошадью. И радостно, что было сил, я затарахтел кастаньетами: Та, та-та, та-та-та-та-та-та-та-та-та, та-та-та, та-та!!

Лошадь примчалась, я дал ей посучить ногами и, поскольку поручика Ярового рядом не было, я сам заорал в полную глотку:

— Тпру-у-у!..

Поручик Яровой, отработав эпизод, вернулся со сцены за кулисы, переглянулся с Федорчуком и погладил меня по голове.

4

После столь эффектного дебюта я был уверен, что с драмтеатром, а заодно и с театральным училищем покончено. На исходе

августа выяснилось, что проходной балл на филфак благополучно набран, и я изнывал от безделья и жары, шастая по Москве от газировки до газировки и от дома до реки. То и дело я возвращался мыслями к существу, обнаруженному на приемном экзамене. Судьба обязана свести меня с ней, как только начнутся занятия, и тут уж я не растеряюсь.

Мое бренное тело покоилось на лежаке пляжа № 3 в Серебряном бору, когда меня окликнули. Надо мной стоял Андрей Федорчук.

— Привет, коллега! — рявкнул он. — Я полагал, что в этот ответственный период все поступают в вузы...

— Уже не коллега, — печально заметил я.

— Разочаровался или временное отступление?

Пожать плечами — это был самый точный ответ.

Между получением аттестата зрелости и сдачей его в вуз у меня было время подумать, как заметил проходимый по литературе поэт, о времени и о себе. Нельзя сказать, что желания стать актером у меня поубавилось. Даже после неудачи — нет! Но я потолкался в коридорах Театрального института и Щепкинского училища, забитых до отказа конкурентами, и понял: до другого берега по этой соломинке мне не перейти. А где-то я вычитал, что хороший полководец тот, кто, наступая, имеет про запас совершенно секретный план отступления. Мудрее было отступить заранее. Но, поступив на филфак, я тут же начал жалеть, что моя карьера из-за малодушия сделала зигзаг, изображенный на дорожном знаке "Извилистая дорога".

Федорчук сел рядом со мной на лежак. Он относился к тому разряду порядочных людей, которые всегда готовы помочь, но теряются, когда их помощь не нужна. Он ни словом не напомнил старое. Сказал только, что ему дали, наконец, самому поставить пьесу, спущенную сверху, которую никто не рвался делать, а он согласился. Называется "Прага остается моей", и нужны статисты на роли студентов. Придется петь на сцене.

— Ты студент и будешь играть самого себя. Или теперь ты верен только старославянскому языку?

В театре было интересно. К тому же он давал приработок к стипендии, которой хватало на неделю. Словом, из гражданской вой-

ны, в которой мы участвовали в "Любови Яровой", я перебрался в оккупированную фашистами Прагу...

Члены подпольной организации встречались под каштанами, возле небольшого ресторанчика. Конспирация состояла в том, что мы изображали золотую молодежь. На меня надели пахнувший нафталином пиджак-букле, я мазал клеем под носом и налеплял узкие черные усики. Статисты демонстрировали на сцене массовость сопротивления фашистам.

С моей курносой партнершей Олей, как оказалось, дочкой театрального пожарника дяди Константина, мы стояли возле кулисы. Когда оркестр начинал играть танго, выходили на сцену, часть которой была рестораном, выпивали за столиком по бокалу воды, подкрашенной под вино, и начинали танцевать. Хореограф долго возилась с нами, требуя, чтобы я резко бросал Олю на колено.

— Вы же влюблены, братцы! — кричал из зала Федорчук, указывая на нас пальцем. — Чего же вы топаете, как коровы по танцплощадке?

Лица Федорчука, ведущего репетицию из восьмого ряда, не было видно, только руки, которые освещала настольная лампа. Оля нежнее сжимала мой локоть, и мы старались улыбаться друг другу изо всех сил, хотя это получалось фальшиво.

К нашему выходу сонный дядя Константин спускался с верхотуры. Он глядел на дочь, и глаза его добрели. Даже на меня в эти минуты он не смотрел подозрительно, хотя, клянусь, сам я не шутил с кнопкой пожарной сирены.

Ресторан закрывался, на сцене темнело. Оставшись одни, подпольщики собирались тесной группой и, озираясь, пели:

Никогда, никогда, никогда
Не склонится пред Гитлером Прага!

Композитор Приватин, автор музыки к пьесе, специально приезжал разучивать с нами мелодию. Но во время сдачи спектакля начальник отдела культуры песню не одобрил.

— Я сам принимал участие в руководстве разведкой во время Отечественной войны, — сказал он. — Как же это подпольщики в

оккупированном немцами городе, да еще в ресторане, поют хором прогрессивную песню?

— Видите ли, это театральная условность, — пытался оправдаться Федорчук. — Нам нужна музыка, песня, оживление...

— Оживление — пожалуйста. Я в художественную сторону не вмешиваюсь. Но зачем чересчур оглуплять врагов? Это принижает серьезность нашей борьбы и великой победы. И вообще: спектакль исторический, а намек в песне на наши танки в Праге.

— Так ведь это Гитлер!

— Гитлер-то Гитлер... А зрителю не запретишь думать, что это аллюзия!

Мы перестали петь и тихо мычали для оживления. Кроме того, появился новый статист: долговязый парень в эсэсовской форме. Он выходил из-за противоположной нам кулисы и ударял хлыстом по голенищу своего блестящего сапога. Мычание тотчас прекращалось, из оркестровой ямы вырывалось танго, и все разбегались.

На следующей репетиции начальство решило и бессловесную песню убрать. В самом деле, зачем подпольщикам мычать? Они должны действовать.

Федорчук похвалил меня за танец и опять обещал бумажку от театра, если я все-таки надумаю переходить в театральный вуз. Но теперь я был влюблен. Эх, если бы мне дали сыграть какую-нибудь, хоть маленькую, но словесную роль! А так — лучше Умнайкиной не знать про мою, как выразился Федорчук, "статистическую деятельность". Узнает, что я на побегушках в театре, — она, почти окончившая балетное училище Большого театра, будет просто презирать меня.

А тут еще волейбольный красавец Баландин! На игру, куда он звал ее, я не могу пойти: вечером у меня спектакль. Баландин уведет девушку после игры, весь в мыле от торжества победы, и у него будут две победы в один день.

На спектакль я шел с камнем на шее. Даже анекдоты в артистической и на лестнице меня не смешили. Курносая Оля, моя партнерша, притащила из дома бутерброды и усиленно меня угощала. Голодным я был всегда, но Оля меня не вдохновляла.

— А я сегодня последний день, — вдруг сказала она. — Меня взяли в Институт культуры в Питере. Приезжай..

— Ваш выход! — донеслась команда помрежа.

Оля уже подошла ко мне и положила руку на локоть. Грим она накладывала тщательно, никогда, в отличие от меня, не ленилась положить румяна на шею, чтобы шея не белела, ведь в бинокли ненамазанную шею прекрасно видно. Я знал, как важны для актера мелочи. Знал историю знаменитого итальянца Сальвини. Тот вышел на сцену в "Отелло", наложив коричневый грим на лицо и позабыв накрасить коричневым руки. Зрители улыбались, заметив, что руки у Отелло смертельно бледные. Но Сальвини был гением и не дал зрителю во втором акте повода похихикать. Отелло вышел снова с мертвенно-белыми руками и — снял белые перчатки. Под ними был коричневый грим. Но кто в зале рассматривает статистов в бинокль?

Заиграло танго. В ресторанчике под каштанами зашевелились пары. Оля слегка сжала мой локоть, я выдавил жалкое подобие улыбки, и мы двинулись на сцену. Я танцевал чуть-чуть разболтанно, любуясь расцветающими каштанами, небрежно намалеванными на холсте. Затем подпольщики сошлись, пошептались, а когда эсэсовец щелкнул хлыстом о голенище, рассыпались. Мы с Олей, влюбленная парочка, пошли вдоль оркестровой ямы у самой рампы.

И тут — едва я добрался до середины сцены, раздались оглушительные аплодисменты. Весь зал хлопал, кричал "браво" и даже "бис". Аплодисменты заглушили слова немецких офицеров. Актеры вынуждены были умолкнуть, выдержать паузу, начать сначала, а зал продолжал хлопать.

За кулисы прибежал Федорчук. Он тоже не понял, в чем дело. Наконец, из зала кто-то выкрикнул мою фамилию, и снова раздались бешеные аплодисменты.

Федорчук, умница, с пульта помрежа позвонил администратору.

— Спокойно, ребята! — сказал он, положив трубку. — Все ясно! Сегодня филологический факультет в полном составе пришел на коллективный просмотр. Для них что стадион, что театр — болеют за своих!

В артистической никого не было, из репродуктора доносился второй акт. Я вытащил из банки горсть вазелина и жирно намазал лицо. Посидел немного, любуясь на себя в зеркало, оторвал усы и стал снимать ватой грим.

5

Утром я дремал на лекции по философии, положив голову на руки, в самом углу, чтобы никого не видеть, ничего не слышать. Но сосед потряс меня за плечо:

— Проснись, тебе записка!

"Не могли бы Вы, — прочитал я, — подойти в антракте к колоннам? Л."

Сон как рукой сняло. Конец лекции я сидел в позе спринтера, ожидающего старт.

Умнайкина подходила ко мне медленно, чуть помахивая чемоданчиком, с настороженной улыбкой, которая едва угадывалась, будто Лина не очень была уверена, что это я, а если я, стоит ли ко мне приближаться. Не выдержав, я шагнул к ней навстречу и готов был взять у нее чемоданчик, потому что в руках она держала еще и пачку книг. Но чемоданы в институте носили только своим девушкам, и Лина отвела руку, а я почувствовал, что покраснел.

И тогда она улыбнулась. Она улыбнулась, как умела только она, и первый раз для меня и больше ни для кого.

— Ты вчера здорово танцевал, очень естественно, без всякой натяжки.

— Откуда ты знаешь?

— Видела, сидела в первом ряду. Все тебя сразу узнали... У тебя это серьезно?

— Что?

— Театр...

— Не знаю. И да, и нет...

— А я неделю проплакала, когда врачи сказали, что гланды не очень здоровые. Мол, для простого смертного сойдет, а для балерины нет.

— Чушь!

— Не чушь... У меня девять недостатков — так комиссия сказала. Могу их тебе перечислить. Во-первых, у меня низковат для балерины зад. Во-вторых...

— Замолчи!

— Почему же? Это ведь не я придумала.

— Не надо, прошу!

— Они еще не заметили, что у меня кривой нос.

— Кривой?

— Ты тоже не заметил? Мне в седьмом классе в нос попали снежком.

— Послушай, но ведь все знают, что в балетном училище полно детей и внуков высокого начальства, у которых вообще никаких данных!

— Им и не надо, их так берут, по звонку. А остальным требуется быть идеальными, чтобы в области балета быть впереди планеты всей. Когда выгнали, я думала, не переживу. А теперь прекрасно, даже нравится: французский будет основным языком, и возьму еще два. Быть неудачницей в восемнадцать лет просто глупо. Я смотрела на тебя и думала: все же на сцене замечательно, кем угодно...

Тут меня осенило.

— Оля, моя партнерша, уехала. Хочешь, я поговорю с режиссером, он тебя возьмет статистом, я уверен. Тебе сам Бог велел танцевать танго!

— А что, это идея...

Звенел звонок на лекцию.

— У тебя очень красивый нос! — сказал я.

— Только кривой, — засмеялась она. — А фамилия моя тебе тоже нравится?

— Конечно, — искренне соврал я. — Замечательная фамилия. А почему ты спрашиваешь?

— Потому что она глупая. — Умнайкина протянула мне свой чемоданчик. — Как ты вчера под каштанами Праги шел? Так?

У института на виду она положила мне руку на локоть, и мне показалось, что где-то заиграло танго.

— А волейбол? — спросил я.

Зря спросил. Но Лина поняла.

— Волейбол — ничтожество, — просто объяснила она.

Калифорния

Александра Попофф

В ПОСЛЕДНЕМ ПЛАВАНИИ

Вирджиния стояла посреди клубничных рядов, опершись на тяпку — орудие труда и костыль. Цветастое платье ее, в прошлом выходное, на плечах было сколото булавками, а серая льняная шляпа с вьщветшей лентой издали напоминала опустевшее осиное гнездо.

Вокруг дома Вирджинии, как пароходы на мели, стояли разномастные отъездившие свое машины. Когда-то возили они большую семью; теперь, по самые окна забитые тюфяками и узлами, были снаружи, по крыльям и багажнику, облеплены яшичками с рассадой и тазами для сбора клубники. Свисая с крыльев машин, рассада напоминала водоросли, уцепившиеся за корабль в последнем плавании. В огороде на столбике зазвонил телефон — проводка на лето, — и Вирджиния заковыляла между кустов кабачка и картофеля.

— Вот... сейчас... подожди... — приговаривала поспешно. Прикрутив поющее радио, тоже угнездившееся на столбике, Вирджиния подняла трубку. Она ожидала звонка от внука, который обещал приехать из Реджайны на пару дней.

— Это ты, принцесса? — зазвучал пьяный женский голос. — Как дела?

Вирджиния помолчала, приходя в себя от неожиданности, и лицо ее пересеклось множеством болезненных морщин. Собравшись, она сказала холодно:

— Спасибо, хорошо. А как у тебя?

Звонила жена старшего сына Тома, называвшая свекровь "принцессой" всякий раз, когда выпьет. После стакана виски в Энн поднималась давняя ненависть к свекрови; она вспоминала, как десять лет тому назад Вирджинии и покойному свекру предлагали 100 тысяч долларов за их 300 акров земли. Свекру было тогда под

семьдесят, и ведь долги были!.. Но нет, не продали. Земля — не для продажи! А для чего она? Свекр умер, оставив долг. Теперь Том пашет. И какой он фермер? Собрал один трактор из двух. А у соседей — 30 тысяч акров, трактора компьютерами управляются; ночью — со спутниками связь! Вот продала бы вовремя землю, принцесса! Небось, теперь таких денег никто не даст...

Невестка бросила трубку, и Вирджиния пожала плечами, сказав в своей обычной манере:

— Энн никогда не даст мне вставить слово. Почему тогда она звонит? Ну, да ладно, у меня хватает забот...

Она заковыляла обратно, однако остановилась у старой отбитой ванны, где благоухали белые лилии, и стала вспоминать, глядя на цветы, куда и зачем шла. Вирджиния осмотрела ряды картофеля, пытаясь собрать мысли, но все еще слышала голос невестки и пьяный смех ее. Давнишний страх овладел Вирджинией: что если невестка при разводе с сыном отсудит у них часть земли? Они всегда на земле работали: и дед, и отец, и муж, теперь — сын. Да и как не сеять? Всегда так жили. Вот еще: "Продайте!" Земля внукам перейдет, по наследству.

Вирджиния вернулась к столбику, снова включила радио и под музыку сказала себе:

— Это как мама говорила: хорошо, что играет радио. Особенно, когда моешь посуду: и думать не надо. А мыть посуду — самое нудное дело!

Вскоре она заработала тяпкой, выпалывая сорняки. Дальняя часть огорода поливалась, и водная пыль рассеивалась в воздухе, блестя на солнце радугой. Мухи ползали по загорелым ногам Вирджинии.

— Вот комары меня не беспокоят, а эти мелкие мушки — просто беда! — Вирджиния заметила горку земли, за ночь вырытую сусликом. — Ну, погляди! И перец горошком сыпала, и касторовые бобы посадила! Но те, правда, от кротов... А суслики теперь — не как раньше. Я вот Джону говорила, как мы детьми воду на себе носили из-под горы. Ведро одно принесешь, одно ведро, — и выльешь в норку. А он там сидит, спинку его видно. И сразу выпрыгивал! А теперь, с водопроводом, на ночь воду оставишь, а куда она льется? У них норы-то, норы — на километр...

Бормоча, Вирджиния все работала тяпкой. Она не слышала, как возле ее дома за кустами желтой акации остановилась машина, как ей кричали. В разноцветных шортах по колено, ярко-желтой рубашке с зелеными пальмами и красной косынке, сдвинутой на лоб, к огороду подходил внук, сын Энн и Тома; сняв косынку, он стал размахивать ею, как флагом.

— Баба! — так с детства все внуки и правнуки звали Вирджинию. Хоть по-русски в семье, кроме самой Вирджинии, никто уже не говорил, отдельные слова и обычаи в Канаде духоборы хранили. — Баба!

Вирджиния медленно обернулась:

— Ник! Как хорошо, что приехал!

— Тебя не дозовешься, выключи радио!

— Радио? — Вирджиния удивилась. — Мне с ним веселее, и птиц отпугивает с огорода. Я и на ночь его оставляю. Приятно, когда проснешься: музыка играет.

— Ангелы поют!

— А ты, Ник, возьми лопату у крана и нарой картошки!

Вирджиния светилась радостью. Опираясь на тяпку, она поспешила к дому. Шла согнувшись, двигая при ходьбе левой рукой, отчего платье на спине смешно оттопыривалось. Давались ей движения с трудом: уже давно врачи нашли рак кости и сказали, что без инвалидной коляски она не обойдется. Каждый год Вирджиния думала, что сажает свой последний огород. Но приходила весна, снова сын вспахивал землю, и силы брались посадить, да еще больше, чем в прошлом году. А потом целые дни она проводила на своих грядках. По вечерам, принимая от боли анальгин, все приговаривала: "Ну, морковь больше сажать не буду! Два часа на коленях стояла. Подняться потом не могу. И зачем мне это нужно одной?!"

На плите жарилась картошка. Ник сидел за столом, намазывая масло на испеченный поутру хлеб. А Вирджиния переставляла со стола на мойку тазики с клубникой, перекладывала газеты, письма, пакетики с семенами. Вытирая пыль тряпочкой, она спросила Ника с мелькнувшей в глазах тревогой:

— А ты кафе на кого оставил?

— Приятель посмотрит.. — Ник жевал хлеб с аппетитом, но

говорил и смотрел словно нехотя; взгляд был направлен внутрь себя. Он одевался все еще по-юношески крикливо, в ушах множество колец, лицо же его было отрешенным. Ник защитил магистерскую на историческом отделении университета и, не найдя работы, решил открыть кафе. Семья отговаривала, объясняя, что в бизнесе опыт нужен и те самые врожденные качества, которых у духоборов никогда не было. Ник решил по-своему и даже получил заём в банке (никто в семье денег ему не дал, заранее видя убыточное дело). Кафе же ему опротивело после первого дня, когда он простоял с утра до вечера у стойки. Поскольку, кроме кофе, тостов и бутербродов, он ничего не предлагал, завсегдатаями его стали безработные молодые ребята, часами просиживавшие за колодой карт. По вечерам Ник играл на гитаре, и молодежь собиралась приятно провести время, покурить. На грани разорения Нику пришлось приторговывать наркотиками, без которых он и сам теперь не жил. С Вирджинией он всегда оживлялся, до странности похожий на ее младшего сына, тоже историка, который застрелился в возрасте Ника.

— Ты знаешь, я была права! — хитро улыбаясь, заговорила Вирджиния. — Вот ты спорил, теперь слушай. Георг V женился-таки на принцессе Мэй! Она была обручена с его старшим братом Эдди, и, как я сказала, это было как раз перед смертью Эдди...

В глазах Ника, в темной глубине, шевельнулась улыбка. В семье знали о пристрастии Вирджинии к королевским династиям.

— Хороший хлеб, баба, — сказал он и пересел в кресло-качалку.

— Я теперь биографии люблю. Потому что там все, как было, все про жизнь. Мне будут осенью на глазу катаракту вырезать. Я и забыла, а тут — звонят, место у них в ноябре. Ну, а я прочитала про испанскую королеву XV века, ей сделали операцию на глазу уже тогда! — у Вирджинии голос оборвался на высокой ноте.

— Ты — великий человек, баба. Только у тебя картошка сгорит. — Ник покачивался в кресле, припоминая. — А что, сегодня комету будем смотреть?

— Да, да, Ник! — от плиты охотно отозвалась Вирджиния. — По телевизору говорили, что виден ее хвост.

— Я хотел тебя спросить, баба. — Ник нахмурился и, глядя на

кафельные плитки пола, заговорил отрывисто и зло. — По завещанию, Джон должен был получить наследство. Я тут просмотрел бумаги семьи...

— Тебе не надо в это лезть, — не оборачиваясь, сухо сказала Вирджиния.

— Но ведь было завещание! — распалялся Ник.

— А я тебе говорю, оставь. Эта мысль и твоего деда погубила. Он всю жизнь думал...

— Вот и я должен думать, это мой долг! Вернуть семье... Джон как старший должен был получить ферму отца, но унаследовал Питер. Я расспрашивал Поли, завещание было известно заранее, но Питер ухаживал за отцом, когда тот был при смерти...

— Так и твой дед думал. Послушай, Ник...

— Не перебивай меня!.. Питер подменил завещание!

— Ну-ну, Ник, тебе-то что с этого завещания?

— Не перебивай! — взгляд Ника чернел.

Но спокойно говорила Вирджиния:

— Я тебя слушаю, только я все это пятьдесят лет уже знаю. Ферму свою Питер запустил, и она тех денег не стоит. А мне самой — ничего не надо. Вот уплачу долги, куплю себе новые кеды, — Вирджиния засмеялась, кивая на свои почерневшие от земли, изношенные, старые, которые носила она без шнурков.

— Тебе не надо, а мне — надо!

— Но я-то еще пока жива! И отец твой жив, и дяди, тети, братья твои и сестра, и племянники... Вон сколько народу.

Вирджиния вдруг прикрыла лицо рукой и заплакала.

— Сегодня, Ник, годовщина смерти Рона. Двадцать пять лет... — Вирджиния наскоро оторвала полоску от рулона туалетной бумаги, стоявшего на столе вместо салфеток, и отерла лицо от слез. Высморкалась, посидела молча, уставившись вдаль, потом показала себе на лоб. — Вот откуда все... Вот откуда... — Не найдя слов, она постучала по лбу пальцем. — Я на кладбище сегодня хочу поехать. Отвезешь?

— Да, баба, конечно, — смущенно сказал Ник. Раньше он гордился своим сходством с талантливым, рано погибшим дядей. С недавнего времени сходство это стало его тяготить.

— Давай есть ланч. — Вирджиния накрыла на стол и к жаре-

ной картошке подала квас: кусочки арбуза, плавающие в соленом рассоле. Мяса она не ела, а арбуз очень любила, как и все в семье, и ела его всегда с солью. — А приятно как — с картошкой квас... — Вирджиния шумно прихлебывала с ложки.

Вскоре они сидели в старом форде Ника: Вирджиния — причесанная и одетая в чистое платье и новые чулки. В руках она держала букет розовых пионов из сада. Пока ехали, по сторонам дороги все тянулись поля. Вирджиния на каждое поле смотрела с ревностью: когда выезжала из дома, она могла сравнить свою пшеницу с пшеницей соседей.

— Вот у Поллаков — двадцать пять бушелей с акра, а у мистера Бейкера — все тридцать. Смотри, Уэйлины сурепицу посадили, и цветет хорошо! А в прошлом году у них тоже пшеница была. Нет, у нас сурепица никогда не удавалась... — Она морщилась от солнца и все смотрела по сторонам.

Когда подъехали к кладбищу у дороги, со всех сторон открытому солнцу и ветру, Вирджиния, поддерживаемая Ником, шатко пошла к могиле сына.

— Вот подожди, подожди... — бессмысленно приговаривала она и плакала.

Ник принес баночку с водой из машины. Вирджиния стояла, склонившись над могильной плитой, по-прежнему бормотала и плакала, пошатываясь, ветер толкал ее в спину.

С запада надвигалась туча. Горы белых клубящихся облаков, сдвигаемые ветром, быстро меняли очертания, и голубое небо застилалось серым. Когда ехали назад, Вирджиния поглядывала на запад, где за черными тучами часто мелькали всполохи. Все темнее становилось небо, и менялись краски на земле: ослепительно-желтым отсвечивали поля сурепицы, темно-изумрудными волнами колыхалась зелень пшеницы с белесыми гребнями остьев.

У дома, выйдя из машины, они услышали шум приближающейся бури. Во дворе все еще было затишье, но из-за горизонта уже несся ураган, с яркими всполохами, с грохотом и шумом налетающего поезда. Дрожащий свет на горизонте вдруг пробежал под черной тучей, высвечивая ее края, — и тут же вспыхнуло небо рядом; розовым и черным ответил горизонт на другом конце, словно там, вдали, шла битва. Только затворили дверь, как волной уда-

рило в окна, со свистом пригнулись к земле деревья. Ярко вспыхнула степь, и сразу погас свет в доме, погасли и фонари у соседей. Вирджиния с Ником сидели в темноте на диванчике и слушали, как подрагивает приземистый домик под яростными напорами воды и ветра. Далеко вокруг освещалась мокрая степь.

— Вот тебе и комету посмотрели, — заметил Ник.

— Так ведь, наверное, оповещали, — откликнулась Вирджиния. — Ты радио в доме выключил.

На кухне и в комнатах потекла крыша. Ник подставлял кастрюли под частую капель, но мысли Вирджинии были не в доме. Ее поле, которое осмотрела она сегодня с гордостью, было перед глазами: только бы не град.

— Что ж, давай спать, Ник, я тебе в гостиной постелю...

Всю ночь шел дождь, а проснулись они поздним утром под звучную песнь лугового жаворонка. В тишине каждый звук отдавался степью чисто и далеко. В синем небе ровным полукругом раскинулась двойная радуга; с деревянного крылечка она видна была вся: понизу яркая, сверху — поблекшая, протянувшаяся от края поля Вирджинии до края соседнего. Разбросанные бурей, валялись во дворе ветви деревьев, цветочные горшки, тазы, кастрюли. Вирджиния ковыляла по двору, восстанавливала рассаду на крыльях машин и нет-нет — улыбалась утру. Позевывая, потягиваясь, Ник тоже вышел во двор.

— Хочешь, баба, на поле посмотреть?

— Да что я могу? Отец твой приедет, расскажет.

Помогая себе палочкой, Вирджиния наводила порядок у крыльца. Ее береза, которую с севера привез Джон и сам посадил у дома, стояла нетронутая. А ель выкорчевало бурей.

— А что это, баба, у тебя на березе арахисовые орехи?

— Орешки? А, это я подвесила для птиц. Смотри, Ник, у меня теперь новая кормушка красненькая и поилка на раме. Все для колибри. Они такие милые! Пока не прилетали, но я все жду.

— Тебе, баба, хорошо бы страусов развести.

— Страусов? — Вирджиния хмыкнула, но удержала смех, видя, что Ник нахмурился. — Куда же я страусов зимой дену? В минус сорок четыре с ветром?

— Вот ты знаешь, сколько стоит одно страусиное яйцо?

— Нет, Ник, я не знаю, но уж лучше, как ты в прошлый раз сказал, ферму японцам сдать. Это мне больше нравится. Японцам и то интересны наши просторы. Но как их сюда заманишь?

На желтом проржавелом пикапе во двор въехал Том. Пока он возился в машине, лицо Вирджинии перетянулось от ожидания сеткой морщин.

— Был град? — наконец, спросила она.

Том покачал головой. Ник поскучнел и, коротко поздоровавшись с отцом, ушел что-то искать за дом. Вирджиния посмотрела на обоих, тяжело вздохнула и пошла готовить завтрак. Жаря оладьи, она видела, что Ник вернулся с досочками и пристроился на крыльце мастерить ей скворечник; звук молотка его был так приятен.

За стол Ник сел в своей красной косынке, сдвинутой на лоб, и рубашке с зелеными пальмами; Том был в заношенной ковбойке и пыльных, промасленных брюках, в которых он выходил в поле. Мужчины иронично оглядывали друг друга. Заговаривая то с сыном, то с внуком, Вирджиния разносила кабачковые оладьи, разливала чай.

— ...Я всегда говорила, Том, мы растили пшеницу без азота и не опрыскивали. И принц Чарльз — за сельское хозяйство без удобрений. А может быть, Ник, приедешь и поможешь отцу с уборкой?..

Том вдруг спросил сына:

— Я слышал, ты разбогател?

— А как же, — принужденно улыбаясь, Ник поднялся и вышел из дома на крыльцо достраивать скворечник.

— Оставь его в покое, Том, — твердо сказала Вирджиния. — Пусть живет, как хочет. Вот я умру, пусть Ник переедет в мой дом. Ведь под тридцать лет парню, а ни кола, ни двора. А у меня — библиотека, книги Рона.

С того дня стала Вирджиния оглядывать свой дом и двор словно другими глазами. Поливая огород, приговаривала:

— Клубнику, конечно, потопчут. Я босиком собираю, чтобы не наступить, — она глядела на разбросанные между клубничных кустов обрезки резиновых шлангов, изобретение, которым гордилась: ведь точно, как змеи. Интересно, что птицы и суслики, ведь наверное, остерегаются... Не знала теперь, подобрать или оставить.

Как-то раз, проходя мимо своей последней машины, на которой ездила еще год назад, она заметила, что шины совсем спустили.

— Надо будет Тому сказать, чтобы накачал, а то и поехать никуда не могу. Вдруг — пожар...

Но время шло, были дожди, проносились по степи пыльные бури, и под осень шины уже плоско лежали на земле, наполовину закрытые глиной. Когда припорошило снегом, Вирджиния уселась возле печки, топившейся дровами, вязать коврик для Ника, чтобы у кровати положить. Пряжу, сильно пахнущую нафталином, она достала из того сундука, где хранила все самое ценное: нитки прочные, еще мама пряла.

Том все чаще приезжал к Вирджинии и оставался ночевать. Как-то поутру она услышала, что сын возится наверху. Там хранились вещи Рона, его тетради, его ружье; вещи всех внуков, что разъехались.

Том снес вниз несколько узлов. Вирджиния сначала не поняла.

— Ты, Том, свой пикап ставишь мне прямо под окно! Вот и скворечник, что Ник построил, совсем не видно. И на дорогу я люблю смотреть!

Том все стоял с узлами. На удивленный взгляд матери ответил:

— Энн не хочет, чтобы я возвращался. Она теперь живет не одна.

Вирджиния поджала губы и по-русски зло прошептала: "Сучка". Потом вздохнула, вспомнила:

— А что же Ник? Он писал, что весной приедет ко мне, поживет...

— А мне где жить?

— Да куда ты вещи понес? Не выбрасывать же! Давай тогда в мою машину. Раз ты говоришь, аккумулятор там мертвый, туда и отнесем.

По свежему снегу Том понес к машине матери коробки, узлы, чьи-то старые сапоги, негодные кастрюли. Вирджиния надела кофту и тоже отправилась — смотреть, как до краев заполняется трюм ее последнего корабля.

Канада

Георгий Демидов

ФАНЭ КВАС

(*Окончание*)*

Иной была история добрейшего доктора Хачатурова. Эта история считалась поначалу почти юмористической. Мягкотелый интеллигент старой школы чуть не насмерть перепугался, когда на него на первом же допросе налетел следователь.

— Ты дашнак! — орал, обильно пересыпая свою речь матерщиной и размахивая кулаками перед носом Армена Григорьевича, молодой парень с энкавэдэшными мечами на рукаве. — Нам все известно!

Хачатуров о дашнаках слышал, но и только. В Армении он прожил всего несколько первых лет своей жизни. Затем бывал в родных местах только в отпуске и даже армянский язык почти забыл.

Такое же смутное представление о дашнаках имел и его следователь. Но тому было поручено раскрыть в городе контрреволюционную организацию местных армян. Представители этой национальности в неармянских городах кем-то и почему-то были обречены почти поголовно на ссылку в лагеря.

Выдуманные контрреволюционные организации национальных групп должны были иметь соответствующий национальный оттенок хотя бы в названии. Отсюда и возник Дашнакцутюн. Местный филиал этой организации должен был иметь, разумеется, и обязательный тайный центр, состоящий из авторитетных армян. В состав такого центра намечен был и доктор Хачатуров. Он был организа-

---

* Начало повести см. в кн. 208 (сентябрь 1997).

тором местной армянской поликлиники, ее многолетним главным врачом и пользовался среди армянского населения города всеобщей известностью и уважением.

Оглушенный бранью и угрозами, Армен Григорьевич сразу же согласился подписать все, что от него потребуют. Даже то, что он является одним из главных руководителей городской организации Дашнакцутюн. Но что касается истории возникновения этой организации, ее политической программы, связей и прочего, то на эти вопросы он ответить никак не может. Просто потому, что не имеет ни малейшего представления о современных дашнаках. В прошлом, насколько ему известно, они действовали против турок на территории Турецкой Армении. Затем вроде бы сопротивлялись установлению в русской Армении советской власти. Но потом, ей-же-ей, он о них ничего даже не слышал. Вот если бы следователь дал ему понять, хотя бы намеками, что следует показывать по этому вопросу, он бы охотно...

В ответ следователь грохал кулаком по столу. Только политические проститутки вроде Хачатурова, меряя на собственный, подлый аршин, могут заподозрить советское следствие в способности подсунуть допрашиваемому готовые показания. Ни о каких шпаргалках не может быть и речи! И пусть разоблаченный член дашнакского центра не увиливает от настоящих показаний. Не далее как завтра он должен представить следствию, и притом в письменной форме, политическую программу современных дашнаков и главные практические намерения их местной организации! Кстати, это необходимо и для его, Хачатурова, собственной пользы. Чистосердечное признание смягчит его участь.

Следователь дал Армену Григорьевичу три листа чистой бумаги и карандаш. Отправляя своего подследственного в камеру, он предупредил, что завтра вечером вызовет его снова. Если к этому времени дашнакская программа написана не будет, то молодцы из корпусной дежурки сыграют с доктором в футбол. Участвовать в этой игре он будет, конечно, в качестве мяча.

Доктор был в отчаянии и почти не спал в эту ночь. Наутро заявил в камере, что если кто-нибудь в его беде ему не поможет, то он пропал. Но свет оказался не без добрых людей. С Арменом Григорьевичем сидел журналист, бывший редактор главной городской

газеты. Редактор когда-то довольно долго жил на Кавказе и о движении армянских националистов кое-что знал. Главное же — газетчик в совершенстве владел политической фразеологией. За дневную пайку хлеба он сочинил для доктора превосходную программу Дашнакцутюн с изложением ее политической платформы, целей и средств. Тут была и "ориентация на многочисленные антисоветские элементы среди армянского населения", и установление политических связей с Турцией, и пропаганда буржуазного национализма. Все это было нужно, конечно, для того, чтобы оторгнуть Армению от Советского Союза и создать под протекторатом Турции марионеточное государство с профашистским образом правления. Основным способом борьбы за достижение этих целей, говорилось в программе, Дашнакцутюн и ее местный филиал сохраняют традиционный террор. Однако, теперь острие террористической деятельности должно быть направлено против руководителей большевистской партии и советского правительства. Кроме традиционных средств политической борьбы, говорилось далее, в сложившейся обстановке армянские националисты не должны гнушаться при случае и шпионажем в пользу иностранных государств, прежде всего, конечно, все той же полюбившейся им Турции.

Составитель шутовской программы не мог не знать, что давно исчезнувшая Дашнакцутюн была антитурецкой организацией. Но он был уверен, что, поскольку шпионаж в пользу Турции пришивается сейчас всем довольно многочисленным в Союзе туркам, полуграмотное и неразборчивое следствие будет весьма довольно, если местные дашнаки примут на себя шпионаж в пользу Турции, несмотря на многие тысячи верст, отделяющие их от всех границ.

И он не ошибся. Программа имела у следователя такой успех, что тот сразу же сменил гнев на милость и даже стал обращаться к Хачатурову на "вы" и по имени-отчеству, разрешил ему свидание с женой и передачу от нее. Для внутренней тюрьмы это было весьма редким случаем.

Армен Григорьевич щедро делился домашней снедью чуть ли не со всей камерой. Добрую половину ее он отдал дотошному редактору. Наевшийся после трех недель голодания, обласканный следователем, повидавшийся со своей старушкой, Хотя и через

решетку, доктор думал, что все теперь пойдет хорошо и черт, действительно, не так страшен, как его малюют.

Но вскоре тот же следователь предложил Хачатурову дать ему полный список местной организации Дашнакцутюн.

Только тут недалекий и благодушный старик понял, перед чем он стоит. Он даже попытался отказаться от своих прежних показаний, заявил было, что все им тут написанное — чистейший вздор. Но лицо следователя было таким страшным, когда он вылезал из-за своего стола... "Ты что, шутки шутить с нами вздумал, политическая б...?" — что Армен Григорьевич тут же начал писать длинный ряд фамилий на лежавшем перед ним листе бумаги. Это были, главным образом, армяне-медики, коллеги Хачатурова по поликлинике.

Благоразумных и догадливых среди них оказалось не так уж много. Большинство оказывало следствию неумное, бесполезное сопротивление. Таких надо было еще дополнительно урезонивать при помощи избиений и очных ставок с Хачатуровым. Его таскали на эти ставки чуть не каждый день. Производились они почти исключительно в дневное время, длились всего по нескольку минут, но представляли для старого доктора нестерпимую моральную пытку. Армен Григорьевич почти перестал есть, утратил свою былую словоохотливость и благодушие и целыми днями сидел угрюмый и молчаливый. По ночам он часто бредил и всхлипывал во сне. Особенно сильно страдал Хачатуров, когда приходилось "уличать во лжи" совсем уж близких и знакомых людей. Некоторое время он пытался не включать в свой список брата жены, тоже врача и близкого друга Армена Григорьевича. Но этот пробел был вскоре замечен следователем. Уличенный им в недобросовестности вербовщик взбунтовался было и даже устроил в следовательском кабинете что-то вроде небольшой истерики. Однако после густой матерной брани по адресу политических проституток и пары несильных пощечин шурин Хачатурова был включен в дашнакский список.

Очной ставки с этим человеком Армен Григорьевич ждал, как казни. Возвратившись после нее в камеру, он пробирался к своему месту, ощупывая впереди себя воздух, как слепой. А когда сел на это место, глядя остекленевшими глазами куда-то сквозь противо-

положную стену, все увидели, что в отросшей уже в тюрьме седой бороде старика алеет кровь. Рядом дрожали крупные слезины. Тогда его ни о чем не спросили, но потом узнали. На очной шурин Армена Григорьевича вдруг вскочил со своего стула, крикнул "Иуда!" и сильно ударил Хачатурова по лицу. Шурина отправили в карцер. Однако доктор завидовал теперь не только ему, но даже евангельскому Иуде, у которого, по крайней мере, нашлась внутренняя сила и были средства, чтобы избавиться от терзавших его нравственных мучений. У Армена Григорьевича не было ни того, ни другого.

Шли дни, и с каждым из них возрастала вероятность вызова на допрос. А Рафаил Львович по-прежнему не мог придумать ничего, что можно было бы противопоставить той сокрушающей лжи, которая вот-вот должна была на него обрушиться. Изнемогающая мысль все больше уподоблялась мягкому резцу, не способному проникнуть под поверхность неодолимо твердого материала. После безрезультатных усилий, она снова и снова возвращалась в исходную точку, становясь при этом все тупее.

Однажды Белокриницкий, уставший от бесплодных попыток найти решение проклятой задачи, безразлично слушал беседу соседей. Пожилой ветеринарный фельдшер рассказывал: "Прочитал он эти мои показания и спрашивает: "А про то, как вы с вашим директором совхозных баранов поморили, почему от следствия утаиваешь? Думаешь, не знаем?" Про каких таких баранов, думаю, он толкует? Никогда в нашем совхозе никаких баранов не было, путает он что-то... Уже заикнулся было ему об этом сказать, а потом думаю: зачем? Почему это я о правдоподобности своего вранья заботиться должен? Напишу ему и про баранов. И чем больше будет в моих показаниях всякой несусветной чепухи, несоответствий всяких, тем лучше! Легче будет потом доказать, что и все-то мое дело — сплошная липа..."

Рафаил Львович очнулся от состояния апатии. Одно слово из произнесенных ветеринаром почему-то изменило вялый ход его мыслей, внеся в них какое-то оживление. Белокриницкий почувствовал настороженность, как перед неожиданной находкой, содержание которой, однако, ему еще не было известно. Это было чув-

ство, знакомое каждому изобретателю и математику. Где-то рядом, совсем близко находилась смутная идея решения проклятой задачи, мучившей его все эти бесконечные дни и бессонные ночи. Сейчас эта идея или ускользнет, или будет поймана и облечется в четкие контуры...

Идея возникла от слова "несоответствия". Но из несоответствия чего и чему должно было родиться решение задачи, Белокриницкий еще не знал. Потом из толпы теснящихся мыслей вырвался ответ, сначала размытый и не вполне определенный. Еще через несколько секунд лихорадочной работы мозга он получил четкую и ясную формулировку — несоответствие показаний о своем вредительстве, которые может дать следствию Белокриницкий, — здравому смыслу, принципиальным возможностям, даже физическим законам... Рафаил Львович глубоко перевел дух, с плеч свалилась стопудовая тяжесть.

И как просто! А он-то чуть не вывихнул себе мозги и уж совсем было отчаялся в возможности решить казавшуюся неразрешимой задачу.

Спасибо старику-ветеринару!

А тот, и не подозревая, что подсказал блестящую идею инженеру Белокриницкому, продолжал свой неторопливый рассказ: "Ну я и наплел ему про этих баранов сорок бочек арестантов... И про то, как мы оставили отару в степи на буране, и как сбили с толку чабанов... Словом, как в книжке, которую мой внук читал... А у нас нет ни степи, ни баранов, ни чабанов... Хе, хе..."

Умно поступил старик! Но в его показаниях история с баранами только частность. А надо, чтобы показания о выдуманном вредительстве были чепухой сплошь. Но конечно такой чепухой, чтобы следователь ее сразу не заметил.

На следующий день из камеры взяли двоих: избитого железнодорожника и базарного спекулянта. Этот спекулянт погорел на том, что перепродавал на рынке дефицитные товары, которыми его снабжали, разумеется, незаконно знакомые продавцы государственных магазинов. Гешефтмахеру, конечно, полагался срок, но сравнительно небольшой и, скорее всего, с отбыванием его в местной колонии для мелких преступников. Однако, находясь под след-

ствием, этот спекулянт слишком громко сетовал на порядки в Советском Союзе, противопоставляя им вожделенную свободу заграницы. Политически бдительные лица нашлись и среди "социально близких" арестантов уголовной тюрьмы. Незадачливого коммерсанта перевели во внутреннюю тюрьму уже как антисоветского агитатора. Его нехитрое дело о восхвалении капиталистического строя было закончено за каких-нибудь два вечера. Теперь восхвалителя свободы частного предпринимательства переводили в общую тюрьму ждать суда. Болтун сам схлопотал себе резкое усиление наказания. Учитывая его социальную "чуждость", антисоветчику угрожал срок не меньше семи-восьми лет и уже в далеких лагерях.

В ту же тюрьму, по-видимому, увозили и больного стрелочника. Возможно, что для помещения в тюремную больницу. В последнее время кровь из отбитых легких шла у парня так сильно и часто, что даже бурбон-фельдшер, видевший это в кормушку, поскреб в затылке. Однако причина увоза железнодорожника могла быть и другая. Либо его дело об ошибочном переводе стрелок решено рассматривать просто как уголовное, либо парень попал под "ОСО"*. Это иногда случается с теми, кто проявляет на следствии очень уж большое упорство. Для Особого даже выбитое самооклеветание — ненужная роскошь. Человека по его решению угонят лет на восемь или десять в какой-нибудь из дальних лагерей, только уже не по пятьдесят восьмой, а по литерной статье, какой-нибудь КРД или АСА**. Такой исход можно было бы считать крупной победой непугливого хлопца, если бы ценой такой победы не было прогрессирующее кровохарканье.

— Выживет парень до этапа, если его в "дальние" повезут? — спросил кто-то у доктора Хачатурова, когда дверь за вызванными закрылась.

Тот непонимающе уставился на спросившего. Армен Григорьевич теперь не разговаривал почти ни с кем и все время сидел, уставившись немигающими глазами в одну точку. Сейчас он и отда-

---

* "ОСО" — Особое совещание при наркоме НКВД. Обладало правом заключения сроком до 10 лет, а в некоторые периоды и правом расстрела без суда и следствия.

** КРД — контрреволюционная деятельность; АСА — антисоветская агитация.

ленно не напоминал прежнего камерного доктора, так охотно ставившего диагнозы, дававшего врачебные советы, а иногда и читавшего популярные лекции по медицине. Хачатуров осунулся, както сразу постарел и все труднее реагировал даже на прямые обращения к нему соседей. Вот и сейчас потребовалась добрая минута, чтобы старик как будто понял заданный ему вопрос и торопливо закивал головой: "Да, да, да..." Но понял ли он этот вопрос в действительности, особой уверенности быть не могло.

Разгрузка камеры была ощутимой тем более, что спекулянт-антисоветчик был толстым и здоровенным детиной. Но относительное уменьшение тесноты продолжалось очень недолго. Уже через каких-нибудь полчаса на взлетной площадке у параши стоял новый арестант. Он был менее расхристан, чем все другие новички здесь, и, что самое удивительное, не казался ни очень испуганным, ни расстроенным.

От уменьшения численности населения камеры на два человека снизилось ее биологическое давление, как шутил когда-то в таких случаях доктор Хачатуров. Но чтоб образовались свободные места — об этом не могло быть и речи, все остались на прежних местах, только рассевшись чуть-чуть попросторнее. Впритык к параше остался сидеть и Белокриницкий. Только с появлением здесь нового человека у него могло начаться продвижение к заветному месту под окном. Возможно, что эгоистическая заинтересованность была не последней причиной изысканного жеста, каким Рафаил Львович пригласил новичка присесть на крышку бадьи. Тот, скользнув по ней взглядом, прикрыл крышку своим легким пальто и сказал, одергивая на коленях хорошо отутюженные брюки:

— Не красна изба углами...

— Пирогами, положим, она тоже не красна... — вздохнул, улыбнувшись, Петр Михайлович.

Новый жилец коротко хохотнул.

Так, сразу после заталкивания в эту морилку, не вел себя еще никто. Кто же он, этот человек, проявлявший здесь такую необыкновенную выдержку?

Обычно с расспросами к недавно арестованным обращаются только после того, как они несколько придут в себя и освоятся с обстановкой. Да и потом эти вопросы задаются в определенной по-

следовательности. Но этот человек, по-видимому, не нуждался в таком постепенном и осторожном подходе. Поэтому Петр Михайлович почти сразу и без обиняков спросил своего нового соседа: знает ли он, за что его арестовали?

— Я могу только догадываться, почему я арестован, — ответил тот, усмехнувшись.

Такая умудренность в человеке, явившемся только что с воли, была еще непостижимей, чем поразительная выдержка арестованного. И хотя для начала это было не совсем этичным, новичка спросили о его общественном положении до ареста.

Сидевший напротив Белокриницкого пожилой священник назвал как-то двадцать вторую камеру ноевым ковчегом за поразительное разнообразие ее населения. Но даже этот ковчег был изумлен, когда его новый обитатель спокойно ответил:

— До прошлой ночи я занимал должность главного прокурора области.

На новоприбывшего уставились теперь уже все, даже впадающий в прострацию Хачатуров и почти уже в нее впавший престарелый булочник Паронян.

— Но позвольте, главный прокурор у нас ведь Кривенко! — удивленно возразил Лаврентьев, сам входивший в состав здешнего обкома.

— Видно, вы давно уже тут, — улыбнулся новый арестант. — Кривенко арестован четыре месяца тому назад. Сменившие его штатные заместители продержались недолго, один — месяц, другой — полтора. А следующий за ними по чину в областной прокуратуре был я. Моя фамилия Берман...

Это, правда, было уже не совсем то. Но все же вчерашний прокурор целого края, сегодня сидящий на параше, являлся для арестантов двадцать второй как бы символом времени. Иронично и зло усмехнулся Михайлов:

— Значит, это вы на наши аресты ордерки выписывали?

— Возможно, но только на некоторых, — спокойно ответил Берман. — Право санкционировать аресты имеют в областной прокуратуре несколько лиц, и таким же правом обладает каждый районный прокурор. Однако вероятность этого события, — он улыбнулся, как будто речь шла об установлении давнего и прият-

ного знакомства, — тем больше, чем выше было ваше служебное положение и чем позже вы арестованы...

Содержание в одной камере попавшего в тюрьму блюстителя закона с его нарушителями всегда считалось совершенно недопустимым. Но Михаилу Марковичу — так звали бывшего прокурора — явно ничего не угрожало со стороны его сокамерников. Кроме, может быть, Михайлова, все отнеслись к Берману с доброжелательным интересом. Петр Михайлович показывал ему, как можно облегчить сидение у параши, как свертывать валиком пальто и в чем заключаются главные законы камеры в отношении ночного спанья. Они ведь неписаные и бывшему прокурору вряд ли известны...

Тот похохатывал, а Рафаила Львовича подмывало озорное желание попросить Бермана показать хотя бы жестом в воздухе, как он подписывается. Он отлично помнил, как выглядела та проклятая закорючка в ордере на его арест, хотя почти ничего из написанного в этом ордере так и не понял. Зная теперь инициалы бывшего прокурора, он пытался составить из них в воображении что-то подобное той закорючке, но из этого ничего не выходило. Не попросить ли его, в самом деле? Однако Белокриницкий на это так и не решился.

Скоро Михаил Маркович сделался в камере чем-то вроде штатного консультанта по юридическим вопросам. Правда, давать советы, как вести себя на следствии, он либо отказывался, либо давал их в такой общей и неопределенной форме, что они немногого стоили. Но объяснения общеюридического характера Берман давал охотно. Эти объяснения никак не содействовали укреплению оптимистических настроений. Из них вытекало, что беззаконие возведено у нас в ранг государственного принципа и даже подкрепляется официальной наукой. Однажды Берман рассказал о совещании руководящих работников НКВД и прокуратуры, созванном наркомом Ежовым в прошлом году. Наследник славных традиций железного Феликса объявил собравшимся, что страна поражена тайным фашизмом, как внешне здоровый организм раковой болезнью. Он повторил тезис Сталина, что враги проникли во все поры партийного и советского аппарата, промышленности, армии, научных учреждений. Что, принимая самые различные формы, этот фашизм

внешне не проявляется ничем. Таким образом, тягчайшее заболевание советского государства внешне лишено каких-либо опознавательных симптомов. Предположительная численность тайных врагов социализма, объединенных в антисоветские организации, выражается цифрой с шестью нулями. Однако все эти организации законспирированы с беспримерной в истории строгостью. У нынешних контрреволюционеров-подпольщиков нет ни явок, ни членских списков, ни партийных билетов. Никаких собраний, кроме редких заседаний главных центровиков, они никогда не устраивают. Никакой литературы, даже пропагандистских листков, не издают. О составе своих организаций рядовые члены, как правило, ничего не знают. Они имеют дело только с теми, кто ввел их в организацию, и с теми, кого они совратили в контрреволюцию сами. Отсюда, сказал нарком, и вытекает главная особенность и трудность работы по очищению от плевел, внешне ничем не отличающихся от злаков...

"Так вот почему, — протянул Савин, — следователи интересуются только вербовщиками и завербованными..." А молчавший до сих пор поп спросил: "А если все так шито-крыто, то откуда сам Ежов знает, сколько у советской власти тайных врагов?"

— Численность кадров внутренней контрреволюции, — сухо ответил Берман, — определяется, конечно, приблизительно, исходя из сталинского тезиса, что эти кадры вербуются из числа обиженных властью людей. — И продолжал: — Нарком Ежов заключил свою речь директивой немедленно приступить к выполнению операции по изъятию из государственного организма чужеродных элементов. Таково решение правительства, партии и вождя. Подчеркивалось при этом, что необходимо помнить о главном свойстве наиболее злобных врагов. Являясь как бы бомбой замедленного действия, они до поры не только не выявляют себя какими-либо враждебными высказываниями или действиями, но наоборот, стараясь заручиться наибольшим доверием советских людей, нередко работают очень хорошо. Нужен был орлиный взгляд вождя и учителя, чтобы усмотреть в этом главный опознавательный признак врага, особенно, когда он сочетается с сомнительным социальным происхождением. Гениальное сталинское откровение должно быть

принято на вооружение как специальными органами НКВД, так и всеми бдительными советскими гражданами...

Многое после объяснений бывшего прокурора становилось более понятным. Одной из странных повадок НКВД было, например, то, что его следователи хватались за вербовку талантливых людей из любой области деятельности, в то время как серых и малозаметных они принимали неохотно.

С прежним бесстрастием Берман сообщил своим слушателям, что на той же конференции нарком объявил о чрезвычайных полномочиях, полученных его наркоматом от правительства и партии в связи с заданием выкорчевывать в стране тайную контрреволюцию. Особая щепетильность при выявлении всех замешанных в ней не только не нужна, но и способна помешать делу. Критерием умения и усердия органов НКВД на местах является отныне только конечный результат их деятельности, т. е. количество выявленных и обезвреженных врагов народа. Контрольные цифры по республикам и областям намечены самим Ежовым, хотя отнюдь не в форме официального документа...

— План, значит, спущен, — заметил кто-то из слушателей попроще.

Бывший прокурор сделал вид, что не расслышал этой реплики.

Рафаил Львович уже обдумал отправные данные, на основе которых он должен будет составить свои будущие показания. Главные из этих данных сводились к следующему.

К технической экспертизе следственные органы нынешнего Комиссариата внутренних дел не прибегают никогда. В их нынешней деятельности такая экспертиза нужна не более, чем рыбке зонтик, по выражению покойного Льва Моисеевича.

Вероятность наткнуться на следователя, способного разобраться хотя бы в общефизической сущности показаний бывшего главного инженера, касающихся технических приемов его вредительства, практически равна нулю. Подавляющее большинство следователей ежовского НКВД даже не кадровые чекисты, а недавно мобилизованные в органы комсомольцы старших возрастов и молодые партийцы сталинской генерации. Прежние, служившие при Ягоде и раньше, почти все уничтожены. Главные же признаки, по которым укомплектованы новые

кадры НКВД, — фанатическая туповатость и крикливая политическая активность. И то, и другое почти всегда связано с самодовольной невежественностью. Попадаются, конечно, среди мобилизованных в НКВД развитые и мыслящие ребята, но такие скоро куда-то исчезают. Что аппарат НКВД после падения прежнего наркома почти полностью обновлен, об этом говорил и Берман.

Что касается стиля будущего сочинения, то следует учесть пристрастие нынешних энкавэдэшников к пышным фразеологическим штампам, особенно в покаянной части. Совершенно необходимо также, чтобы вредительские действия обладали достаточной масштабностью. После процессов шахтинцев, рамзиновцев, кемеровцев и других специалистов-преступников, мелкотравчатое вредительство будет психологически неоправдано. Размах выдуманного вредительства в местной энергетике должен соответствовать и ее месту в хозяйстве страны, и рангу самого вредителя. Все это нужно как приманка, на которую должен безотказно клюнуть и будущий следователь Белокриницкого, и более высокое следовательское начальство, утверждающее передачу дела в судебную инстанцию. По существу же, будущие показания должны представлять собой с технической и даже физической стороны чистейший абсурд, не способный выдержать проверки самой поверхностной и малоквалифицированной экспертной комиссией. Однако прямого несоответствия фактам, как в показаниях ветеринара, надо избегать, чтобы не рисковать и преждевременно не провалить затеянный для НКВД подвох. Вредительские действия бывшего главного инженера крупного энергетического треста должны подкупить невежественного следователя и его начальство, всех этих "фанэ квас", своей масштабностью и кажущейся зловредностью. И оставаться в то же время очевидным вздором для мало-мальски технически грамотного человека.

Белокриницкому доставляло удовольствие выдумывание поражающих неспециалиста, но совершенно абсурдных по существу вредительских акций. Это оказалось довольно забавным и увлекательным занятием. Рафаил Львович улыбался, представляя себе хохот будущего эксперта по его делу, как только тот прочтет уже первые строчки его чистосердечного признания.

Михаил Маркович Берман мало соответствовал уже возникшему в те годы, а впоследствии ставшему почти единственным среди советских юристов типу чиновника, не только мирящегося с низведением своей роли до почти бутафорской, но иной себе эту роль даже и не представляющего. Он участвовал в гражданской войне, в партию вступил в двадцатых годах, юридический факультет закончил еще до возникновения политики стандартизации мозгов, как он сам называл начавшийся при Сталине процесс пресечения всякой индивидуальности в политическом мышлении. Берман умел думать, знал больше других и поэтому лучше всех здесь понимал происходящее. Однако, это понимание касалось только техники совершаемых беззаконий и того, что относилось к их внешним формам. Об истинном смысле и конечной цели незаконных арестов, палаческого следствия и неправедных судов, он не решался даже предположить что-нибудь определенное.

Несмотря на кажущуюся внешнюю бодрость, наигранную, главным образом, из-за сознания ложности своего положения бывшего прокурора среди арестованных, Берман признавался новым друзьям, что считает для себя возможность выйти живым из глухого капкана, в который он попал сейчас, делом почти безнадежным. Шить ему будут, наверно, участие в троцкистско-бухаринской оппозиции. Не обойдется, конечно, и без достаточно крупного контрреволюционного задания, всего скорее, саботажа мероприятий по выявлению в здешней области тайной контрреволюции. Все это пахнет военной коллегией и расстрелом...

После довольно долгого молчания кто-то спросил: "Михаил Маркович, а кого вообще судит Военная коллегия?" Оказалось, что всех центровиков, главных руководителй контрреволюции во всесоюзном масштабе. Все ведь читали газетные отчеты о процессах зиновьевцев, троцкистов-бухаринцев, руководителей Промпартии, заговорщиков-военных из Генерального штаба. Впрочем, на местах периодически проводятся сессии не самой коллегии, а ее выездной группы, которая судит контриков покрупнее. Периодически этот состав Военной наезжает и сюда.

— А где происходят ее заседания? — спросил кто-то. Прежде никто здесь о них и не слыхал.

— Вот в этом же здании областного Управления НКВД.

Это было неожиданностью. Военная, как рассказал бывший прокурор, — суд очень скорый, вряд ли правый и, безусловно, немилостивый. Половина попавших под этот суд приговаривается к расстрелу, другая — к тяжелым видам заключения на сроки не менее пятнадцати лет. Однако, несмотря на свою свирепость, это самый быстроходный из действующих судов. За иную ночь коллегия успевает вынести добрую сотню приговоров.

— Как? За ночь? Разве...

— Выездная группа заседает всегда только ночью...

— Ночью! — слушатели переглянулись.

— Михаил Маркович, а я не могу попасть под Военную? — спросил Петр Михайлович, стойкий оптимизм которого от пояснений бывшего прокурора изрядно поколебался.

Берман его успокоил. Дела о вредительстве обычно рассматривает гражданский суд по контрреволюционным делам — Спецколлегия. Заседает она днем, процент приговоренных к расстрелу у Спецколлегии ниже, чем у Военной, хотя даже самый мягкий приговор — все те же пятнадцать лет... Под Военную вредители могут попасть, только если их действия имеют уж очень большой масштаб, по своему характеру граничат с диверсией или произведены в оборонной промышленности.

— А вам самому приходилось участвовать в судебных заседаниях? — спросил Лаврентьев.

— Конечно, но только по уголовным делам. — Берман объяснил, что в делах о контрреволюции принцип состязательности теперь не применяется, и они рассматриваются на закрытых заседаниях судов без участия сторон. Исключение составляют только крупные показательные процессы и мелкие дела об антисоветской агитации. Но и прокурор, и защитник на судах по таким делам присутствуют, собственно, только для формы. Поэтому посылают на них обычно начинающих юристов и больше в порядке стажировки, чем действительной необходимости. Все равно все решено заранее.

— Это после того, как сталинской конституцией роль прокуратуры поднята на небывалую высоту! — язвительно усмехнулся Михайлов. — "Никто без санкции прокурора..."

" ... не может быть арестован", — закончил за него Берман. —

Что ж, в этой части закон и не нарушается. Без подписи прокурора на специальном ордере аресты, действительно, не производятся. Другое дело, как эти подписи ставятся. Уже выписанные ордера прокуроры подписывают пачками по сотне штук сразу. И даже по фамилиям, разве только случайно, не могут знать вписанных в них людей. Нередко Управление НКВД требует даже пустые бланки-ордера на арест с прокурорской подписью. Любой из нынешних прокуроров мог бы подписать и распоряжение о собственном аресте. Как царь Александр Третий, подписавший однажды приказ о его, царя, сечении, подсунутый забулдыгой братцем, любителем веселой шутки. Но сейчас в прокуратуре никому не до веселья.

Однажды ночью на квартиру к Берману ввалились оперативники НКВД. Думали с женой, что за ним. Оказалось, однако, что время для этого еще не пришло. Просто на эту ночь не хватило подписанных бланков.

Может быть, именно в ту ночь Берман и подписал, среди сотни других, ордер на арест какого-то Белокриницкого? А от страха перед оперативниками прокурорская закорючка и получилась такой невыразительной? Эта закорючка все не вылезала у Рафаила Львовича из головы.

Однажды, уже перед самым отбоем, из камеры взяли еще двоих: Панасюка, подписавшего на конвейере признание в совершении крупной диверсии, и школьного директора, превратившего свой учительский коллектив в повстанческий отряд. Дело Панасюка, работавшего прежде грузчиком на зерновом складе, было обосновано фактами. Несколько лет назад часть этого склада действительно сгорела. Но причину пожара удалось установить только теперь, когда следователь Панасюка вынудил его признать себя поджигателем. Особая жестокость в отношении незаметного работяги объяснялась, по-видимому, еще и тем, что в ранней молодости Панасюк служил в петлюровских частях. Берман сказал, что и бывший грузчик, и бывший завшколой пойдут под Военный трибунал. И что по ним обоим уже сейчас можно справлять панихиду.

Кажется и эта, десятая по счету, ночь Рафаила Львовича в тюрьме пройдет без вызова к следователю. Как и все ожидавшие своего первого допроса, Белокриницкий спал очень мало и плохо.

Шла вторая половина ночи, и некоторые, в том числе и Кушнарев, уже вернулись с допроса. Следователь у Кушнарева был теперь другой. Этот не держит его до утра, но сильнее бьет и обещает, если Кушнарев будет упорствовать, переломать ему ребра. К упрямому подследственному, видимо, ищут подход.

А какой подход будет применен к вредителю Белокриницкому? Всякий раз, когда вопрос об этом возникал в такой ясной и конкретной форме, Рафаил Львович чувствовал, что под ложечкой у него образуется неприятная, сосущая пустота. Белокриницкий решил приступить к написанию давно продуманного сочинения в первый же свой вызов к следователю. Необходимо, однако, разыграть вначале некоторое сопротивление, вызванное якобы естественным нежеланием признаваться. Если показать себя слишком уж податливым, претензии следователя могут непомерно возрасти и навести его на мысль сделать из Белокриницкого вербовщика. Поэтому надо поломаться с полчаса, дать понять, что игра на слишком большой выигрыш не стоит свеч, и только после этого сдаться. Реакция следователя, когда он не станет сразу давать показания, будет, вероятно, бурной. Он подумал о почти неизбежных оскорблениях, матерщине, может быть, даже ударах. От этих мыслей становилось не по себе и снова ныло под ложечкой.

И все же Рафаил Львович больше не чувствовал себя таким безоружным. Теперь он ждал встречи со следователем не с прежним чувством безнадежности, а почти уверенный в благополучном исходе жутковатой, но интересной игры. Хотя конечный результат задуманного выявится, вероятно, очень нескоро, глубокое удовлетворение доставляла мысль, что "фанэ квас" — так теперь про себя называл Белокриницкий весь аппарат неправедного следствия и суда, — одержав мнимую победу над очередной жертвой, на этот раз распишется в неизбежном поражении.

Днем Рафаил Львович испытывал нетерпеливое чувство игрока, желающего, чтобы игра поскорее началась. Однако ночью к этому чувству опять примешивался неодолимый страх. Когда же щелкала кормушка и в ней появлялось лицо надзирателя с бумажкой в руке, этот страх усиливался настолько, что немели руки и ноги, а во рту появлялось ощущение, напоминающее вкус купороса.

В эту ночь лежали, как всегда, валетом. Пальцы ног спящего

Петра Михайловича касались затылка Белокриницкого. Общение с ним, да еще с Берманом, лежавшим по другую сторону, было единственным, что скрашивало тягостные дни неподвижного сидения в вонючей камере. Однако Петр Михайлович уже подписал знаменитую здесь двести шестую, т. е. документ, означающий, что согласно этой статье Процессуального кодекса следствие по его делу закончено. Обычно таких отправляли в одну из общих городских тюрем ждать суда. При мысли о том, что умного и добродушного собеседника скоро здесь не будет, охватывало тоскливое чувство.

Правда, оставался Берман. Он сейчас тоже не спит. Наверно, и ему не дают уснуть мысли, бьющиеся в поисках выхода, хотя бывший прокурор лучше всякого другого понимает безнадежность такого поиска. Отвратительное место у параши тоже, наверно, способствовало тому, что Берман уже был не в состоянии сохранить свою джентльменскую невозмутимость, так поразившую арестантов двадцать второй при его появлении.

Щелкнула задвижка кормушки. Чуть не все и почти сразу подняли головы.

— На "бэ", — вполголоса сказал надзиратель.

"Белов?" — как эхо откликнулся поп. Это он назвал камеру Носевым ковчегом. Священника уже вызывали на допросы, но всего два раза и уже довольно давно. Ему пытались пришить, будто община дев-мироносиц при его церкви — террористическая организация. И что непосредственной целью этой организации является убийство Сталина. НКВД было известно, что Белов незадолго до своего ареста посетил Москву и даже ходил на Красную площадь со специальной целью высмотреть, из каких ворот Кремля выезжает обычно Генеральный Секретарь ВКП(б). Попик и не отрицал, что в Москву он действительно ездил — надо было кое-что купить, и несколько раз проходил по Красной площади. Однако Сталина убивать ей-ей не собирался. А его мироносицы не могли бы сделать этого и подавно, так как младшей из них перевалило за шестой десяток. Дело, видимо, не клеилось, и Белова не вызывали уже целый месяц. Старик нервничал.

— Нет! — ответил ему надзиратель. Таким же был ответ и Берману.

Теперь на "бэ" в камере оставался только Белокриницкий. Но свою фамилию он произнес как-то тонко и хрипло, почти по-петушиному.

— Собирайся, — сказал коридорный. — Быстро!

Рафаил Львович долго готовился к этому моменту, постоянно наставляя сам себя, как ему надо будет вести себя при вызове. Не волноваться, не торопиться! Привести свою одежду, по возможности, в достойный вид. Наученный более опытными товарищами, Белокриницкий свил из распущенных носков веревочки и вдел их в ботинки вместо шнурков. Такую же веревочку подлиннее приспособил для подвязывания брюк.

Но сейчас он и торопился, и волновался. Концы веревочек размочалились и не попадали в дырочки на ботинаках, обшлага проклятой интеллигентской рубашки снова вылезали из-под рукавов. О голой шее, по-идиотски торчащей из сорочки без воротника, Рафаил Львович не мог забыть даже теперь.

А надзиратель уже открыл дверь и торопил:

— Чего копаешься? Пошевеливайся быстрей!

— Помните, что я вам говорил! — свистящим шепотом сказал Петр Михайлович. — Он тоже проснулся. Берман сделал успокаивающий жест рукой.

В коридоре Белокриницкий, не дожидаясь приказа, заложил руки за спину. Ожидавший его выводной махнул рукой по направлению к концу коридора. Как только вышли на знакомую лестницу, конвоир начал щелкать пальцами. На площадке второго этажа они миновали человека в изжеванной одежде, уткнувшегося лицом в стену. Очевидно, задерживают только тех, кого возвращают в камеры. Направляющимся в следственный корпус предоставляется зеленая улица.

На площадке третьего этажа солдат сделал жест вправо. Такая же, как и на первом этаже, запятая короткого перехода, по которому они вышли в тоже как будто знакомый Белокриницкому длинный, с одностворчатыми дверями по обе стороны, коридор. По-видимому, за исключением номеров на дверях следовательских кабинетов, коридоры на всех этажах были совершенно одинаковы. Однако тот, по которому провели Рафаила Львовича в ночь его ареста, был пустынен и тих. Как он узнал впоследствии, арестованных в кабине-

тах первого этажа не допрашивали и только в некоторых из них работали позже полуночи. Здесь же рабочий день был в самом разгаре, и коридор гудел от голосов за дверями. Но это были не просто голоса, а громкие крики и площадная брань. Издали шум следовательского корпуса можно было принять за гвалт какого-то скандала с большим числом участников. Однако его производила не толпа, а отдельные люди, порознь оравшие каждый за своей дверью. Чуть не все они повторяли с интонациями то начинающейся истерии, то клокочущей ярости почти один и тот же вопрос: "Будешь говорить? Говорить будешь?" Этот вопрос часто сопровождался неистовой матерщиной, а иногда и звуками ударов.

Рафаил Львович вдруг почувствовал, как его робость переходит в обессиливающий страх, от которого подкашиваются ноги и теряется способность логически мыслить. Только не это! Никогда еще в его жизни не была так нужна ясность мышления, как сейчас.

С дальнего конца коридора девушка в белом халатике несла поднос, на котором стояли стаканы с чаем и лежали бутерброды. Она улыбалась молодому человеку в форме НКВД, пробежавшему ей навстречу и приветственно помахавшему рукой. Как будто эти люди встретились в театральном фойе! Видимо, для них обоих звуки за стеной были чем-то вроде привычного производственного шума.

Выводной посмотрел в бумажку и постучал в узкую дверь с трехзначным номером в белом кружке. "Да, да!" — резким голосом ответили изнутри. Солдат открыл дверь, пропустил в нее арестованного и снова закрыл из коридора.

В комнате находились два молодых человека. Один в форме следователя с вышитыми на рукаве гимнастерки скрещенными золотыми мечами сидел за столом и что-то писал. Другой, одетый в штатское, стоял у окна, прислонясь спиной к подоконнику и засунув руки в карманы брюк. Под впечатлением страшных звуков, которые были слышны здесь, Рафаил Львович лишь с трудом вымолвил: "Здравствуйте!" — язык едва ему повиновался. Испуганный взгляд арестованного некоторое время удерживался на хозяине кабинета, но потом, почти против воли, остановился на парне в штатском. Этот малый как будто гипнотизировал Белокриницкого своими плечами циркового борца, бычьей короткой шеей и презрительно-враждебным взглядом исподлобья. Зачем он здесь?

Ответа на приветствие не последовало. Следователь за столом продолжал писать, парень у окна зло смотрел на Рафаила Львовича, напоминая собаку, которая только ждет кивка хозяина, чтобы наброситься на чужого. За стеной кто-то срывающимся фальцетом выкрикивал все ту же фразу: "Говорить будешь?" Из-за другой стены доносился топот ног, глухие удары и вскрикивания. По-видимому, там несколько человек скопом избивали одного.

Белокриницкий силился не забыть наставлений и собственных решений, как вести себя в эти минуты. Не трястись, не выставлять напоказ, что ты трус и размазня! Помнить, что, хотя могут ударить и сразу, но не слишком сильно, так как это будет сделано только для острастки. А следовательские крики и мат можно принимать как едва ли не единственный здесь разговорный язык с подследственными. Ни в коем случае нельзя показывать, что ты из тех, кто сразу же выворачивается наизнанку. Предупреждали Белокриницкого и о том, что звуки избиения за стеной слышат почти все вызываемые на первый допрос, и только редко потом. Вероятно, это только инсценировка для запугивания новичков.

Но было похоже, что все эти мудрые наставления оставались теперь сами по себе, а нервозность, унаследованная от предков, сама по себе. Стоя у двери — пройти дальше его почему-то не приглашали, — Рафаил Львович чувствовал, что ему становится все труднее удерживаться на ногах.

— Фамилия? — резким и скрипучим голосом произнес, наконец, следователь за столом. Лицо, которое он только теперь повернул к арестованному, было подстать этому голосу, какое-то испитое, со злым выражением. Сглотнув слюну, Рафаил Львович ответил.

— Ага, Белокриницкий... — Злое лицо парня в гимнастерке с мечами злорадно скривилось, как будто арестованный был его давним, хотя и неизвестным в лицо врагом. Таким тоном говорят что-нибудь вроде: "Попался, наконец, голубчик!" — Ну что ж, Белокриницкий, садись, поговорим... — это уже с оттенком злорадного ехидства.

Рафаил Львович на казавшихся ему ватными ногах прошел к стулу, стоявшему под стеной, и опустился на него, стараясь подавить начинавшуюся дрожь.

— Как следует сядь! — парень в штатском выдернул из-под арестованного стул так резко, что тот чуть не упал, и повернул его одним из передних углов сиденья к столу. — Сюда садись! — он ткнул в этот угол носком ботинка. — И руки на колени! Порядка не знаешь, дерьмо фашистское?!

Белокриницкий вспомнил, как многие вернувшиеся с допроса испытывали боль в крестце из-за многочасового сидения на уголке стула. Было в этом, конечно, и издевательство унижением.

— Ну, — следователь смотрел с издевательской иронией. — Сразу все расскажешь или возиться с тобой, как вон с тем...? — он показал большим пальцем через плечо на стенку позади себя.

Во рту у Рафаила Львовича стало сухо. Он изо всей силы сжимал руками колени, чтобы удержать их от дрожи, и чувствовал, как на этих ладонях выступает неприятный липкий пот.

Не показывать своей слабости, не возбуждать слишком больших аппетитов у допрашивателей! — твердил он себе правила поведения на первом допросе. Но понять и заучить эти правила было в тысячу раз легче, чем не только выполнить, но и просто удержать их в памяти под свирепыми взглядами и окриками этих двух насильников. Согласно продуманной программе, на грубость надлежало ответить дерзкой просьбой быть повежливее. Но зубы приходится держать крепко стиснутыми, иначе сквозь них вот-вот прорвется что-нибудь, скорее похожее на блеяние, чем на выражение достоинства.

— Ты будешь говорить, вредитель?! — вдруг гаркнул следователь. Он поднялся за своим столом, опираясь на него сжатыми кулаками, а его помощник подошел к стулу допрашиваемого вплотную.

— Я... я не знаю, что говорить... — произнес, наконец, Рафаил Львович совсем не то, что нужно было сказать.

— Не знаешь? — парень с бычьей шеей ударил арестованного кулаком в подбородок, приставив другой кулак к его затылку.

Вряд ли это был удар даже вполсилы. Но Рафаилу Львовичу показалось, что у него затрещали кости черепа, а перед глазами запрыгали разноцветные огни. Его обуял животный страх перед вторым ударом. Этот удар, наверно, лишит его всякого самообладания, способности думать, разумно осуществить намеченный план.

— Я все, все... напишу... — запинаясь, пробормотал Белокриницкий.

Проклятая трусость, пяти минут не выдержал! Коленки ходили ходуном от крупной дрожи, и удержать их от этой дрожи было уже невозможно. Липкий пот выступил не только на ладонях рук, но и на подошвах ног.

Допрашиватели, по-видимому, этого и хотели. Следователь опустился на свой стул и снова начал просматривать какие-то бумаги, а его помощник отошел к окну и снова засунул руки в карманы. Но теперь он стоял уже спиной к арестованному, выражая своей позой только скуку и презрение.

Дрожь в конечностях начинала затихать. Проходило и ощущение лихорадочной сухости во рту, сменяясь привкусом полынной горечи, как после рвоты. Но это было уже легче. Возвращалась способность оценивать обстановку.

Из намерения продемонстрировать перед этими молодцами хотя бы минимальную стойкость ничего не вышло. Конечно, они уже поняли, что из такого рохли они страхом могут выбить все, что им угодно.

Значит, чтобы предотвратить требование клеветать на других, надо ублажить своих следователей масштабом и важностью якобы совершенного вредительства. Конечно, дадут большой срок и угонят в особо дальние лагеря, но другой возможности, видимо, нет..

— Так в какой же контрреволюционной организации вы состояли? — скрипучие нотки в голосе следователя исчезли. Обращением на "вы" он, очевидно, хотел показать, что по-деловому с ним разговаривать можно.

Свирепый наскок на первом же допросе, это, конечно, один из стандартных приемов психологического воздействия на неопытных. Некоторые из товарищей Белокриницкого по камере — бывалые арестанты — считают даже, что такой наскок более благоприятный признак, чем относительная вежливость вначале и постепенно усиливающийся нажим. Он якобы означает, что претензии следователя не столь уж велики.

Верно ли это утверждение, покажет будущее. А пока оно годилось как успокоительная гипотеза. Мордобоец в штатском ушел. Хозяин кабинета перебирал на своем столе какие-то бумаги, а Ра-

фаил Львович, сидя за столиком недалеко от двери, быстро писал. Постороннему наблюдателю обстановка могла бы показаться почти мирной, если бы не звуки из коридора и соседних комнат, раздававшиеся и теперь, правда, значительно реже, чем в первой половине ночи.

Однако в ту первую ночь у следователя Белокриницкий сочинил только вводную часть своих показаний. В ней говорилось, что во вредительскую организацию, действовавшую в энергетическом тресте, он вступил по предложению троцкиста-бухаринца Миронова, движимый чувством ненависти к социалистическому строю. Это чувство сын нэпмана вынашивал с ранней юности из-за притеснений, чинимых органами советской власти семье капиталиста, каким являлся покойный Белокриницкий-старший. Младший Белокриницкий не мог также простить, что пролетарская революция лишила его возможности самому стать предпринимателем, притом куда большего масштаба, чем был его отец. Надежда на такую возможность, однако, не исключалась в том случае, если в России будет реставрирован капиталистический строй. Но сделать это может только иностранное вторжение, которому следовало способствовать всеми возможными средствами. Для специалиста самым доступным и действенным из таких средств является техническое вредительство, ослабляющее экономическую мощь Советского государства.

Этим вступлением следователь был вполне удовлетворен. Его очевидных несуразностей он, конечно, не замечал. Если реставрация капитализма еще могла сулить какие-то выгоды Белокриницкому, крупному инженеру и сыну нэпмана, то для чего она могла понадобиться потомственному рабочему и старому большевику Миронову?

Рафаил Львович был отпущен в камеру, но предупрежден, что завтра его опять вызовут для продолжения показаний. А чтобы он мог заниматься этим в достаточно бодром состоянии, коридорному надзирателю будет приказано не тревожить усталого подследственного, если тот уснет в дневное время.

Рафаил Львович написал уже сто раз продуманное сочинение за несколько вечеров. Получился целый трактат о новых способах вре-

дительства в энергетике, изобретенных и разработанных инженером Белокриницким.

В этом сочинении он изобразил себя этаким изобретателем "навыворот", исходящим из положения, что вульгарное вредительство в действующих энергосистемах, пусть даже путем крупных аварий и поломок, не может причинить народному хозяйству достаточно существенного вреда. Перерывы в подаче энергии всегда вызывают много шума и внимания к себе и поэтому не могут быть сколько-нибудь частыми и длительными. Главный инженер Белокриницкий не только не способствовал увеличению числа и тяжести аварий в своей системе, но наоборот, энергично боролся с аварийностью. Он свел простои энергетических установок в этой системе едва ли не к всесоюзному минимуму.

Благодаря этому Белокриницкий максимально приблизил значение действующих мощностей к установленным, т. е. принципиально возможным, и постоянно перевыполнял план поставки электроэнергии промышленным предприятиям. Таким путем он создал себе авторитет безукоризненного технического руководителя. На протяжении ряда лет никому и в голову не приходило, что этот главный инженер является опасным вредителем в области качества электрической энергии.

Популярнейшим образом, прибегая даже к рисункам, Рафаил Львович пояснил неспециалистам, каким образом он осуществлял такое вредительство. Общеизвестно, что промышленный переменный ток нормального качества графически изображается в виде кривой с периодически повторяющимися плавными изгибами, так называемой синусоиды. Для обычного промышленного тока эти повторения происходят пятьдесят раз в секунду. Следователь понимающе кивал головой, он об этом слышал.

Но вот главный инженер объединения электрических станций и подстанций под предлогом внедрения всякого рода усовершенствований и защитных устройств в трансформаторах и других электрических установках делает так, что синусоида тока превращается в некое подобие зубьев продольной пилы (рисунок прилагается). Кроме того, ратуя якобы за увеличение отдачи электрических генераторов, Белокриницкий приказывает увеличить их обороты, от чего частота тока достигает семидесяти и более периодов в секунду.

Это также достаточно ясно видно на рисунке, параллельно изображающем кривые нормального и вредительски изуродованного тока.

Обычными приборами подпорченность поступающей на предприятия энергии обнаружить нельзя — в этом месте сочинитель внутренне устыдился своего вранья — какую же чушь он несет — однако ложь была во спасение, и он продолжал.

Измененный качественно ток портит и выводит из строя трансформаторы, электродвигатели и другое силовое оборудование предприятий. В результате возникают бесчисленные, хотя большей частью относительно мелкие, простои всевозможных агрегатов и станков. В сумме они весьма ощутимо отражаются на выполнении государственных планов во всех областях промышленности целого края. Винят в этом плохое качество оборудования, его неправильную эксплуатацию, но никому в голову не приходит, что во всем виновата незаметная внешне электрическая отрава, изобретенная инженером Белокриницким и много лет поставляемая им вместо доброкачественного тока.

Следователь относился к показаниям Рафаила Львовича с большим интересом, а к их автору — даже с некоторым почтением. Обращаясь к нему по имени и отчеству и всегда только на "вы", он нередко просил пояснений по части техники. Давая такие пояснения, Рафаил Львович порой испытывал некоторую неловкость оттого, что он морочит голову не слишком грамотному и совершенно некомпетентному человеку. Чувствовалось, что результатом следствия этот "фанэ квас" вполне доволен. Ведь не всякому попадается вредитель, который в своем деле прямо-таки академик! Это тебе не то, что дела о подсыпании соли в свиное пойло или толченого стекла в тракторные подшипники!

Расчет оправдался. По поводу вербовки было принято объяснение, что авторитетный специалист главный инженер Белокриницкий не нуждался в помощниках, посвященных в его вредительские изобретения. Они осуществлялись руками ничего не подозревающих людей. Так-де было вернее.

Теперь оставалось ждать подписания двести шестой и суда. Бывший главный инженер накрутил на себя не меньше, чем лет на пятнадцать заключения. Но сейчас это не имеет особого значения. Придет время, и из какого-то далекого лагеря осужденный возбудит

ходатайство о пересмотре дела с указанием, что вредительство, в котором он был обвинен, технически чистейший абсурд.

Белокриницкий поступил диаметрально противоположно тому, что делало большинство липовых вредителей вроде того же Петра Михайловича. Он заложил под свои показания не прочный фундамент, как они, а своего рода мину. И запал от этой мины держит в своих руках.

Секретом этой мины Белокриницкий ни с кем однако не поделился. Во-первых, только полная тайна могла обеспечить успех его хода, во-вторых, друзьям по камере найденный им ход помочь не мог.

Через щели намордника серело утро. Значит, скоро подъем. На допросы в такое время почти никогда не вызывают, да и показания Белокриницкого уже более недели, как были полностью закончены. Значит, его вызывают для подписания формы, в которой значится, что следствие по делу обвиняемого — имярек — закончено. Всякая форма, если она только не мешает существу произвола, соблюдается в НКВД неукоснительно.

Знакомый коридор был тих, рабочее время здесь заканчивалось. Уже нестрашными казались и следовательский кабинет, и его хозяин. При сером свете из окна было видно, что лицо совсем еще молодого человека выглядит не злым, а только старчески изможденным. "Садитесь, Рафаил Львович!" — следователь заполнял какой-то бланк и время от времени проводил по лицу рукой и тер рыжеватую щетину на щеках. Глаза от постоянной бессонницы были у него красные, с припухшими веками. На фоне окна вырисовывалась проволочная сетка, невидимая при освещении изнутри. С улицы она, наверно, и вовсе незаметна при любом освещении. Белокриницкий не переставал делать здесь все новые открытия.

— Подпишите! — следователь придвинул бланк к краю стола.

"На основании статьи 206 ПК... следствие по делу... закончено". Это хорошо. Значит, его показания окончательно приняты и утверждены во всех следовательских инстанциях.

"Белокриницкому, Рафаилу Львовичу... — следовал год рождения, название прежней должности и национальность обвиняемого —

предъявляется обвинение в совершении преступных действий, предусмотренных статьей 58 УК, пункты 11 и 7". Пункт одиннадцатый означает принадлежность к контрреволюционной организации, пункт седьмой — экономическую контрреволюцию, т. е. вредительство.

Перевод сочинения инженера Белокриницкого на язык УК сделан правильно. "Фанэ квас" расписались в своей глупости, невежестве и неотвратимости своего будущего конфуза. Расписался и автор сочинения. Следователь опять провел по лицу рукой и нажал кнопку вызова выводного.

Поздно ночью, уже в конце апреля, из камеры совершенно неожиданно для всех вызвали Хачатурова. Доктор не разговаривал теперь почти совсем и плохо понимал, о чем речь, даже если дело шло о самых обыкновенных вещах. Те, кто помнил Армена Григорьевича в его первые недели в этой камере, когда он был, может быть, излишне суетливым и нервным, но весьма склонным к незлой шутке и словоохотливым, лишь с трудом угадывали этого человека в седобородом дряхлом старике. Старее Армена Григорьевича здесь выглядел теперь разве что семидесятилетний Паронян, тоже член Дашнакцутюн и террорист.

До революции владелец самой крупной булочной в городе, Паронян был арестован несколько раньше Хачатурова. Свою принадлежность к армянской террористической организации он сразу же признал. Точнее, просто подписал какую-то бумагу, написанную для него самим следователем. Это было не в правилах НКВД, но что оставалось делать следователю Пароняна, если его подследственный был совершенно неграмотен и страдал явно выраженным старческим слабоумием. Только поэтому, вероятно, бывшего купца не ввели в состав местного дашнакского центра, и престарелый булочник остался рядовым "бомбистом-маузеристом", как прозвал его шутник Хачатуров.

Хотя на "х" в камере был только один доктор и он не спал, когда открылось оконце кормушки, Хачатуров не отозвался на вызов надзирателя. Соседи кое-как объяснили старику, что ему надо одеваться и куда-то идти. Вот куда — это было совершенно непонятно. Следствие по делу Хачатурова давно уже завершилось

подписанием двести шестой, и естественным был бы его перевод в общую тюрьму. Но в нее в такое время никого не увозили.

Армен Григорьевич долго и бестолково копался с одеванием, хотя соседи по месту старались ему помочь, а надзиратель сердито понукал с порога. Он долго держал дверь камеры открытой почти настежь. Поэтому было видно, что в коридоре Хачатурова ожидают почему-то два конвоира, вид у которых был какой-то не такой, как у обычных выводных.

Когда едва плетущийся доктор находился еще в двух шагах от порога, надзиратель схватил его за рукава и с силой выдернул в коридор. Там Армена Григорьевича сразу же подхватили под руки дюжие конвойные и потащили, как полицейские тащат пьяного молодца, оказавшего им буйное сопротивление. "На Военную Коллегию", — хмуро определил бывший прокурор.

Берман тоже стал теперь молчаливым и угрюмым. На допросы его почему-то не вызывали, хотя все сроки для этого давно прошли. Михаил Маркович зарос, стал грязен и лохмат, почти как и все остальные здесь. Теперь жара и духота в камере оставались нестерпимыми даже ночью. Днем же пребывание в ней превращалось в настоящую пытку. Несмотря на приближение лета, продолжала греть отопительная батарея.

Утром надзиратель потребовал вещи Хачатурова.

Май в этом году выдался жаркий с самого начала. Для заключенных Внутренней, особенно тех, кто находился в подвальных камерах, это означало жестокие и непрерывно усиливающиеся страдания. Днем приток воздуха в эти камеры почти прекращался. К десяти-одиннадцати часам утра железный лист перед окном накалялся на солнце и становился еще одной печкой в дополнение к проклятой батарее.

То газообразное вещество, которое наполняло теперь камеру, можно было назвать воздухом лишь условно. Спичка в нем горела только до тех пор, пока не выгорала головка, дерево и бумага могли только тлеть.

Даже привычные ко многому дежурные по тюрьме, производя поверку, становились теперь не на порог камеры, как прежде, а поодаль и несколько в стороне от открытой двери. И все же, читая

список арестантов, они морщились от обдававшей их зловонной струи, вырывавшейся из мешка, доотказа набитого людьми. В двадцать второй находилось уже двадцать три человека. Вывезенных заменили новыми арестантами.

Сидя на полу, почти голые люди вытирали рубашками непрерывно струящийся пот. Когда рубашки намокали, их отжимали в миски, поставленные на пол по одной на четыре человека. Пот из наполненных мисок сливали в парашу.

Почти у всех на коже появилась красная зудящая сыпь — потница. Ее вызывала соль, накапливающаяся на поверхности тела по мере испарения кожных выделений. Только раз в сутки, на утренней оправке, удавалось провести по воспаленной коже рукой, смоченной водой под краном в уборной. Однако здешние уборные, по одной на каждый этаж, были рассчитаны на обслуживание одиночек и двоек. Теперь же в эти маленькие камеры набивали до тридцати человек, которых выводили на оправку только всех разом, постоянно понукая и поторапливая. Вечером воду в кранах перекрывали, вечернее умывание — излишняя роскошь.

Разговоры в камерах почти прекратились. Не только произнесенное слово, но и каждый вдох стоил теперь отдельного мучительного усилия. Малейшее, не только физическое, но и нервное, напряжение сопровождалось целой рекой пота. После десяти утра наступало настоящее удушье, когда многим казалось, что уж этого дня пережить не удастся.

Прикосновение горячего, распаренного тела соседа было мучительно и вызывало чувство гадливости и омерзения. Постепенно все в этом человеке становилось ненавистным — его взгляд, голос, дыхание. Люди, ставшие здесь невольными и взаимными мучителями, орудием и предметом пытки одновременно, начинали ненавидеть друг друга животной ненавистью, подобной ненависти посаженных в тесную банку пауков. Однако выразить ее они могли только при помощи слов, да и то в ранние утренние часы, когда еще существовала возможность пользоваться речью. Позже из-за недостатка воздуха речь требовала почти неодолимых усилий.

Почти единственным, кто даже в эти часы общей перебранки постоянно молчал, был Коженко. Он по-прежнему сидел с вытянутыми ногами, один во всей камере одетый в рубашку и брюки. На

лбу и на висках старика выступал пот, однако понять, чувствует он жару или нет, было невозможно. Если бы не эти капли пота, его иногда можно было принять за умершего.

Но однажды, во время особо ядовитой утренней ссоры, этот полумертвец неожиданно поднял руку и внятно сказал:

— Прошу слова!

— Что у вас тут, митинг? — спросил кто-то из недавно поступивших в камеру.

За последние недели ее состав обновился больше чем наполовину. А так как кроме утренней перебранки другого общения между сокамерниками почти уже не было, то никто из новичков не знал о прошлом старого каторжанина. Зато они ненавидели его больше, чем других, так как парализованный занимал много места и усиливал общие мучения от тесноты.

С помощью соседей, опираясь на левую ногу, — он ее еще немного чувствовал, — Коженко поднялся и стоял, прислонясь к стене и потирая рукой нижнюю челюсть. Этой челюстью он делал медленные движения, похожие на жевательные. Ссорящиеся смотрели на него пренебрежительно и зло.

— Товарищи! — сказал старый потемкинец глуховатым голосом и с трудом выговаривая слова. — Как вы себя ведете? Ведь мы тут не уголовники какие-нибудь, а политические заключенные...

— Сталин сказал, что в Советском Союзе не может быть политических преступников, а есть только уголовные! — крикнул от параши один из новеньких.

Это был большой знаток сталинских высказываний и реплик. Совсем еще молодой человек, он давно заметил, что выкрикивание правоверных догм и славословий вождю — ближайший и легчайший путь к карьере. Однако на днях карьера шумливого ортодокса оборвалась. Но своей вере в могущество угоднических и правоверных фраз молодой чинуша-начетчик не изменил и здесь. Даже сидя на параше, он продолжал произносить верноподданнические тирады о непогрешимости НКВД. А здешние разговоры о применении — органами НКВД — насилия при следствии объявил злобными вражескими поклепами.

Он, попавший сюда, конечно же, по недоразумению, советский человек, и слушать-то их не желает. Михайлов сказал как-то, что

такому безнадежному совдураку заткнуть рот по-настоящему может только следовательский кулак. Но того на допрос еще ни разу не вызывали, и он продолжал пыжиться, рассчитывая, видимо, что и здесь о его политическом благонравии станет известно начальству.

— Если вы честный человек, — несколько раз потерев челюсть, сказал Коженко, — то как же вы можете позволить уравнять себя с уголовником...

— Мы не хотим слушать провокационных разговоров! — взвизгнул верноподданный.

Неожиданно резко, как от внезапного укола или удара электрическим током, старик вскинул голову и руку. Однако вместо ответа на оскорбление, нестерпимое для старого солдата революции, он издал звук, похожий на резкий и глубокий вздох. Поднятая рука старика упала, а голова начала тяжело клониться на грудь. И весь он, костистый и тяжелый, стал грузно оседать, скользя по стене широкой, одеревянело прямой спиной.

Через несколько минут потемкинец опять сидел на своем месте с опущенной, как всегда, головой и руками, повисшими вдоль тела. И только когда принесли баланду, оказалось, что протянуть руки за миской Коженко уже не может. Почти не мог он теперь и говорить. Только раз с огромным усилием и как будто пытаясь проглотить что-то, застрявшее в горле, старый матрос немного приподнял голову и невнятно произнес: — Зря мы... И тогда, в пятом... и... — он не закончил фразы и уронил голову на грудь. Спустя некоторое время, уже не пытаясь ее поднять, старик глухо повторил: — Все зря... все... — больше от него никто не слышал уже ни звука.

Фельдшер долго смотрел в кормушку на парализованного, потом куда-то ходил. Вернувшись, приказал вынести его в коридор. Тяжелое тело с трудом пронесли через камеру и положили под стеной за дверью. Затем было слышно, как пришли какие-то люди, подняли больного и понесли его к выходу из коридора. "Лучше бы, наверно, было матросу на царской каторге умереть..." — сказал кто-то из старых арестантов камеры. Эсер Михайлов сидел, прижав ладонь к больному уху и стиснув зубы так сильно, что во впадинах щек дыбилась его седеющая борода. Из-под ладони Лаврентьева, которой он прикрыл глаза, медленно выкатывались слезы. Угрюмо уставился глазами в пол ставший совсем молчаливым Берман.

А Белокриницкого почему-то все не переводили в общую тюрьму. Теперь она ему представлялась раем, чем-то вроде обетованной земли. Про Общую говорили, что в некоторых ее камерах сохранились даже нары. Что валетом там укладываться не обязательно и что можно даже лежать на спине. Ночью из камер там никого не вызывают, а днем выводят гулять в специальные дворики на целых десять, а то и пятнадцать минут!

Сроки для перевода в эту тюрьму прошли уже все. Во Внутренней после подписания двести шестой оставляют только тех, чье дело передано в суд Военной. Берман на вопросы Рафаила Львовича недоуменно пожимал плечами. В скольких бы поломках и искусственно вызванных простоях ни оговорил себя бывший главный инженер, все равно его дело по всем признакам подлежит компетенции Спецколлегии.

Древнюю истину, что человек только тогда постигает ценность простейших — они же ценнейшие — благ жизни, когда их лишается, Рафаил Львович познавал теперь на себе. Он удивлялся, что прежде не замечал упоительности обыкновенного воздуха. Не знал, что этот бесценный дар природы обладает множеством сладостных оттенков. Вспомнился влажный и терпкий воздух ранней весны, крепкий и острый зимний. Даже летний воздух городских улиц, слегка пахнущий пылью и бензином. А на тихой улице, на которой высится этот мертвый дом, он пропитан сейчас запахами жасмина и сирени, цветущих за оградами. От одной мысли, что можно дышать таким воздухом, кружилась голова и счастливо замирало сердце.

Вообще представления о счастье здесь упростились до предела, свелись к изначальным ощущениям и образам и почти уже не были связаны со сложностями современной жизни. Если память будоражили воспоминания о запахах, то только самых простых. Того же воздуха, свежего хлеба, чистого тела, свежевыстиранного белья. Простыми были и воспоминания о цветах и их сочетаниях. Цвета зелени, голубого неба, розового заката...

Все это находилось где-то рядом, совсем близко, но все больше казалось чем-то почти полумифическим, отдаленным в бесконечность пространства и времени. Настоящий, единственно реальный мир — это только мир вот этой тюрьмы с его насилием, тупым страданием, неизбывной скорбью, страхом и злобой.

Наступает жаркое южное лето, и солнце все сильнее накаляет асфальт тюремного двора, стены и железные козырьки перед окнами. Люди в переполненных камерах буквально варятся с утра и до ночи. Тело от потницы горит, как смазанное скипидаром. Рубашки, которыми заключенные вытирают пот, стали тяжелыми и скользкими. Прикосновение этих тряпок омерзительно. Поры забиты грязью и не могут более впитывать в себя выделений кожи.

Недавно в камере было сделано удивительное открытие. Оказалось, что грязь и пот, скопившиеся на теле и одежде до невероятной, почти неправдоподобной степени, обладают и одним положительным свойством — способностью убивать насекомых. Вши исчезли начисто. Все до единой они были убиты выделениями человеческой кожи, оказавшимися в такой концентрации смертельными даже для них.

Однажды в двадцать вторую был втиснут и усажен на обычное место у параши новый болезненно полный арестант, бывший бухгалтер. Его возненавидели сразу и дружно, так как толстяк повысил в камере биологическое давление сильнее, чем это могли бы сделать два человека нормального объема. Почти весь день он сидел с открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, и дышал с каким-то хрипом и свистом. Ночью новый арестант не мог лежать на левом боку — у него было больное сердце — и он внес сильное расстройство в строгий порядок поворотов по комаиде. Особенно в переднем парашном углу. Поэтому, когда толстяк в середине дня начинал особенно закатывать глаза и, держась за сердце, бормотать свое обычное "Воздуху, воздуху...", его никто не жалел.

Но на третий или четвертый день сидения в камере к обычному хрипу толстого арестанта добавилось еще какое-то бульканье. Откинувшись назад и запрокинув к потолку три своих подбородка, он тяжело навалился на сидящего сзади. Тот зло пнул его несколько раз в пухлую спину и, наконец, встал. Толстяк упал навзничь, продолжая хрипеть и хватать ртом воздух.

В передней части камеры все поднялись на ноги и потеснились в стороны, чтобы не заслонять лежащего на полу человека от надзирателя, недоверчиво смотревшего в кормушку. Теперь их много развелось, этих охотников придуриваться, чтобы хоть на пару ми-

нут быть выведенными в коридор или в уборную. Особенно среди таких вот, пузатых...

После ухода Хачатурова врача в камере больше не было, и за пульсом сердечника следил Берман. Тот продолжал лежать с закатившимися под лоб глазами и дышал все так же тяжело, с прежним свистом и бульканьем.

Вдруг что-то напряглось под рыхлой массой жира, и по ней как будто пробежала волна. Толстяк дернулся, царапнул скрюченными пальцами цементный пол, коротко, как будто с облегчением вздохнул и затих. "Все!" — сказал Берман, вставая. Надзиратель, все время не отходивший от оконца, хмуро посмотрел на умершего еще с минуту и открыл дверь: "Выноси!"

Грузное тело вынесли и положили на то же место за дверью, на котором несколько дней назад лежал Коженко. "Вещи его тоже давайте сюда!" — приказал надзиратель.

А к вечеру тот же надзиратель объявил Берману: "Собирайся с вещами!" По-видимому, бывшего прокурора куда-то увозили, так ни разу и не вызвав его на допрос.

— Куда же это вас, Михаил Маркович? — с тоской спрашивал его Белокриницкий.

Многие здесь привыкли к мысли, что Берман должен знать все, даже собственную судьбу. "Боюсь, что в Москву, на Лубянку, — ответил тот, одеваясь с необычной для него нервозностью. — Меня, видимо, выделяют из общего потока. Высокая честь! — он криво усмехнулся. — Желаю вам выбраться отсюда, а мне уж, видно, это никак не удастся..." Бывший прокурор протянул руку Рафаилу Львовичу, может быть, ту самую, которая подписала приказ о его аресте. Но если бы даже Белокриницкий был в этом уверен, то и тогда бы он не питал никакой злобы к Берману. Он знал теперь, что прокурор вовсе не машинист машины беззакония и произвола, а всего лишь ее деталь. И скорее, бутафорская, чем рабочая. Сама же машина взбесилась, шла, казалось, вразнос, как говорят механики о потерявших управление механизмах.

Открылась дверь, за которой стоял сам дежурный по тюрьме. Это подтверждало предположение Бермана, что его забирают на дальний этап. Он показал на дежурного глазами, усмехнулся своей грустно-иронической усмешкой и вышел.

В коридоре прозвонил сигнал отбоя. Еще один день прошел, мучительный, тягучий, как все они теперь. Наступила ночь.

Какой желанной избавительницей была бы она, пусть временной, от тоски, горьких мыслей, физических страданий, если бы несла с собой покой и сон. Даже сейчас, в одиннадцатом часу вечера, дышать в камере было все еще нечем. Где-то там, за этими раскаленными стенами, стоит благодатный майский вечер. А здесь от зуда разъедающей кожу потницы, от чувства омерзения и животной тоски хотелось кричать, выть, бессмысленно куда-то рваться.

На грани нервного срыва находились теперь многие из заключенных Внутренней. Некоторые эту грань переходили. Порядок и тишина тюрьмы все чаще нарушались ее обитателями, доведенными до состояния истерического буйства. Начиналось это обычно с того, что в какой-нибудь из камер кто-то начинал что-то выкрикивать. Сразу же слышался стук кормушки и сердитый окрик надзирателя. Помогало, однако, это редко. Начавшуюся истерику остановить непросто. Тогда в помощь коридорному прибегали какие-то люди, слышался лязг отодвигаемых запоров и взбунтовавшегося арестанта вытаскивали в коридор. Было слышно, как в рот ему запихивают "грушу" — так назывался усовершенствованный кляп, пустотелый резиновый предмет, расширяющийся к переднему концу. Потом нарушителя порядка волокли куда-то, вероятно, в карцер. Однако справиться столь относительно быстро удавалось далеко не со всеми. На днях одного, впавшего в буйство, не могли скрутить очень долго. Видимо, очень сильный человек, он все вырывался и кричал: "За что? За что?"

Несмотря на все мучения и ощущения мерзостности, тревожное подобие сна все-таки наступало. Уже не так остро ощущалось жжение на коже и ноющая во всем теле боль от многочасового сидения в неизменной позе. Правда, скоро она сменится новой болью, уже от неудобного лежания, но пока, по крайней мере, до первого стука кормушки, предстояло короткое забытье. В дальнем конце коридора гулко бухнула дверь, значит, ночные вызовы на допросы уже начались.

— Ста-а-ли-и-ин! — вдруг зычно прокатился по коридору чей-то крик. — Слышишь ли ты меня, Ста-а-лин?..

От выхода в следовательский корпус пробежали три человека.

Вероятно, это были сорвавшийся при вызове на очередной допрос арестованный, его конвоир и коридорный надзиратель. Тюремщики настигли взбунтовавшегося арестанта в тупике коридора, и началась обычная возня с его скручиванием. Но двух человек для этого оказалось совершенно недостаточно, и истерик продолжал кричать неправдоподобно громко. В безмолвной тюрьме этот крик казался преодолевающим все стены и все перекрытия.

— Партию истребляют, Сталин... — со стороны выхода на лестницу послышался топот еще нескольких пар ног: к усмирителям спешила помощь. — Враги народа не в тюрьмах, Сталин!.. Они... — крик перешел в мычание и вдруг снова вырвался хриплым, как звериный рев, воплем, — ...они в энкавэдэ. Ста... — и захлебнулся. Потом грузно протопали люди, тащившие что-то тяжелое. Где-то недалеко лязгнула железная дверь, и все стихло.

Нервно дрожа, люди вслушивались в наступившую тишину. Белокриницкий чувствовал, что и он поддался нервному возбуждению, которое вот-вот могло стать неуправляемым. Так вот как, оказывается, возникает состояние тюремного психоза, о котором ему приходилось читать прежде. Читать не без интереса, но и без намека на мысль, что это может когда-нибудь коснуться и его самого.

— Товарищи, — сказал кто-то из сидевших под передней стеной, — а батарею-то выключили!

Все, кто был ближе, потянулись руками к орудию пытки, в которое был превращен здесь этот безобидный предмет. Верно, радиатор начинал остывать. Наверно, тюремщики поняли, что если все арестованные сойдут с ума, то следователям не с кого будет получать столь необходимые для чего-то их собственноручные признания в несовершенных преступлениях..

Жара в камере заметно спадала. Это было радостное событие, разрядившее атмосферу нервного напряжения. Доведенное до предела, оно часто приводит психику в состояние, подобное неустойчивому равновесию. И в зависимости от направления небольшого толчка извне может наступить либо буйство, либо успокоение.

Рафаил Львович уснул так крепко, как ни разу еще не засыпал здесь. Он не слышал ни щелканья кормушки, ни вызова на "бэ". "Белокриницкий, вас! — тряс его за плечо сосед. — Ишь, угрелся!" Надзиратель сердито смотрел в кормушку. Видимо, он не был приучен вникать в смысл ставших привычными слов: "Собирайся

живей!" И почти сразу же открыл дверь. За ней ожидали не один, а два конвоира. Вот оно что, его поведут сейчас на суд свирепой Коллегии!

Белокриницкий давно уже старался приучить себя к мысли, что его дело назначено к рассмотрению именно этим судом, хотя и не мог понять почему. Берман, правда, высказывал предположение, что дело Рафаила Львовича могли отнести к разряду особо важных в результате обработки, которой подвергаются в энкавэдэ показания арестованных. При этой обработке, целью которой является составление обвинительного заключения, главного документа при передаче дела в суд, муха, как правило, превращалась в слона. Белокриницкий знал, что "слона" в свои показания он уже заложил. Помноженный на усердие составителей обвиниловки, этот слон действительно мог превратиться в целого левиафана. Соответственно суровым может оказаться и приговор, включая полную катушку — двадцать пять лет. Однако не все ли равно? Ведь и такой приговор будет основан на том же вздоре, который обвиняемый подсунул энкавэдэ. И как бы ни трансформировали этот вздор тенденциозные, но недалекие "фанэ квас", и какими грозными ни казались бы они сами, все равно любой их приговор будет сооружением, под которое осужденный ими человек подвел фугас, начиненный мюнхгаузенской белибердой, смехотворной выдумкой.

И все-таки, несмотря на эту психологическую подготовку, сейчас повторялось то же, что происходило при вызове на первый допрос. Разумные рассуждения и выводы почти не умеряли неодолимой нервозности, вызывавшей бестолковость и ненужную торопливость при сборах на выход. Их усиливали еще и нетерпеливые понукания надзирателя, стоявшего на пороге. Снова была нервная дрожь в руках и раздражающая война с веревочками. Немало хлопот доставила рубашка. В жару мокрая и осклизлая от пропитавшей ее грязи, сегодня она подсохла и сделалась жесткой, как лубяная. При напяливании рубашка трещала и больно царапала воспаленную кожу. Хорошо еще, что по чьему-то толковому совету Рафаил Львович перетер о ребра отопительной батареи и оторвал проклятые манжеты. То, что было когда-то крахмальной сорочкой, превратилось теперь в гнусного вида тряпку, по цвету напоминавшую побуревший, давно не чищенный сапог.

Путаясь в своей одежде и наступая на лежащих соседей, Бе-

локриницкий, наконец, кое-как оделся и шагнул к порогу. Конвоиры за дверью схватили его за концы рукавов пиджака и, скручивая их до боли в запястьях, потащили арестованного к выходу так быстро, что он за ними едва поспевал.

В глаза Рафаилу Львовичу, когда его ввели в эту комнату, ударил яркий и резкий свет. Под потолком большой тюремной камеры с двумя зарешеченными окнами горела мощная электрическая лампа, свечей в пятьсот. Белокриницкий плотно зажмурил глаза — прикрыть их рукой было невозможно, так как конвоиры по-прежнему продолжали держать его за рукава. Зачем они держат? И зачем понадобился здесь такой свет, особенно нестерпимый в первые минуты для тех, кто недели и месяцы провел при тусклом свете запыленной лампочки своей камеры? Может быть, он тоже дополнительное средство очередного воздействия на заключенного?

Нервное возбуждение на этот раз прошло довольно быстро. Помогало сознание, что физическое страдание, по крайней мере непосредственно сейчас, ему не угрожает. Обычной зоркости взгляда и трезвости мысли Белокриницкого очень способствовал также короткий, но крепкий сон в камере.

Никакого барьера, за которым обычно сидят подсудимые, и даже знаменитой скамьи тут не было. Конвоиры отвели только Рафаила Львовича немного в сторону от двери, не выпуская его рукавов из своих рук, и почти вплотную приставили к стене. Напротив, в некотором отдалении стоял в камере стол, за которым, сверкая ромбами в петлицах и эмблемами военных юристов, восседали трое. В стороне, за небольшим столиком, сидел и что-то писал четвертый, щеголеватый офицер с небольшими усиками. Кроме этих двух столов и четырех стульев, никакой мебели в помещении не было.

Так вот какая эта грозная Коллегия! Вид у судей был усталый, угрюмый и хмурый. Ничего хорошего от таких ждать, конечно, не приходится. Однако они даже не игроки в игре, которую затеял "фанэ квас" Белокриницкий, а не больше как шахматные фигуры, почти пешки. Инициатива в этой игре и последний решающий ход по-прежнему остаются не за ними, а за их жертвой, отданной на их произвол. Смелость мысли, свойственная Рафаилу Львовичу, никак не сочеталась в нем со смелостью духа. И все-таки ему удалось настроить себя на почти юмористический лад. Вспомнилась на-

родная сказка, герой которой делает отчаянную ставку в карточной игре с нечистой силой, недоброжелательной, но недалекой. Разве не напоминает он сейчас этого персонажа, противопоставляя свою маленькую хитрость непомерно громадной и злой силе НКВД?

Но сколько ни подбадривай себя уверенностью в благополучном исходе задуманной игры, трудно избавиться от ощущения невольной жути, которую навевает обстановка ночного судилища. Мрачная пустая комната в безмолвной юдоли скорби, как называл тюрьмы НКВД один старик-адвокат, угрюмые конвоиры, которые будто боятся, что подсудимый вырвется из их рук и бросится на своих судей. А главное, сами они, эти судьи. Особенно сидящий посередине худощавый старик с бритой головой и узким морщинистым лицом. Оно кажется пугающе жестким и непреклонным. Но, может быть, такое впечатление производят резкие морщины, которые расположены на лице председателя Коллегии почти только вертикально?

Председательствующий поднялся со своего места.

— Подсудимый, назовите вашу фамилию, имя, отчество! — голос главного судьи звучал резко, враждебно и отчужденно.

Белокриницкий назвал.

— Вас судит Военная коллегия Верховного суда СССР. Подтверждаете ли вы показания, данные вами на предварительном следствии?

Да, подсудимый их подтверждает.

Больше никаких вопросов задано не было. Председатель взял со стола отпечатанную на машинке бумагу:

— Зачитывается приговор по делу Белокриницкого Рафаила Львовича...

От бывшего прокурора Белокриницкий знал о Военной коллегии почти все. Судоговорение на ее заседаниях сводится, собственно, к объявлению уже готового приговора. Приговор подготавливается заранее и к заседаниям всех других судов по контрреволюционным делам. Но там хоть изображается судебное следствие. Здесь же даже это считается излишним. Оно и правильно, ломать комедию, так уж поскорей! Непонятно только, для чего вообще нужен этот вызов подсудимого пред лицо грозного судилища? Не-

ужели только для того, чтобы продемонстрировать перед ним его внушительный вид? А председатель продолжал читать приговор своим резким, каким-то жестяным голосом:

— ...рассмотрев дело по обвинению... в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 11 и 7 статьи 58 Уголовного Кодекса...

Конечно же, уважаемые "фанэ квас", подсудимый виновен по этим грозным пунктам грозной статьи. Это ведь он до неузнаваемости изуродовал плавную кривую синусоиды и по злому умыслу озорно раскручивал мощные турбогенераторы, как детские волчки...

— ...на основании данных предварительного и судебного следствия..

Судебное следствие — это, по-видимому, те два вопроса, которые были только что заданы подсудимому. Впрочем, даже они всего лишь дань архаической форме. Если бы эти судьи могли освободиться от своего казенного фарисейства, то этот приговор они должны были бы начать примерно так: "Такой-то, признавшийся на пытке (или под страхом пытки) в совершении преступлений, которые он не совершал, но мог бы совершить в силу своего классового происхождения, приговаривается..." Человек в изжеванной одежде, заросший и грязный, зажатый между двумя вооруженными конвоирами, продолжавшими держать его за руки, смотрел на своих судей почти насмешливо. Хотя именно про него говорилось в приговоре, что этот человек:

— ...состоял в тайной преступной организации, ставившей целью подрыв оборонной мощи Советского Союза средствами экономической контрреволюции. Белокриницкий активно занимался вредительской деятельностью в области производства электрической энергии с помощью особых, им же изобретенных и научно разработанных методов...

Поди ж ты, "научно разработанных"... Лестно..

Михаил Маркович прав. На Коллегию он попал из-за усердия составителей обвинительного заключения.

...позволяющих получить исключительные по своему отрицательному влиянию на народное хозяйство результаты..

Несмотря на усилия сохранить к происходящему внутреннее на-

смешливое отношение, Рафаил Львович чувствовал, что состояние наигранной бравады постепенно уступает место ощущению тяжелого предчувствия и безотчетного страха. Конечно — это гипноз слов тяжелого обвинения, зачитываемого металлическим голосом судьи с лицом инквизитора. Но надо помнить, что этот судья лишь чванный болван, повторяющий бессмыслицу, сочиненную самим подсудимым. Не поддаваться пугающему действию грозных слов, не терять присутствия духа!

— ...на протяжении ряда лет вредительские мероприятия бывшего главного инженера энергетического объединения приводили к недовыполнению государственных заданий рядом отраслей промышленности, в том числе, тяжелой, в масштабе одного из крупнейших индустриальных районов страны...

Здорово же, однако, трасформировали судейские крючкотворцы его дурацкий пилообразный ток! Сам изобретатель этого тока и отдаленно не мог представить себе, что из его изобретения можно сделать так далеко идущие выводы... Внутренняя бравада все еще цеплялась за самоуверенность шахматиста, припасшего напоследок решающий ход. Однако заглушать чувство нарастающей тревоги становилось все труднее.

— ...особый вред действия инженера Белокриницкого причинили предприятиям машиностроительной и оборонной промышленности...

И оборонной! Так вот почему его судит Военная!

"За вредительство в оборонной промышленности, — сказал как-то бывший прокурор, — суд Военной коллегии и почти неизбежный расстрел".

Расстрел! С ужасом, который он испытывал прежде только в кошмарных снах, Рафаил Львович вдруг понял страшную своей простотой возможность вынесения ему смертного приговора. И этот приговор, возможно, уже записан в бумаге, которую читает сейчас председатель суда, знаменитого своей беспощадностью! Исполнение его решений почти неотвратимо, так как они не могут быть обжалованы.

Мысль о возможности быть осужденным на смерть не пришла Белокриницкому в голову ни при обдумывании и написании им своего сочинения, ни даже потом. Только теперь он понял по-на-

стоящему, что, развивая забавную своей абсурдностью идею выдуманного вредительства, он слишком увлекся и переиграл. Проявил непростительное недомыслие, возможно, роковое, не подумав, что техническая нелепость его показаний не может помешать последователям и ученикам Вышинского использовать их как предлог для раздувания на бумаге несовершенных преступлений — уже в экономическом и политическом планах. Когда имеешь дело с убийцами, надо мыслить категориями жизни и смерти, а не заниматься измышлением технических нонсенсов! Но откуда, впрочем, мог знать он об этом прежде?

А, может быть, все-таки все происходящее сейчас только ночной кошмар? И, как всегда, когда ужас сновидения достигает своего предела, наступит пробуждение? Но нет! Слишком часто, особенно в свои первые ночи в тюремной камере, Рафаил Львович вызывал у себя иллюзию, что он видит только тягостный, мучительный сон, который вот-вот сменится радостью реальной жизни. Но такую иллюзию ему удавалось внушать себе все реже, и уже довольно давно он совсем утратил эту способность. И пустая, гулкая комната с высоко прорезанными зарешеченными окнами, и этот чтец приговора, напоминающий мрачные карикатуры Гойи, и охрана, державшая за руки изнемогающего от охватившего его смертельного страха подсудимого, — все это было жестокой, хотя и совершенно неправдоподобной реальностью.

От насмешливого пренебрежения к словам приговора не осталось ничего. Теперь Белокриницкий старался не упустить малейшего смыслового оттенка каждого из них, вслушиваясь даже в интонации, с которыми произносил эти слова председатель суда, и трепеща перед ним.

— ...в частности, в тысяча девятьсот тридцать... году подсудимому удалось вызвать длительный простой важнейшего технологического оборудования завода номер... и сорвать своевременную поставку этим заводом наркомату Обороны танков новейшей конструкции...

Слова уже не просто неприятно дребезжали, как вначале, а гремели, подобно камням горного обвала, несущего неотвратимую гибель. И он, Белокриницкий, сам нагромоздил первые из них на вер-

шине горы. Убийцам из энкавэдэ оставалось только столкнуть его на эти камни.

...на основании вышеизложенного и руководствуясь... статьями... При особо отягчающих вину обстоятельствах, приговорить..

Пружина внутреннего напряжения не выдержала непосильной нагрузки и сломалась. Тело сразу стало пустым и бессильным. Исчезла способность мыслить. Остался только животный ужас перед последними словами приговора, как перед ударом уже занесенного топора. И еще бессильный протест против этих слов, в сущности, уже известных. В обреченном человеке проснулась острая и мучительная жажда жизни, как будто внутри его безвольно обмякшего тела кто-то отчаянно бился и кричал: "Не надо, не надо!"

— ...к высшей мере наказания, расстрелу. — Топор опустился. И уже только как лишний удар для вящей верности: — Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!

— Осужденный, — голос председателя Коллегии доносился слабо и глухо, как через толстый слой ваты. — Вам предоставляется право сделать суду последнее заявление!

Человек, который теперь уже не стоял, а почти висел на руках своих конвоиров, с усилием поднял голову и беззвучно пошевелил губами. К нему подошел секретарь суда, услужливо поднес осужденному папку, на которой лежал небольшой, уже заполненный бланк, и вложил в бессильно повисшую руку обмакнутое перо. Надо было расписаться в объявлении приговора. Человек невидящее посмотрел на бумагу, вялым движением сомнамбулы царапнул на ней что-то вроде длинной запятой и тут же выронил ручку. Секретарь ловко подхватил ее на лету, но досадливо поморщился. Прокатившись по расписке, перо оставило на бумаге широкий неряшливый след.

— Вы можете сделать суду заявление! — уже с интонациями настойчивости и нетерпения повторил председатель. Здесь пренебрегали главным, что относилось к существу правосудия, но тем ревностнее соблюдали те из его форм, которые, особенно в нынешних условиях, ни к чему не обязывали вершителей неправедного суда.

Осужденный опять поднял голову. — Это сам я... сам... фанэ... — он говорил невнятно и глухо.

И секретарь не разобрал странного слова: — Говорите яснее, осужденный!

Но тот только посмотрел куда-то сквозь вылощенного протоколиста своим невидящим взглядом и снова уронил голову. Секретарь недоумевающе пожал плечами и вопросительно взглянул в сторону председателя Коллегии. Однако главный судья был уже занят бумагами очередного дела и равнодушно махнул рукой в сторону двери.

Вытаскивая осужденного в слабо освещенный коридор, один из его конвоиров крикнул:

— Расстрел!

— Расстрел! — как эхо отозвался солдат, стоявший у поворота на лестницу.

— Расстрел... — донеслось откуда-то снизу.

Введение этого ритуала, изобретенного где-то в недрах ведомства Ежова и Вышинского, формально оправдывалось тем, что конвой заранее предупреждал таким способом о степени необходимой бдительности и строгости в обращении с осужденным. В действительности это была просто садистская выдумка, долженствующая подчеркнуть перед приговоренными к смерти суровую неизбежность расправы.

Однако очередной осужденный вряд ли слышал эти возгласы. Конвойные уже не вели его, а волокли, как тащат куль. При спуске по лестнице один ботинок разоблаченного и обезвреженного врага народа дробно постукивал по ступеням, другой, плохо зашнурованный самодельной веревочкой, свалился с ноги, и его нес в свободной руке один из конвойных. Они миновали дверь полуподвального этажа, из которого четверть часа назад вывели этого человека, и потащили его куда-то ниже. Там уже предупредительно лязгали тяжелые засовы на железной двери. Отделение смертников, размещавшееся в подземном коридоре внутренней тюрьмы, было готово принять свое очередное пополнение.

1964

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

Елена Аксельрод

НА РЫНКЕ

Ей в спину кричали: "Бабу́шка, бабу́шка!
Картошку бери! Один шекель картошка!"
Старушка, прикрытая шляпкой макушка,
Зачерпнута жгучей, как день, поварешкой —
С картошкою вместе и перцем пунцовым,
С коврами, ворами, изюмом, клубникой.
Торговцы, торговки плутуют над пловом
На кухне базара разноязыкой.
Увяла, свернулась, как в супе петрушка,
Бабу́шка пугливая, интеллигентка —
Старушка-вострушка, шутиха, Петрушка —
Соломка свалялась, отклеилась лента.

ОКТЯБРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Мише

Перламутровый воздух Коро,
Парк в тщеславье осеннем неистов,
Разукрашен хитро и пестро
Раскаленной палитрой фовистов.

Меж оранжевых листьев шуршат
Кареглазые сытые белки.
Воспарив на каштан, шелушат
Октября золотые поделки.

А в подземке железо черно.
Там каким-то писцом ошалелым
Бесконечной стены полотно
Тьмы поверх размалевано белым.

Чем грозит эта жесткая вязь
В октябре, в мишуре, в пятнах света?
Многоликий поток, раздвоясь,
Нас влечет сквозь пинки турникета.

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ

Закрылась выставка. Художник увозил
Не тронутые взглядами картины.
С досадою холсты свои грузил
Под фонарем на улице пустынной.
Картины втиснув кое-как, плашмя,
В машину сел и сгорбился под ними.
Подумал, сигаретою дымя:
"Зачем писал? Где зритель твой?
Где имя?
Вот баловень судьбы! Что вспоминать
Счастливцев, слишком поздно воскрешенных?"
И спохватился: "Как скомпоновать
Разбросанные домики на склонах?"

Арад, Израиль

Николай Сарафанников

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Тополь тянет ветки к небу,
А по небу — облака.
Большей истины не требуй,
Не найдешь наверняка.

Снуй, носись, где был и не был,
Не откроется пока:
Лучший в мире запах — хлеба,
Вкус — парного молока.

Окоем размыт нелепо,
Путь-дорога неблизка;
И сжимает посох крепко
Сына блудного рука.

Декабрь 1996

ОТКРЫТКА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Когда стартует крах — венец
Благих и злых начал,
Единомыслие сердец —
Важнейший капитал.

Из мги отставленных надежд
Послание летит, —
Слог — лапидарен, чужд сует,
На обороте вид.

Не прорастет в душе пустырь
Позорищем нагим,
Пока есть Смольный монастырь
И облака над ним.

3 октября 1996

ДЕРЕВНЯ

Здоров и сух березы дух,
Шипуч и сыр осинник.
"Пойдешь в сельпо — купи топор
И банку керосину!" —
"А если — нет?" — "Ну, даст сосед".
Соседство много значит!
Июльский быт бывал сердит
И назывался дачей.
Из городов на вечный зов
(О, переезда муки!)
Передохнуть пускались в путь
К могилам предков внуки.
Не устояв ввиду потрав,
Деревня умирала:
Опричь старух — кто слеп, кто глух! —
Крестьянства было мало.
Людской уклад терпел распад;
Заметней год от года
На месте сёл дичало все, —
Взыскала пай природа,
Нам отведя нестись, галдя,
За собственною тенью...
Двадцатый век! Свой шустрый бег
Ты начал из деревни, —
Куда теперь?..

3-4 февраля 1996

Париж

Виктор Урин

РЕКВИЕМ

Памяти поэтов-фронтовиков

1
Кто б Ты ни был — беседую с Тобою,
с Твоей музой седой иль молодою,
о, российский поэт, родная даль.

Далеко-далеко — все то, что близко;
так что мысленно — возле обелиска
побратимов-друзей в последнем трауре
моя радость-печаль.

2
Не хочу отвлекать своими травмами
о судьбе ли обиженной, о том ли,
как стекает (смолистая на комле)
по живому болящая слеза.

Кто обидел кого? И кто виновен?
Кто по спичке — копил и столько бревен
разбросал: за того иль за этого?
"Против" был или "за"?

3
В небе желто-белесо-фиолетово,
и весенние птахи не меня ли
расспросили на Жизненном привале:

— Где поэты-друзья военных лет?
— Мои сверстники в юности убиты,
все почти что ушли... и с Жизнью квиты.

Я зажился, как видно. Но уж скоро-то
мне за ними — вослед.

4
Жизнь сигнальной ракетой распорота
на две разные части: на *что стало*
и что было. А было много-мало?

Летописец, как Пимен, в блиндаже
или в склепе с оградою чугунной,
в поколенье когда-то самый юный,
я годков-то набрал, считай, за семьдесят.
Как? Так быстро? Уже?

5
На неделе семь радостей и семь досад.
Ну а в месяце тридцать вдохновений...

Коль живу, мне, как прежде, май весенний,
май, завещанный теми, кто ушел,
кто на марше солдатам был полезен,
как походный создатель ротных песен.

В котелок ложка каши — сверх! —
как премия.
Но зато — ореол!

6
Ореол стихотворца. Дух парения
в небесах... со строкою, как из ножен.
По-парнасски возвышен был и сложен,
молодой и чуть — признанный поэт.

Вот он:
гневный, как есть, в землянке шаткой,
освещенный замасленной лампадкой,
или чуб вместе с дымом лампы гильзовой,
осеняют портрет

7

в плащ-палатке сырой, в обувке кирзовой,
безотказно, простуженно, бессонно,
уже с опухолью, как у Семена,
от контузии
(пой, поэт, гори!),
как Сергей — весь — из танка — обгоревший,
весь в рубцах...
Как безрукий Дик...
Как леший
из болот ревматических — аж до-смерти —
от зари до зари.

8

С вами это стряслось? Не довелось, поди...
Где ты, трепетный спор литинститутский?
Где Луконин, Самойлов, Яшин, Слуцкий?
А Тушнова?.. и Друнина ушла...
Где же ты, мужество жертвенного жара —
Дудин, Коган, Руденко, Окуджава*?
И ответит, убившая Кульчицкого,
сталинградская мгла.

9

Мир не знал поколения столь чистого
в бескорыстьи с отвагой беспримерной,
но костры, озарившиеся верой,
гасли трудно... ворочая угли...

Мы сломили фашистское насилье!
Так неужто — другое — для России,
для соседей, для дружества славянского
мы, солдаты, несли?

---

* Семен Гудзенко, Сергей Орлов, Иосиф Дик, Мих. Луконин, Давид Самойлов, Александр Яшин, Борис Слуцкий, Вероника Тушнова, Юлия Друнина, Михаил Дудин, Павел Коган, Микола Руденко, Булат Окуджава — поэты фронтового поколения, мои близкие друзья. — *В. У.*

10
Как же быть нам с доверием? Со связками
нитей братских с недобрым перерезом...
И зачем же, мечтая стать железом,
как руда, каждый жертвовал собой,
видя в этом достоинство мужчины?

Но к чему же подобные доктрины
привели? И в какую краайность склонится
неоконченный бой?

11
Спит спокойно ушедший. А бессонница
у живущих стихов! И вечно молод
и различен — от ритмов до рифмовок —
фронтовой, стихотворный арсенал:

Тут я вспомнить хочу, как автор "Лидки",
ну, хотя бы "улыбки" и "улитки",
"сини" в "силе", "негоже ведь" и "ожеледь"
И "солдат" "не солгал".

12
Корневое:
По сути в свою очередь,
корневое — не только в рифмах наших,
корневое — в судьбе поэтов павших,
корневое спецкоров корпусных,
рифмовавших в потерянном блокноте
на переднем... под бомбами... в блокаде..

И заверен был огненною подписью
пропуск их.

13
Этот пропуск в Поэзию, как в пропасть
иль к вершинам. И мы, деды — в ответе.
Спросят дети и — далее — их дети,
мол, куда ж вы пришли после атак?

Ведь пока мы с полей своей державы
изгоняли фашистов — были правы.
Ну, а что там потом (сквозь годы) в заболе?
Разве думалось так?

14
Но в страстях наши души не ограбили
ни ветра в недоверчивом испуге,
ни нацистские (с флангов) нео-вьюги,
ни тайфун, что безумных отхлестал,
ни секира безнравственная в страхе,
находившая всяческие плахи.

Наша молодость — не переиначена,
а кристалл — есть кристалл;

15
тот кристалл — в виде стелы,
там, где складчина
самых светлых имен на обелиске.

Далеко-далеко все то, что близко..

Молодые и старые!
Я жду —
отклик ваш.

... А поэзия-высотка,
и над ней, как знамена братства, соткан
небосвод с облаками, вдаль плывущими
у времен на виду..

Григорий Марк

27 марта 1997

...в глубь неба летят отовсюду
клочки облаков между звезд,
луна в ожидании чуда
набухла бесформенной грудой
и стала похожа на мозг.

Растерянный ангел на крыше,
зажавши ладонями рот,
стоит в лунном свете, как в нише.
Спиною к трубе прислонившись,
он смотрит на небо... и ждет.

Под ним городское болото,
огней воспаленная нить,
квартирок пчелиные соты... —
Там Стих поджидает кого-то,
кто должен его сочинить.

На кухне, набитой телами,
окно, как провал голубой:
мозг в небе и ангел над нами...
Я паузу между словами
привычно держу болтовней —

мы связаны все ожиданьем...

19 февр. 1997

Очнешься в будильничном звоне под утро,
разлепишь глаза и увидишь в колодце
двора твоего тот же дождик сиротский,

представишь весь день до последней минуты...
И от одиночества сердце зайдется.

21 марта 1997

В предыдущие жизни, похоже,
слишком много долгов я наделал...
А отдать их теперь невозможно.

Лишь одно непослушное тело
да щепотка словечек в горсти...
Вот и все, больше нечем платить.

Но ведь взыщется, как ни крути.

12 февр. 1997

В тропическом лесу
духовных инструментов
на ветках шелестят
диезы и бемоли.
Лианами сплелись
ключей скрипичных ленты.
В пустых стволах гудит
звук, рвущийся на волю.

И в самой глубине
под черною листвою,
где небо заросло
от края и до края,
летает дирижер
огромной стрекозою
и крыльями стволы
на ноты рассекает.

Бостон

Иосиф Косинский

* * *

Из ущелья этого хода нет
(бемалал башад, тарчума кунед![**]), —
не узнает Москва о вас ничего:
вы поляжете здесь — все до одного!

Капитан, это мирный ведь был кишлак,
Осенял его аиста белый флаг, —
тарчума кунед: ошьёнаи лайлак...
От него не оставили вы следа.

Говоришь, след остался все же? Ну да —
точно *фарн*[****] древнейший, на камне след,
смутный оттиск... Но — люди? Их больше нет —
наших жен, детей, — и спрошу я с вас.
Говоришь, всего исполнял приказ?
Чей приказ? Тарчума кунед: ки фарман?![*****]

Чей бы ни был — ответишь ты, капитан.

Ты ответишь собственной головой, —
но сперва покажи, кто *убийца твой*.
Не поймешь? Ну, судьба твоя впрямь лиха:

[**] Пожалуйста, переведите (*дари*).

[***] Переведите: гнездо аиста...

[****] Папоротник (*дари*).

[*****] Переведите: чей приказ?!

мы кругом развесим твои потроха,
но не тронем, начальник, твоих солдат,
если выдашь нам того палача,
что ворвался зверем в мой дом и сад,
по всему живому в упор строча,
для детей моих не жалел гранат.

Он пойдет за тобой, этот зверь, вослед:
на земле обоим вам места нет.

Значит, этот? Ну что же, ну, в добрый час...
Остальные, — мы отпускаем вас,
уходите... Но помните: за спиной
вы оставили чуть ли не рай земной,
превращенный вами в кромешный ад
(тарчума кунед, бемалал башад...)

Кто захочет остаться, прибиться к нам, —
что ж, прощать заблудших велит ислам,
я прощаю, а там... пусть взвесит Аллах:
вовсе мирный кишлак... ошьёнаи лайлак...

Ну, а ты... Ну как простить, капитан?
Не *тебе*, а *тобой* тот приказ был дан...
Без тебя солдаты лучше решат, —
тарчума кунед, бемалал башад!..

Февраль 1997

Александр Сибилев

* * *

Что ж ты оставила поле
С запахом трав и цветов?
Что ты нашла в этом доме
В дальней дали от лугов?
Зная, как крайне жестоко
Душу держать взаперти,
Дверь открываю и окна,
И куда хочешь — лети!
И улетев безоглядно
В светлый простор луговой,
Не возвращайся обратно,
Что б ни случилось с тобой.
Есть в этом мире жестоком
Неотвратимость потерь
Там, где закрытые окна,
Там, где закрытая дверь.

* * *

Знать бы им, хребет тогда ломая,
В честь и совесть целясь, как в собак,
Вековые корни вырывая,
Сколь обильный вырастет сорняк.
Что того насилья еще мало.
И летели щепки в вихре лет:
Полетели белые сначала,
А за ними красные вослед.
И покуда ложь в высоком слове

Цепко держит совесть в кабале,
Будет страх, замешанный на крови,
Оказаться лишним на земле.
Черная болотная трясина.
Ни пути, ни храма, ни огней.
Лес порублен волей властелина,
И чернеют пни среди костей.
Где они, заветные вершины,
Что народ мой будто покорил?
Оглянусь, а позади руины,
Осквернение дедовских могил.
Русь моя, куда же ты? Постой-ка!
Не простор, а пропасть впереди.
Вихрем мчится в шорах птица-тройка
С ямщиком, не знающим пути.

* * *

На кладбище Сен-Женевьев тишина,
Где громкие скромно молчат имена,

Где рыцари чести, как в годы беды,
В посмертных колоннах сомкнули ряды.

Сюда не ворвались ни брань палачей,
Ни эхо расстрелов, ни взрывы церквей.

Здесь совесть и доблесть навечно сданы
В сырые архивы свободной страны.

Да будет им пухом чужая земля
На кладбище Сен-Женевьев де Буа.

* * *

Чья-то жизнь, как пуля — на излете.
Нет еды. Есть воздух и трава.
Кто-то сытый в личном самолете
На свои садится острова.

На мальца, который замерзает,
Сытый в шубе смотрит свысока.
Помогите тем, кто угасает,
Вы же накопили на века.

Но с мамоной трудно распроститься,
И искрится терпкое вино.
Бесконечный праздник длится, длится
В люкс-отелях, клубах, казино.

Где-то рвутся бомбы, слышны стоны,
Чьи-то дети мечутся в бреду.
Для чего им, сытым, миллионы?
На места бесплатные в аду.

Кент, Великобритания

Марина Гарбер

Те, которых давно я знала,
Разошлись по своим подвалам,
И наверное, не узнала б,
Появись я опять на свет,
Повстречайся им в переулке,
Где шаги барабанно-гулки,
Где глаза, как в песке окурки, —
Ничего в них родного нет.

В тех, которых я так любила,
Чье дыханье в себе хранила,
Я сгорела или остыла, —
Залатали дождем следы,
Не найти ни одной приметы,
Ни походки, ни слов, ни света
Из души. Разошлись по свету
Наши чувства. Немы, пусты...

Я судьбу на весах качаю.
Я кого-то опять встречаю,
Ничего не меняя, к чаю
Непременно к себе зову.
Но они растворятся снова,
Словно сахар. И в том основа
Неприемлемости чужого,
Ни в прошедшем, ни наяву.

1996

Денвер

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Борис Пастернак

ДЕСЯТЬ ПИСЕМ К КАРЛУ ТЕНСУ

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Карл Тенс (Karl Theens), основатель и куратор музея Фауста в Книтглингене, принадлежит к числу корреспондентов Бориса Пастернака и его заочных друзей последнего периода жизни.

Тенс родился 31 января 1904 года в Кёнигсвинтере на Рейне и до своих пятидесяти лет работал инженером в Симменс-Концерне. Одновременно он занимался Фаустом и свою первую работу о нем напечатал в 1948 году. В 1954 году он основал маленький музей в родном городке исторического Фауста Книтглингене и передал туда свое собрание документов и книг. При музее он издавал библиографические и историко-литературные работы, посвященные изучению Фауста, завязал тесные связи с Гётевским обществом. В 1967 году он основал Фаустовское общество, в котором теперь насчитывается около 300 человек со всего света и которое регулярно публикует свои записки (Faust-blätter). В музее в Книтглингене представлены всевозможные аспекты изучения Фауста. Кроме отдела, посвященного историческому Фаусту и отдельно — легенде о нем, имеются разделы истории кукольных представлений о Докторе Фаусте, отдел Фауста Гёте, текста и иллюстраций к нему, литературы о нем, Фауста в музыке, в театре и кино. К открытию музея была приурочена установка памятника Фаусту в Книтглингене.

Начало переписке с моим отцом положил Карл Тенс, который, узнав о его русском переводе "Фауста", весной 1958 года написал ему с просьбой

прислать фотографию и автограф для музея. Отец был заинтересован сведениями о полуреальной-полумифической истории Фауста и, взволнованный обращением к нему как знаком внимания, рассказывал нам об этом, вернувшись из больницы, где провел несколько месяцев с болями в ноге.

Карл Тенс воспользовался адресом, который он почерпнул из статьи немецкого корреспондента газеты "Die Zeit" Герда Руге, описывавшего свое посещение Пастернака на даче в Переделкине. Адрес был очень прост: "Переделкино, под Москвой, Борису Пастернаку" — без всяких обозначений почтового отделения, улицы и дома, и он оказался достаточно надежен, чтобы по нему пошел поток писем к изголодавшемуся по общению и оторванному на родине от читателей поэту. Он ответил Тенсу почтовой открыткой 11 июня 1958 года.

Это было лето ожидания выхода "Доктора Живаго" во Франции, Англии и Германии, и многочисленные открытки отца, написанные в то время, составляют особый жанр его корреспонденции. Подобно тому, как элементарный дачный адрес оказался надежнее подробного городского, тем же экспериментальным путем отец выяснил, что открытки, написанные на иностранных языках и лишенные его подписи, быстрее и легче преодолевали государственные границы, чем закрытые письма в конвертах. Открытки заполнялись бисерным почерком, часто занимая своим текстом также и половину страницы с адресом, что тоже, видимо, затрудняло перлюстрацию и позволяло обойтись без строгой цензуры. Чтобы не привлекать внимания чужого глаза, отец не давал обратного адреса, не ставил подписи, название романа "Доктор Живаго" и имена упоминавшихся лиц обозначались начальными буквами.

Несомненно, на отношении отца к просьбе Карла Тенса сказалось то особое место, которое занимал "Фауст" Гёте в его душе и литературной биографии. Перевод полного "Фауста" был одной из значительнейших его работ, о которой он мечтал всю жизнь, начиная с 1920-х годов, и осуществить которую ему удалось одновременно с писанием "Доктора Живаго". Одно из предварительных названий романа — "Опыт русского Фауста".

Во время работы над "Фаустом" отец во всей отчетливости увидел, что это произведение "занимает совсем особое место в поэзии не только по силе достигнутого, а по единственности и необычайности действующей в нем и заложенной в него лирической стихии, — как писал он 10 августа 1953 года балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву. — Ее огнем Гёте хотел озарить дальние и недоступные закоулки нашего существования иначе,

чем это делает философия. Он заразил меня этою энергией, я увлекся передачей, главным образом, этой, действующей в трагедии силы. Это ново и в моей деятельности, и в нашей поэзии, этого прежние переводы Фауста не передавали" ("Дружба народов", 1990, № 2, с. 269).

В то время отец во многих письмах сетовал, что ему не позволили сопроводить свой перевод статьей. Так, 28 мая 1959 года он писал Борису Зайцеву: "Я послал Вашей дочери "Фауста". Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим работам предисловия. А может быть, только для этого я переводил Гёте, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом и как (!) всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для... "работы мысли" у нас есть другие специалисты, наше дело подбирать рифмы".

В издании "Фауста" таким "специалистом" был близкий друг отца Н. Н. Вильям-Вильмонт, который в предисловии к книге, как комментировал Борис Зайцев, "предупреждает читателей, что "Бог" у Гёте надо понимать... как-то особенно, чтобы Бог не был Богом..." В примечаниях к этим словам Зайцев давал цитату из предисловия Вильмонта: "Господь и архангелы, Мефистофель и т. п. не более как носители навечно борющихся природных и социальных сил" [Б. Зайцев. Путь (О Пастернаке). Сборник статей, посвященных творчеству Б. Л. Пастернака. München. 1962, с. 171].

На это же жаловался отец и в письме к Е. Д. Орловской 4 января 1954 года: "Я бы мог, например, в предисловии или в комментарии, если бы мне дали написать их (а сколько раз я просил позволить мне написать их, но разве мыслимо мне, лицу не должностному и не обладающему никаким милицейским чином, браться за такие высокоидейные задачи), я бы мог, говорю я, в предисловии или в комментарии постараться разгадать для себя несколько дальше и свободнее то, начало разгадыванья чего дал в переводе, и тем самым и с другими, с читателями, сделал бы несколько шагов вперед в сторону большей ясности темного и трудного произведения и его оправдания" ("Дружба народов", 1990, № 2, с. 270).

Лишенный этой возможности, отец был обрадован тем, что может выразить часть своих мыслей в заметке для Дома-музея исторического Фауста. Чтобы не пробуждать несколько притихшие в то время обвинения со стороны советских официальных лиц в передаче за границу новых материалов, отец задумал сделать это в письме.

Он выполнил это уже через неделю после получения письма из Штуттгарта, 18 июня 1958 года, а 20 июня послал готовый текст в Берлин Ренате Швейцер с просьбой прочесть и, если это ей понравится, —

переслать Карлу Тенсу. Одновременно он написал об этом открытку в Штутгарт. Публикуя письма Пастернака к ней, Р. Швейцер включила текст этой заметки в свою книгу (Renate Schweizer. Freundschaft mit Boris Pasternak. München, 1963). Мы позволили себе перевести ее на русский язык и в хронологическом порядке поместить в публикации переводов писем к Тенсу как самое существенное звено их эпистолярных отношений.

К сожалению, в нашем распоряжении находятся только письма Пастернака, из писем Тенса сохранилось всего две благодарственных открытки от 23 октября 1958 года и 15 сентября 1959.

Карл Тенс познакомил Пастернака со своими работами об истории Фауста. Из письма от 5 августа 1958 года мы узнаем о том, что Пастернак получил брошюры Тенса, посвященные легендарной жизни магистра и мага Иоханнеса Фауста, просмотрел их, и они живо его заинтересовали. Среди книг отца в Переделкине сохранились эти подарки, надписанные ему Тенсом. Это: 1) Karl Theens. Doktor Johannes Faust. 1948. Westkulturverlag Anton Hain-Meisenheim am Glan; 2) Aus dem Leben des Magisters und Magiers Doktor Johannes Faust von Dozent Karl Theens, Stuttgart und Karl Weisert, Knittlingen. 1954. Stadtgemeinde Knittlingen.

Как главный дар музею отец послал свой перевод обеих частей "Фауста", вышедший третьим изданием в 1957 году. Между страницами книги он вложил свою фотографию, сделанную А. Л. Лессом весной 1956 года в Переделкине на даче у окна террасы. На конверте письма от его немецкой приятельницы Ренаты Швейцер мы также нашли карандашную пометку отца, в которой он предполагал попросить Тенса переснять иллюстрацию А. Гончарова на странице 192 (именно туда была вложена его фотография) и послать Р. Швейцер. Такого письма нет в сохранившейся переписке. На этой странице была отпечатана гравюра, изображающая Гретхен у окна, которая казалась отцу очень похожей на Ольгу Всеволодовну Ивинскую. Он хотел дать о ней представление Ренате и чуть позже в письме к Тенсу упоминал о ее героическом участии в умиротворении властей, разгневанных присуждением ему Нобелевской премии.

Надвигавшийся политический скандал отвлек отца от этих предположений. В письме к Тенсу он только слегка касается этой "бури" и ее последствий. На некоторое время переписка отца была блокирована. Предчувствуя эту возможность, отец в письме к Р. Швейцер от 22 октября 1958 года просил ее передать Карлу Тенсу, что получил его сообщение о первой в серии радиопередач по "Доктору Живаго", которую Тенс слушал в обществе жены и дочерей. О последней передаче и своих впечатлениях от романа Тенс писал в сохранившейся открытке 23 октября. Он увидел в нем кровное родство с Евангельским повествованием, "брата великого эпоса святого и несвятого Ecce Homo нашего времени". Он делился с автором

гордостью современничества с ним, счастьем общения и радостью называть его "Ты". Это был день, когда газеты всего мира объявляли о выборе Нобелевского комитета, сделавшего Бориса Пастернака своим лауреатом 1958 года. Но об этом в открытке Тенса нет ни слова.

В последующих письмах Пастернака к Тенсу встречаются жалобы на пропажу корреспонденции. В это время у отца были остановлены все источники заработков — переиздания его переводов, не оплачивали даже работу, недавно сделанную и сданную в срок по договору, — приходилось занимать у знакомых, и отец горько жаловался, что на семидесятом году жизни не может прокормить семью. В получении гонораров из-за границы ему было категорически отказано на официальном уровне.

И как раз в январе 1959 года отец подготовил и послал в Париж поверенной в делах Жаклин де Пруаяр список из семнадцати человек, которым просил перевести денежные подарки, в общей сложности на несколько более чем 100 тысяч долларов из денег за "Доктора Живаго", полученных его издателем Дж. Фельтринелли. В число этих людей входили сестры отца, жившие в Англии, переводчики романа на разные языки и некоторые наиболее преданные его корреспонденты. После многократных оттяжек со стороны Фельтринелли и поторапливаний и вежливых напоминаний со стороны Жаклин де Пруаяр, просьба отца была выполнена и сумма выплачена.

Первые благодарственные извещения и знаки удивления отец получил от Карла Тенса и английского учителя Джона Харриса. Это было в августе 1959 года, остальные подарки задержались еще на полгода. Открытка с видом санатория в Бад Визее, посланная Тенсом 15 сентября 1959 года, содержит известие о том, что он со своей женой Мартой поехал лечить ее на полученные деньги. "Ваша помощь сделала нам возможным пройти это лечение без лишений", — писал он. На открытке пометка отца: "Не надо отвечать" — так среди кучи получаемых в то время писем он обозначал те, которые не требовали его непременного ответа.

Желая как-нибудь отблагодарить моего отца за этот подарок и сделать ему что-нибудь приятное со своей стороны, Карл Тенс послал ему немецкий перевод сорока стихотворений Рабиндраната Тагора — по тем временам — библиографическую ценность (Rabindranath Tagore. Vierzehn Gedichte. Berlin, 1920. Karl Schnabel Verlag). Книга сохранилась в кабинете отца в Переделкине, на ней дарственная надпись: "Meinem grossen Freund Boris Pasternak in dankbaren Verehrung zugeignet im November des Jahres 1959. Immer Ihr Karl Theens" ("Великому другу Борису Пастернаку с благодарным почтением в ноябре 1959 года. Всегда Ваш Карл Тенс").

В последних письмах Пастернака к Тенсу слышатся отголоски грустных мыслей по поводу переживаемых событий, а радость широкого со-

чувствия, идущего от разных людей со всех стран мира, окрашена все возрастающим сожалением о том, что, отвечая на эту волну писем, он теряет ускользающее время и не может в полную силу отдаться своей новой работе — пьесе "Слепая красавица". Замысел этой драмы об искусстве, находящемся в рабских условиях русского крепостного права, интересовал уже разных писателей, издателей и театральных режиссеров. Этим чувствам посвящено последнее из дошедших до нас писем, от 6 февраля 1960 года.

К сожалению, надеждам не суждено было сбыться. Преодолевая нарастающие боли в спине, отец еще два месяца работал над пьесой, практически не отвечая на письма, но потом вынужден был лечь в постель и после месяца тяжелых страданий скончался от рака левого легкого 30 мая 1960 года.

Восемь писем из десяти, предлагаемых в этой публикации, находятся в собрании Константина Гинзбурга, копии еще двух предоставлены нам дочерью Карла Тенса — госпожой Хезен. Мы выражаем глубокую благодарность им обоим, а также госпоже Хайке Темесбергер, которая взяла на себя труд разыскать эти письма и соединить с нами их владельцев, что дало возможность подготовить настоящую публикацию.

Нами выполнен перевод с немецкого записки о Фаусте, присланной Карлу Тенсу, и двух писем, предоставленных дочерью Тенса Урсулой Хезен; мы позволили себе также поправить перевод остальных писем, чтобы несколько приблизить его к стилю, который характеризует русские письма Пастернака.

Евгений Пастернак

11 июня 1958 г.

Многоуважаемый господин Тенс,

не считайте, пожалуйста, недостаточным уважением к Вам, что я в ответ на Ваш дружеский привет ограничиваюсь неподписанной открыткой, а не закрытым письмом. Это делается для того, чтобы Вы вероятнее получили мой ответ. Для меня было новостью, что доктор Фауст — историческая реальность с точным, объективно

обозначенным местом рождения. Из Вашего письма я не понял, есть ли у Вас в собрании издание моего перевода на русский "Фауста" Гёте, что было бы самым важным для Вас. Пожалуйста, дайте мне знать, как обстоит с этим дело, если же в Вашем собрании нет этой книги, я достану для Вас экземпляр. Кроме того, я охотно выполню другие Ваши просьбы, пришлю свою фотографию и образец почерка. Последнее, то есть автограф, я напишу по-немецки от руки и наполню размышлениями о Гёте и своими взглядами на Фауста в такой форме, чтобы Вам было удобно выставить этот документ. Естественно, что у меня есть много что сказать о поэтическом мире Фауста, как у человека, который совершил попытку представить подвижное здание трагедии с начала до конца в стремительности ее первоосновы. Мое самое сокровенное желание выразить это как можно более точно, и я обещаю это выполнить, если только у меня освободится немного времени, а главное, если найду возможность и воспользуюсь случаем, чтобы наверняка передать это приложение в Ваши руки. Через два месяца или, может быть, даже раньше я надеюсь иметь возможность вернуться к этой своей душевной потребности. Я благодарю Вас за Ваши приветы и отвечаю Вам тем же.

20 июня 1958 г.

Многоуважаемый господин Тенс,

я хочу в ближайшие дни послать Вам через Красный Крест издание русского "Фауста". Между страницей 192 и следующей я вложил свою фотографию. Дайте мне, пожалуйста, знать, не повредило ли вложение пересылке и благополучно ли получили Вы и то, и другое. В качестве автографа я написал для Вас три страницы о поэтическом мире "Фауста". Если одна моя берлинская приятельница, на суд которой я хочу сначала представить написанное, найдет мое сочинение удовлетворительным, может быть, она будет так добра, что перешлет Вам эти страницы. В противном случае, дело останется незавершенным до будущего времени, когда я снова смогу все передать с ней. Излишне говорить, что написанное предназначено только для Вас в единственном экземпляре и переходит полностью в Ваше распоряжение. Вопреки моему желанию у меня

никогда не было возможности открыто написать у нас о Фаусте Гёте, и все мои представления о нем оказались неиспользованными. В ожидании новых известий от Вас желаю Вам всего хорошего.

В дом-музей Фауста в Книттлингене

"Фауст" Гёте — это чудодейственная драма о чудотворстве. О творческом, о деятельном начале исторического существования. О чуде творения, которое перерастает границы пространства, образует содержание столетий, разрушает его и возрождает вновь, которое погружает природу в поэзию, предсказывает и обеспечивает будущее, будучи его причиной.

Драма утверждает, что трагизм и чудо личного участия принадлежат к широчайшим проявлениям человеческого рода. То, что человек выступает здесь как волшебник и заклинатель духов, подчеркивает, что стержнем трагедии является крупная, значительная личность, которую в силу ее успешной плодотворной деятельности нужно оценивать как чудесное, удивительное и не укладывающееся в привычные рамки явление. Драма утверждает святость и бессмертие гениальности и действенность этого порыва и подвига.

Из всех чудес, которые Фауст со своим спутником совершает и показывает как чернокнижник при дворе императора, самое высокое — это язык трагедии, чудо ее текста.

Что означает жизнеспособность Шекспира, Гёте, греческих авторов и немногих других? Может быть, это лишь похвальная дань уважения к былым заслугам, которую мы великодушно платим, несмотря на их устарелость и непригодность? Или это тайна их длящегося воздействия, которое, обгоняя времена и поколения, настигает нас, несмотря на наше противодействие, и покоряет нас, преодолевая нашу лень?

Бурный, стремительный слог трагедии производит впечатление, будто все это сказано только что и до невероятности современно. Всем своим существом участвуешь в явлении живой поэзии на полном ее ходу.

Одухотворение обиходной речи, с одной стороны, с другой — материализация, которая создается и достигается с помощью обра-

зов, аллитерационной связью, афористичностью, движением, звучностью, ритмом и рифмой, уже и без прямого сценического воплощения само по себе является редкостным зрелищем, совершенным спектаклем. В особенности следует сказать это о рифмовке Фауста, которая, далеко обогнав потребности своего времени, почти доходит до Рильке и создает новые сюжетные, динамические, строящие речь эффекты, в прошлом веке неизвестные.

Переводчики уже давно должны были бы понять, что чем выше поэтическая зрелость переводимого оригинала, тем большую роль в его содержании приобретает способность побеждать, его покоряющая сила. Перевести содержание произведения верно и соответственно форме, но не повторив или не воспроизведя эту основу его воздействия, — все равно что ничего не сделать. Я перевел первую часть трагедии в течение осенних и зимних месяцев 1949 года. После трехгодичного перерыва, в течение которого я написал начало моего романа в прозе "Доктор Живаго", я снова взялся за перевод "Фауста" и закончил вторую часть в 1952 году[1]. Всего эта работа заняла 15 месяцев: 6 месяцев — первая часть, 9 месяцев — вторая.

Переделкино под Москвой *Борис Пастернак*
18 июня 1958

1) Эти 15 месяцев работы над переводом "Фауста" датируются августом-февралем 1948-1949 (первая часть) и ноябрем-августом 1950-1951 (вторая), не считая последующей стилистической правки, сначала в машинописи и затем в корректуре, сильно изменившей первоначальный текст.

25 июля 1958 г.

Дорогой, многоуважаемый господин Тенс,

огромное спасибо Вам за Вашу фотографию, за вырезки из газет, которые я наклеил на титульные листы моего русского Фауста, за оба Ваших письма. Я благодарю Вас также за Вашу работу над Фаустом, которую Вы ведете и при получении которой я освобожу время, чтобы с живейшим интересом ее прочесть. Одна-

ко, что до перевода Вашего текста и его издания, я ничем не могу Вас обнадежить — в особенности это касается Ваших представлений о моей помощи и полезности в этом вопросе, — и это не только потому, что у меня нет времени. Вы недостаточно представляете себе частности моей жизни, природу моей здешней скованности, и я не в состоянии это объяснить, да и не нужно, — кое-что со временем Вы узнаете сами. — Ит<альянского> издателя мне не пришлось искать. Случаю было угодно, чтобы моя рукопись, которая на родине в настоящее время не может быть издана, попала к нему и в течение зимних месяцев этого года выдержала одиннадцать изданий. Таким же образом издали в Париже французскую книгу. Осенью она должна выйти у С. Фишера во Франкфурте. Закажите книгу для себя (может быть, издательство пошлет ее Вам в подарок (?)). Тогда сядьте в тишине и за несколько дней прочтите свыше 700 страниц сильной исторической прозы. До тех пор Вы ничего не сможете обо мне узнать, разве только буквы моего имени. Эта книга — моя главная работа, смысл и оправдание моего существования, в ней Вы найдете и сможете понять мои истинные мысли и чувства, желания и стремления. А теперь нижайшая просьба к Вам. Сообщите, пожалуйста, профессору Федору Степуну (München 13, Prof. Fedor Stepun, Ainmillerstr. 30) тот адрес, которым Вы пользуетесь сами в своих письмах ко мне[1)], и примите мои самые горячие пожелания счастья и благополучия. И удачи Вам во всех Ваших начинаниях.

1) Федор Августович Степун (1884-1965) — русский философ и писатель, с которым мой отец был знаком с 1910-х годов, когда посещал его философский кружок, организованный при символистском издательстве "Мусагет", в 1922 году был выслан из России. В мае 1958 года отец послал ему через П. П. Сувчинского свой перевод "Фауста", потом 30 мая и 10 июня 1958 года писал ему ("Русский альманах". Париж. 1981). Последнее письмо он написал уже тяжело больной за три недели до смерти 6 мая 1960 года. ("Быть знаменитым некрасиво". Пастернаковские чтения. М., 1992) в благодарность за его немецкую статью "Boris Leonidowitsch Pasternak", напечатанную в "Die Neue Rundschau" (1959, Jg. 70). Рукопись статьи Степуна сохранилась в бумагах Карла Тенса.

5 августа 1958 г.

Многоуважаемый господин Тенс, милый и добрый,

позвольте мне крепко пожать Вам руки. Все Ваши брошюры счастливо прибыли позавчера — 3-го августа. Большое, большое спасибо. Вы их так скромно обозначили в письмах, что их объем и мгновенность прихода застигли меня врасплох и ошеломили. Перелистывая и просматривая все в целом, перескакивая с одного на другое и местами углубляясь в чтение, я уже с первого взгляда понял живое богатство и широту охвата (историческое, Ваша оценка мировоззрения Гёте — стр. 13 и следующие — диаграмму системы Шпенглера—Валери), объединение и смешение основополагающего и самостоятельно понятого, свободно вырывающегося из рамок сковывающего материала, чтобы понять, оценить и взвесить. Благодарите свое мастерство, которое так стеснило Ваше исследование и возможности, что не давало Вам застревать и расплываться ни в этой волнующей чаще, ни среди горных высот. Нет, эта связующая сила мысли не может зависеть от условностей времени. Должно быть, Вы одарены от природы теми качествами, которые мне так дороги и близки. В Вашей фотографии в профиль с портретом Фауста в руке — для меня — работа Вашей души, снимок Вашего сердца. Я предчувствую, что время сведет нас еще ближе. И хотя я прочел уже почти все присланное Вами, я прочту это еще раз снова более спокойно и обстоятельно. Вы не можете себе представить, как мне не хватает времени. Причин тоже много, и они разнообразны и сложны, раздражающие и даже опасные — полная неразбериха. — Рената Ш<вейцер> чрезвычайно хвалила Ваше письмо к ней и назвала его очаровательным. — Мне не терпится, чтобы Вам удалось прочесть моего "Д<октора> Ж<иваго>". Не могли бы Вы обратиться с письмом в издательство, справиться о предположительных сроках его появления и написать мне об их ответе. Сам я напрямую этого сделать не могу и мне это запрещено.

3 ноября 1958

Дорогой друг,

то, что я в своих открытках обращаюсь к Вам на "Вы", ни в

коем случае не значит, что я хочу в каком-то смысле отстраниться от Вас или держать Вас на расстоянии. Для меня (*с моей стороны*) обращение на "ты" к Вам было бы в нашем случае неестественным и (*по-моему!!*) напряженно театральным. Это Вам должно быть известно от Р. Ш<вейцер>, когда капля чувства, окрашивающая переписку, меняет все[1].

Как высоко, однако, я ценю Вашу дружбу, Вам могут подсказать слова, которые я написал Ренате, что у меня такое чувство, будто немецкое издание "Д<октора> Ж<иваго>" выходит для нее и для Вас, все же остальные могут только воспользоваться предоставленным случаем.

Вы, вероятно, уже прослышали каким-нибудь образом, что мне пришлось выдержать на прошедшей неделе. Буря еще не прошла. Пусть нам будет утешением, что мы (не в общепринятом, а значительно более широком смысле) служим высочайшему вдохновению, точнее, всегда с радостью и благодарностью готовы быть его смиренным орудием.

Напишите Р<енате>, пусть она не сердится на мое возможное временное молчание. Вероятно, те фотографии, которые появились после Н<обелевской> п<премии>, иллюстрируют описания незначительных сторон моей жизни, бессмысленные, неудачные и полные вранья. Рената, верно, догадалась, кто взял на себя главную смертельно изнурительную и героически спасательную часть всего выстраданного — она знает имя этой женщины[2]. Рената также присутствовала в моем сердце — скажите ей это. Она была тоже рядом. Возобновите свои напечатанные на машинке закрытые письма и пишите мне, как раньше.

1) В письме от 12 июля 1958 года Пастернак просил Ренату Швейцер подождать с переходом на "напрашивающееся Ты" и остаться на Вы (Renate Schweizer. Freundschaft mit Boris Pasternak. München, 1963).

2) Пастернак имеет в виду Ольгу Всеволодовну Ивинскую.

6 февраля 1959 г.

Дорогой друг,

простите, что живую радость, которую Вы мне доставили своим богатым и щедрым письмом с Драйкенигштрассе, я убил такой долгой отсрочкой, верно, Вас огорчившей. Но какой действительной, сильной радостью было для меня Ваше письмо! Потребность ответить Вам (так же, как написать одному школьному учителю в Англию и одной итальянской знакомой[1]) я вынужден был все время откладывать. Но справиться с необходимостью написать множество писем и с великой важностью обсуждать в них запутанные вопросы я мог лишь отчасти, в то время, как обещал себе, закончив с этим, вознаградить себя за сделанное разговором с Вами. Я заранее это предвосхищаю. Но все так скопилось. Мне предстоит еще необозримое количество дел.

Я верю, что Вы не исчерпали свою меру интереса ко мне. Меня глубоко трогает, что некоторыми сторонами пережитого мною, прочувствованного и передуманного я побывал у Вас дома, что этой зимней ночью несколько мгновений находился в физической близости от Вас, был душою с Вами в то время, когда Вы это читали.

14 февраля 1959 г.

И снова задержка более, чем на неделю. О как бесчеловечен, тяжел и непреодолим разрыв между тем, каков я и что я хочу, и тем, что мне позволяют в действительности мое нынешнее положение и реальные обстоятельства. Постоянная, все время ко мне обращенная и подстерегающая меня западня, избегнуть которой я в конце концов не смогу.

Здесь ничего нет из того, что я предполагал Вам сказать. Потому что это отодвинуло бы письмо снова в бесконечность. Если мне будет дано увидеть свои простейшие желания осуществленными, а не вечно выворачиваемыми наизнанку, Вы скоро узнаете, как мне дороги Вы, Ваше благополучие и благополучие Вашей семьи[2].

<Приписка, относящаяся, вероятно, к этому письму>

Пожалуйста, напишите Ренате, что ряд моих писем к ней и все написанные в декабре, очевидно, пропали. Кроме того, я давно о ней ничего не слышал и объясняю это затруднениями в связи с переменой квартиры и ее переездом, отчасти же знакомыми мне капризами почты.

Итак, простите меня. Я заканчиваю в печали, причина которой скрыта для меня неясным и темным предчувствием.

И я почти вижу: Вы будете долго, счастливо и успешно жить, Вы так способны к этому: Вы так заслуживаете этого своей живой и великодушной скромностью.

1) Шесть писем Пастернака к Джону Харрису (сентябрь 1958 —февраль 1960) опубликованы в Scottish Slavonic Review. Autumn 1984, No. 3. Glasgow. Итальянская знакомая — вероятно, Селена Маррубини Бонелли (получила четыре письма от Пастернака: июль 1958—ноябрь 1959).

2) Имеется в виду посланный Пастернаком Фельтринелли список денежных подарков, в числе адресатов которого назван Карл Тенс.

25 апреля 1959 г.

Мой милый, бедный друг, что с Вами?

Я нахожу ответ на Вашей открытке: Вы страдаете ревматическими болями и находитесь в лечебном заведении. Были ли мы с Вами уже знакомы, когда год тому назад я лежал несколько месяцев в больнице, вторично после годового интервала, с рецидивом осложнившихся болей в ноге? Теперь благодаря своему опыту, спешу напомнить Вам то, что каждый знает и всякий раз забывает.

Будущее, особенно ближайшее, завтрашний день, нам всегда неизвестно и непредставимо. И наше утешение и спасение в том, что наша новая жизнь всегда стережет нас у дверей и неожиданно нас настигает. Но особенно, пока человек болен, непредставимо выздоровленье, как он вылечивается и становится здоровым — это непостижимая загадка. И все-таки, как часто мы испытываем это поразительное чудо!

Возможно, Вы не можете спать. Я всегда в больницах страдал бессонницами, то есть месяцами каждую ночь я прибегал к снотворному, и удивительно: никакие ссоры, неудачи, потери или угрызения совести никогда в жизни не действовали на меня так удру-

чающе, как пробуждения после искусственного сна с сознанием глубочайшего самоуничижения, допущенной душевной трусости и своего ничтожества. И это тоже изменилось, я спал без этого ежедневного двойного мученья.

Я чувствую себя вполне хорошо. И тучи кажутся немножко светлее. Можно надеяться, что в отношении меня кое-что, вероятно, переменится. Большая часть моих писем (а также, вероятно, письма ко мне) пропадает. Уже давно у меня нет известий от Р. Ш<вейцер>. Еще больше меня огорчает молчание госпожи Элизабет фон дер Шуленбург, Bonn — Endenich, Burggraben 18, ни прямых, ни косвенных ответов на мои письма не было, кажется, с начала года.

Я тешу себя надеждой, что это письмо найдет Вас уже совсем здоровым.

14 августа 1959 г.

Дорогой друг,

вчера я был вне себя от счастья, узнав из Вашего письма, что мои намерения, наконец, осуществились. Это задумывалось уже почти год назад, и заслуга госпожи Пр<уаяр>, что вопреки всем препятствиям это осуществлено[1].

Итак, путешествуйте куда угодно, но только в том направлении, о котором Вы упомянули в письме, нас с Вами ждет горькое разочарование из-за невозможности увидеться[2]. Извлеките отсюда также и другие выводы о моем нелепом и грустном, но в конце концов здоровом, работоспособном и все-таки в узком смысле независимом и праведном существовании.

Как я рад, что по крайней мере в этом деле что-то удалось привести в порядок, и кое-что уже получилось!

Желаю Вам душевной радости.

Ваш Б. Пастернак

1) Речь идет о получении денежного подарка от Пастернака.

2) В письме Тенс предполагал, что приедет в Москву, но после вызова Пастернака на допрос к генеральному прокурору Р. А. Руденко (14 марта 1959) он вынужден был отказаться от встреч с иностранцами.

25 ноября 1959 г.

Дорогой господин Тенс,

для меня было огромным облегчением узнать, что наконец-то выполнено мое прошлогоднее решение. Я еще не поздравил Вас и Ваших новобрачных. Ваша дочь, такая милая, прелестная, как, впрочем, и ее молодой муж.

Вы должны полностью стряхнуть с плеч груз благодарности. Ничего не произошло, в наших отношениях ничего не изменилось. Иначе может возникнуть опасность искусственной натянутости, что было бы очень жалко.

Вы никоим образом не должны одаривать меня в ответ. Пожалуйста, ничего не посылайте мне. Вы грабите свою библиотеку, лишаясь книги, которая в нее входит и которая принадлежит Вашему прошлому, вызывает живые воспоминания, тогда как для меня имя Джантура — новое, его рисунки не приводят меня в восторг, а мир Тагора существует для меня только с оговорками[1]. Пожалуйста, ничего не посылайте мне, успокойтесь.

Я долго не буду Вам и некоторым другим давать о себе знать, возможно, до лета. Не обижайтесь, пожалуйста, на это.

Ваш Б. Пастернак

1) Карл Тенс послал Пастернаку книгу: Rabindranath Tagore. Vierzehn Gedichte. Berlin, 1920. Karl Schnabel Verlag.

9 февраля 1960 г.

Милый, милый мой Тенс,

я благодарю Вас и обнимаю. Прошло всего два или три года, как я лежал в больнице, радовался Вашему письму и имел возможность по-человечески и обстоятельно ответить Вам, ощутимо и признательно пойти навстречу Вашим чувствам. А теперь я вспоминаю об этом так, как будто это было Бог знает как давно, так сказать, в первой половине жизни, накануне вечности. Настолько счастливые события последних двух лет все отодвинули вдаль и все перекрыли. Ничто не изменилось в наших дружеских отношениях,

лишь только то, что я стою у порога новой работы или, вернее сказать, — нового замысла, осуществить который почти невозможно, перед лицом этой ежедневной волнующей благосклонности — этого сладкого расточительно-развращающего искушения переписки. Представьте себе, дорогой друг, что в то время, когда в самом конце жизни у меня снова пробудилась возможность сказать нечто значительное, обжигающее душу, и потребность эта так неотвязна и сильна, что давно настала необходимость это сделать, — вместо этого, как Вы видите, я вынужденно занимаюсь праздным и тоскливым словоблудием.

Итак, как сказано, я обнимаю Вас.

Лучшие пожелания и доказательства преданности всем Вашим, близким и любимым.

Ваш Б. Пастернак

Публикация и примечания Е. Пастернака,
Москва

РОМАН ГУЛЬ

“РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ”,
“РОССИЯ В АМЕРИКЕ”

($ 15.00 и $ 18.50 плюс пересылка)

Заказы посылать в редакцию
“Нового Журнала”

Эрих Голлербах

РАЗЪЕДИНЕННОЕ

Моему мальчику[1]

В детстве есть такие минуты, в которых мы более, чем в другие минуты, готовы к принятию сильных и глубоких впечатлений.

Конст. Леонтьев

И тихо помню сквозь сумерки детства,
Что я когда-то прекрасное встретил.

Ал. Блок

Цветущие и радужные были
Младенческих первоначальных лет[1]

Ф. Тютчев

Для любимых мною берегу я малые вещи: великие принадлежат всем.

Рабиндранат Тагор[2]

РАННЕЕ УТРО

Что-то теплое и яркое щекочет мне веки. Открываю глаза и жмурюсь: солнечные лучи щедро льются в окно, в палисаднике чирикают воробьи, копошатся в боярышнике, в жасмине. Подымаюсь на локте, смотрю: бонна еще спит, посвистывая носом, рот приоткрыт, лицо у нее во сне строгое и глупое.

Через кабинет, через спальню и гостиную тихо пробираюсь на цыпочках в столовую. В спальне полумрак, опущены шторы, на кушетке белеет блузка, в комнате веет сном, пудрой, "Muguet de mai"[3] — любимыми духами матери[4]. Звучно и неспешно тикают стенные

часы и тихо, торопливо подтикивают настольные. За клетчатой ширмой спит мать, слышно ровное ее дыхание.

В столовой встречает меня Неро, приветливо виляет хвостом, прыгает, лижет руки. Отец[5] спрашивает:

— Ты что это поднялся ни свет ни заря?

— И свет, и заря, и спать мне больше не хочется!..

Покончив с чаепитием, надеваю шапку, пальтишко, бегу в сад[6].

В саду еще прохладно и сыро, длинные тени от деревьев лежат на дорожках, на траве, на крокетной площадке. Ночью шел дождь, вся листва обрызгана каплями, в мокрой траве прыгают лягушки, жирные дождевые черви отвратительно корчатся на песке, стягивая и растягивая кольчатые свои тела, — осторожно обхожу их, боюсь наступить. Сад проснулся и живет радостной утренней жизнью. На кусте шиповника белая бабочка расправляет крылышки. Галка взлетает над черемухой и грузно садится на крышу сарая. Из курятника доносится заглушенное пение петуха, трепыханье сонных кур.

Как я любил мой сад, каким он мне казался огромным и таинственным! Я знал каждое дерево, каждый куст, я и сейчас в точности помню планировку дорожек, шесть берез вдоль забора, два клена над беседкой, одинокую ель в углу сада, кусты сирени в другом углу, яблоню, склонившую ветви на крышу флигеля, дуб, простерший свои лапы над качалкой...

Легко и сладко дышится ранним утром, прозрачен воздух, не слышно человеческих голосов. Ранним утром так удобно считать себя хозяином всего, единственным владельцем этого сада. Пользуясь утренней беспризорностью, можно сбегать в конюшню, поздороваться с Маруськой и Вороном, можно слазить на чердак, влезть на забор и мало ли какие еще проделать шгуки. А как приятно потом, вернувшись домой и услышав приглашение на очередную скучнейшую прогулку с бонной, ответить:"Ich habe schon spariert, ich binn müde"[7], и тебя оставят в покое, пожурив только за самовольную отлучку...

Вот слышна грустная трель пастушьей дудки — скорее бежать за калитку, не пропустить коров! С трудом отперев тяжелую глухую калитку, сажусь на приступку, гляжу во все глаза: вниз по Леонтьевской медленно шествует стадо, за ним ковыляет хромой пастух,

мальчишка хлопает плетью. Впереди стада рыжая корова — добрый знак, будет погожий день.

Проходит стадо, и снова на улице пусто, безлюдно. Соседская собака, рыжая с белым хвостом, бочком выбежала из подворотни, деловито обнюхала тумбу, задрала ногу и побежала дальше по своим делам. Мимо Гостиного двора[8] прошли три дворцовых городовых в серо-голубых шинелях, важно неся выпяченные сытые животы. Не спеша шествуют они на дежурство ко дворцу, переговариваются вполголоса, сладко зевают, поглаживают белой перчаткой молодецкие усы.

Не спросить ли их, будет ли завтра парад по случаю Троицына дня? Нет, страшно. Как заговорить с такими? Вон, у них и револьверы в кобурах, и шашки. Да они со мной и разговаривать не станут, с мальчишкой.

Не удрать ли в парк? Соблазнительно, но опасно: такие дальние отлучки мне раз навсегда запрещены.

Постепенно улица оживает: вот шагает на рынок денщик с мешком для провизии, горничная перебегает ему дорогу, широко улыбается, краснеет; вот шаркает по панели старик почтальон, а посреди улицы выступает, с корзиной на голове, разносчик, выкликая свое "крэндляй выборски, англи-иски хлэбэц!" Он останавливается против меня в нерешительности, топчется на месте, спрашивает: "Не прикажете?" Я страшно польщен и сконфужен вниманием бородатого дяди: торопливо встаю с приступки, кланяюсь вежливо, говорю дрожащим голосом: "Благодарю вас, кажется, не надо". Разносчик отходит, слегка приплясывая на ходу под тяжестью своей ноши, а я еще долго гляжу ему вслед и волнуюсь гордым сознанием, что я уже не так мал, если ко мне обращаются "по делу" и, видно, считают, что у меня есть *свои* деньги.

Появляется дворник, кривоногий Пантелей, с метлой и совком. Увидев меня, приветливо скалит зубы:

— Вы что же, баринок, в такую рань вставши, нешто это дело? Поди, дома вас ищут — не доищутся!

Мы вступаем в обстоятельный разговор о том незабвенном времени, когда Пантелей был в гусарах.

— Эх, и конь у меня был — огонь, а не лошадь... — вспоминает Пантелей.

— Лучше нашей Маруськи?

— Что Маруська — Маруська супротив него таракан, а не лошадь.

— Ну, уж оставь, Пантелей, — вступаюсь я за Маруську, — она тоже может быстро скакать. Если захочет, конечно.

— То-то, если захочет. А только росту в ней нет настоящего, да и сложение не военное. А мой Орел, бывало, взовьется — еле удержишь...

— А ты был на войне, Пантелей?

— Как не бывать, — (Пантелей любил импровизации), — и с турками сражался, и с этими, как их...

— С какими этими?

— Забыл я, как прозывается ихнее племя — черные такие, до чего страшные да злые, не приведи Бог.

— А ведь ты не старый, когда же ты был на войне? — соображаю я, шевеля в памяти рассказы о какой-то давнишней войне.

— Что ж, что не старый — кому ж воевать, как не молодым?

На этом обычно кончался рассказ Пантелея, и, энергично сплюнув, отставной гусар брался за метлу.

Все выше подымается солнце, все короче и бледнее становятся тени. Издалека доносится рожок горниста. Бабушкина Мавра выпустила на двор кур — закудахтали куры, петух захлопал крыльями, решил было взлететь, но раздумал, стоит потряхивает гребнем, смотрит на солнце круглым глазком. Прокатил в сторону вокзала пустой извозчик, в Гостином дворе застучали засовы — открывают лавки. Из пожарного депо вышел брандмайор — кормить голубей — и сразу вся панель покрылась словно большущей офицерской шинелью — отовсюду слетелись голуби, заворковали, зашелестели.

Еще выше солнце, еще короче тени. Уже везут извозчики с первого поезда заночевавших в Питере кутил, покачивается в коляске сонный кирасир, за ним трясутся двое штатских, один без шляпы, у другого расстегнут жилет. Маленький чиновник торопится на станцию, прижимает к груди портфель, делает ручкой проезжающим знакомцам. Прислуга генерала Мердера прогуливает огромного дога. Спешит на занятия тонкий, прямой, как жердь, гимназист, за ним вдогонку бежит другой, в ранце у него громыхают книжки: "Гумилев, подожди, куда ты гонишься?"[9] Тот поворачивает свою

узкую, на длинной шее, голову, щурит раскосые светлые глаза: "Pardon, я вовсе не спешу, но и опаздывать не желаю..." Он смотрит на другую сторону улицы, где стрекочут смешливые гимназистки, стекаясь к подъезду Мариинки, где, взявшись за руки, поджидают кого-то чернокосые хохлушки — сестры Горенко, Инна и Анна[10]. Младшая, Анна, худенькая девочка с крутым и резким профилем, — гордость подруг и домашних, она пишет стихи, об этом знает весь мир, и неудивительно, что гимназисты при виде ее замедляют шаг, шепчутся и пощипывают проблематические усы.

Увы, мне еще нескоро носить форменную фуражку и пальто с блестящими пуговицами, у меня нет даже длинных брюк, я ношу противные чулки, как девчонка, и не смею без спроса ходить по городу. Об этом мне так явственно напоминает трезвый голос горничной Дуни: "Вот он где — а его ищут по всему дому! Ступай скорее, баловник!"

БУНТ

Кто из нас может точно вспомнить, когда именно совершился в его жизни знаменательный переход от "бесполого" платьица к "мужским" штанишкам? Но штанишки эти — темно-синие с белыми костяными пуговицами — забыть никак невозможно. Вот так же, как эти пуговицы — белые, холодные и непослушные, запомнились мне (и сколько раз повторялись потом!) минуты — холодные: белые и непослушные, — когда весь мир странно пустел, опустошался. Нельзя сказать, чтобы он совсем исчезал или выцветал начисто, но как-то вдруг испарялась вся его *суть*, он превращался в *подобие* чего-то, не оставалось в нем никакой жизни и никакой прелести.

Бывало так: ясный летний день, в лазурном небе смеется солнце, пичуги весело перекликаются — все хорошо и благополучно. И вдруг — все как-то опрокидывается. Вернее, все *на месте*, но сразу *меняется* изнутри. *Никакого ни в чем смысла*. Ну, дом, ну, забор, ну, панель, над ними небо и солнце — но для *чего*, какая в этом радость, кому это нужно? Мне — не нужно совсем, напротив — отвратительно и скучно. И я реву и начинаю волочить ноги, будто мне трудно идти. Бонна тащит, я упираюсь. Она злится, дает мне шлепок

пониже спины. Я ногой ударяю ее в тощую щиколотку — это, наверное, больно. "Ach, du böser Knabe!"[11] — взвизгивает немка, лицо ее розовеет, она дает мне еще шлепок и снова тащит вперед. Собрав все силы, я вырываюсь, бегу на середину улицы, сажусь на землю и начинаю орать уже во всю мочь пятилетних легких.

Иногда рождалось во мне яростное отвращение к домашнему уюту. Нельзя сказать, чтобы я его не любил, — напротив, я очень внюхивался и втягивался в него, особенно зимой, зимними вечерами, когда весело потрескивали дрова, за темнеющим окном падали крупные хлопья снега, мелодично били часы, швейная машинка мягко стучала в соседней комнате. Бонна приносила скучнейший геркулес (отец при этом спрашивал всегда одно и то же: "Почему же Herr Kules, а не Frau Kules?"), куриную котлетку, стакан молока. Часто мне неудержимо хотелось все это бросить на пол, пырнуть бонну вилкой и удрать от преследований в сад — там можно спрятаться в беседку, под стол или просто зарыться в сугроб снега и, может быть, замерзнуть...

Мне становилось жалко себя, забытого, заброшенного, в холодном саду... Падают белые хлопья, покрывают меня саваном...

От жалости к себе я начинаю реветь. Меня ведут спать, и тогда особенно противным становится мне весь домашний быт, коврик у постели, подушки, одеяло. Бонна, хорошая и добрая немка, сразу становится в моих глазах ведьмой, и я придумываю множество способов вывести ее из терпения: нарочно комкаю одеяло и зову ее поправлять; колочу ботинком по ночной урне; упорно не отвечаю на вопросы или начинаю яростно свистеть, как соловей-разбойник. "Ach, lieber Gott, was ist das fur ein Kind!.."[12] Однажды во время ужина подошел к столу брат и попросил у меня кусочек котлеты, я протянул ему на вилке и, когда он приготовился взять ее в рот, воткнул ему вилку в нёбо, так что у него пошла кровь. Меня бранили, называли злым, мерзким мальчишкой. Мне сразу же стало мучительно жаль брата и, главное, было непонятно, зачем я это сделал. В основе лежало отвращение к тому же быту, к необходимости видеть все одних и тех же людей.

"*Нужно* идти гулять". "*Нужно* принять лекарство". "*Нужно* шаркнуть ножкой". И самое несносное, неизбывное — "*Нужно*

слушаться". Кому это нужно? "Мне *не нужно*". "Мне не хочется". Вечное чувство протеста. Попытки бунта. Но "бунт" всегда укрощался, иногда — преощутительно... "Сладу нет с этим ребенком!.." И оставалась горечь обиды. Оставалось — глубокое недоумение.

ВРЕМЕНА ГОДА

На створках дверей, ведших из гостиной в кабинет отца, были четыре квадратных vitraux[13]. "Времена года": толстенькие, румяные и курчавые амуры красовались на фоне весеннего, летнего, осеннего и зимнего пейзажей. Я любил смотреть на эти vitraux вечером, когда в гостиной свет, а в кабинете темно (или наоборот), — тогда они просвечивали мягким сиянием, и амуры казались почти живыми: вот-вот взмахнут крылышками и упорхнут. "Зимних" амуров мне было жаль: земля покрыта снегом, на ветвях иней, а они, бедняги, голенькие, кутаются в какой-то платок, зябнут.

Благодаря этим vitraux я очень рано (вероятно, лет двух-трех) научился делить год на четыре как бы одинаковых квадрата: Весна, Лето, Осень, Зима. И в раннем детстве, когда еще не было никаких "знаний", навеянных книжками или учителями, "времена года" стали моим первым "уроком естествознания". Vitraux с амурами были, собственно, только схемой времен года. Саму же природу, ее многообразные видоизменения и таинственные голоса познавал я в саду и парке.

Сад был большой (а тогда казался огромным), и в нем больше всего любил я два дерева: яблоню, что нависала над крышей старого флигеля, и дуб, стоявший шатром над длинной скамейкой-качалкой.

С наступлением первых теплых дней, сменив ватное пальто на синюю куртку с "морскими" пуговицами (украшенными якорями), я отправлялся в сад — "дышать весной": упоительно пахла земля, еще влажная от недавно растаявшего снега, покрытая прошлогодними листьями, рыхлая и мягкая. Там, где вдавливались в нее мои калошки, сейчас же проступали грязные лужицы. Согретое весенним солнцем хорошо пахло полусгнившее дерево старой беседки. И качалка, если прижаться к ней щекой, была теплой от солнца, пахла грибами и сыростью, тихо поскрипывала.

Приходила поломойка Марьюшка и мыла пол в беседке, потом сгребала в саду прошлогодние листья, устраивала дымные костры. Сладостно пах этот белый дымок, обозначавший для меня начало весны, освобождение из комнатного плена. Приходил дворник Пантелей, подметал дорожки, посыпал их песком, приколачивал полотно к столбикам беседки. Наконец, на гимнастические столбы привешивались качели, трапеция, кольца. Это уже окончательно обозначало, что летний сезон вступает в свои права.

Через неделю-другую буйно зацветали черемуха и яблоня, потом сирень развешивала на солнце свои белые и лиловые гроздья, залетали в кусты шиповника и жасмина мохнатые шмели и пчелы, вылезали откуда-то ленивые зеленые гусеницы, и начинался у меня ритуальный разговор с "божьими коровками": "Божья коровка, полети на небо" и т. д. К середине лета вся зелень в саду становилась гуще и темнее; гурьба приезжавших из города гостей играла на площадке в крокет, "старики" усаживались в беседке за зеленый стол "винтить" и "проигрывали, и отписывали мелом"[14]. Часов в девять садились за ужин. Хлопали пробки, звякали вилки и ножи, стучала посуда. Дородные тетушки[15] садились в ряд на качалку, сложив руки на роскошных животах, качалка трещала, гнулась, едва выдерживая огромный груз[15]. Темные дорожки сада освещались в эти дни разноцветными бумажными фонариками. Когда совсем темнело, с треском и свистом взвивались в небо ракеты, распуская на синем бархате золотые свои хвосты, фыркала огненная "мельница", освещая мертвенным зеленоватым светом кусты, газоны, забор.

После фейерверка меня немедленно посылали спать, я артачился, уверял, что сна у меня нет ни в одном глазу. От этих ужинов я уносил с собой впечатление громкого, многоголосого хора со взрывами сытого смеха, запах духов, сигар, сладкий вкус мороженого. Все это укладывалось не то в сознании, не то в желудке каким-то тяжелым комком, а сверху, из темноты, на сонные веки как будто еще сыпались искры фейерверка, кружилась огненная мельница, и красный бенгальский огонь озарял последние, уже дремотные видения.

Осень приносила новые радости: лимонными, оранжевыми, багровыми красками загорались панорамы парка. Огневая листва

струила медовые и винные запахи, отцветали розы, гелиотроп, левкой на поблекших куртинах. С легким, чуть слышным стуком падали на землю желуди, потрескивали сухие сучья.

В парке полюбились мне больше всего места, не прославленные ни одним живописцем, но почему-то особенно милые. Вокруг них роились какие-то воспоминания, какие именно, о чем — я не знал, но казались мне прекрасными и грустными эти невыразимые воспоминания.

Мне нравилась дубовая аллея вдоль Вигголовского канала. Может быть, и даже наверное, ее нередко посещал лицеист Пушкин, потому что она примыкает к Розовому полю, месту лицейских игр. В часы заката, когда зеркальная гладь канала отражает розовые, объятые пожаром облака и последние, косые лучи солнца золотят листву, — спокойные, важные тени ложатся от старых дубов на песок и на поляну. Их не теснят, не загораживают другие деревья: прямые и строгие ряды дубов окружены простором, каждое дерево дышит широко и вольно. Осенью они не наряжаются в крикливые уборы, не развешивают ярко-желтые и красные флажки, как другие деревья, а покрываются тусклой, темной, пыльной позолотой, точно сгорают на медленном огне. Не канареечная желтизна и не сарафанный кумач сопровождают умирание дубов, а благородные тона старой бронзы, табачные оттенки, мутно-рыжий цвет львиной гривы.

И еще другое место в осеннем парке полюбилось мне особенно: там, на перекрестке аллей, недалеко от Эрмитажа, белеет мраморное тело безносой Расе, статуи мира. Хорошо и грустно смотреть на ее поруганную наготу, не понимая, кто она и зачем она. Итальянское "Расе" читал я по-русски, как "расе", — не "Рассея" ли мерещилась мне в непонятном этом слове? Рассеянно смотрела эта "расе" на рассеянные ветром листья, я смотрел на нее, смотрел в незрячие ее глаза и грустил. Как странно и волнительно было мне впоследствии читать признание поэта:

Не знаю почему — богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье...
Люблю обиду в ней, ее ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос...

О, дайте вечность мне — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам...[16]

Старый мрамор и опавшая листва — кажется, нет на свете ничего прекраснее старого мрамора и опавшей листвы! Над ними простираются, словно благословляя их, узловатые, жилистые лапы вековых лип. В тусклом, рассеянном свете осеннего дня особенно четки коричневые, лиловые, оливковые складки морщинистой коры, особенно бархатисты зеленые лишаи, покрывающие вздутые мускулы гигантских рук, подъятых к серому безответному небу.

На смену прощальным приветам осени приходят первые заморозки; тонкий прозрачный ледок покрывает пруды и каналы; пустынными, заброшенными кажутся обнаженные аллеи; сухой резкий ветер качает черные сетки ветвей, стынущих в бледной, холодной лазури. И вот наступают, наконец, непривычно белые дни, когда зима укутывает зябнущий парк в горностай, расстилает пушистый покров по всем дорогам, полянам, прудам, и сразу становится тише, светлее, спокойнее.

В первые годы жизни *зима* — это значило: посиневшие в сумерках окна, разукрашенные дремучей серебряной чащей, сказочными деревьями, а за окнами — сугробы пушистого, сахарно-белого снега и среброзвездная крупа, тихо слетающая с неба; в комнатах — изменчивые причудливые тени, шаткие и тягучие, уползающие куда-то в угол, подальше от спокойно-ласкового света лампы (на лампе этой были две бронзовые греческие головки, причастные, как мне казалось, к светоносному горению).

Зима, зима — царскосельская, белоснежная, пушистая зима, какая-то особенно свежая и вкусная, ослепительно чистая... Как только выпадал большой снег и устанавливались морозы, в саду строили гору, поливали водой площадки и дорожки — устраивали каток. Хорошо было ухать в бездну с ледяного ската, с разбегу зарываться в сугроб, кувырком лететь с опрокинувшихся санок...

Уже с начала декабря наступало сладостное ожидание благословенных рождественских дней, волнительное предвкушение "елки". И вот приходило долгожданное Рождество с загадочными приготовлениями, с неопределенными разговорами о том, что, мол, не

все мальчики заслуживают елки ("Будет или не будет?..") и, наконец, с ослепительным сиянием слезоточивых свечек на мохнатых лапах темнохвойной елки, увешанной восхитительной "всякой всячиной". И еще — огромный мешок, начиненный превосходными вещами, одна другой милее: тут и ружье, и сабля, и санки, и книжки с картинками, и музыкальный ящик, и заводной паровоз, и что-то еще, всего не вспомнить, не перечислить...

Зимние прогулки в парк — в старый парк, весь убеленный снегом. Солнце, мороз. Весело хрустит под ногами снег. Справа и слева высокие сугробы искрятся мелкими алмазами; следы птичьих лап голубым узором лежат на снегу; и голубые ленты лыжных следов тянутся по снежному покрову. От кустов и деревьев тени гуще, лиловее. Чудесный запах снега!.. Неизвестно, на что он похож, но нет бодрее его и свежее. На катке трубит военный оркестр, плавно катятся по льду благовоспитанные барышни, причудливые кренделя выкручивают лихие гимназисты, фатоватые правоведы катят в деревянных креслах укутанных в меха и заиндевевших мамаш. Около раздевалки и в ней самой — толчея, оживление, смех. Здесь "волнуются" начинающие; испытанные конькобежцы толкуют о своих спортивных делах; разрумянившаяся детвора повизгивает, хохочет. Пахнет дымом, мехом, на полу — лужи растаявшего снега, в печке тлеют дрова, мокрые, чадные, горят и не сгорают. В дымном воздухе проплывет порою струя тончайших духов, мелькнет белый платок, из муфты упадет перчатка.

Вот братья Восйковы[17], бравые пажи, стройные красавцы, предлагают мне покататься в кресле, и польщенный вниманием столь блестящих юношей, не пренебрегающих обществом малыша, взбираюсь я на высокое кресло, и они возят меня по ледяному зеркалу круг за кругом, пока фрейлен Фрида, у которой синеет замерзающий на ветру носик, не скажет умоляюще: "Erich, es genügt, wir müssen nach Hause"[18].

Если дни стояли не очень холодные, вместо обычных прогулок устраивались поездки в парк на упрямой нашей Маруське, имевшей привычку ни с того ни с сего останавливаться посреди дороги. Остановится — и стоит, как вкопанная, сколько ей вздумается. Иногда заказывали у берейтора Цинца "карликовую" тройку: маленькие пони впрягались в малюсенькие сани, Цинц устраивался на санях

боком, я рядом с ним, и шустрые пони, позвякивая бубенцами, несли нас по снежным улицам на зависть местной детворе...

Был у этого Цинца прелестный ослик, на котором летом ездил я верхом. Однажды в день моего рождения пришел он меня поздравлять: в прихожей раздался звонок, открыли дверь и на пороге увидели ослика. Весь занесенный снегом, скользя копытами по полу, проследовал он в гостиную и по знаку своего хозяина опустился на колени перед счастливо изумленным "новорожденным", к мордочке осла была привязана пренарядная чайная чашка, которую принес он мне в подарок. Ни раньше, ни позже поздравления двуногих друзей не доставляли мне такой радости, как этот неожиданный визит четвероногого друга.

После раннего ужина — перелистыванье книг в гостиной на диване: сказки Андерсена, братьев Гримм, Библия с рисунками Доре или, чаще всего, любимый Буш[19]. На улице метель, вьюга стучится в оконные стекла, жутко воет в трубе ветер, а здесь — уютно, тепло, бестревожно. Сеттер Неро развалился на ковре и дремлет, о чем-то вздыхая в полусне. Мать наигрывает мелодии Шумана или Шуберта, свечи мигают желтыми язычками пламени, озаряя ноты и клавиши. Я смотрю на мамины милые руки, такие знакомые, теплые и добрые, смотрю, как бегают по клавишам тонкие мамины пальцы, музыка баюкает меня, свечи сияют и подмигивают, глаза слипаются... Все тише, все глуше стеклянный рокот музыки... Сейчас он похож на мурлыканье музыкальной шкатулки, когда ее крышка закрыта. Очень я любил эту шкатулку с блестящим колючим валиком, который всегда одинаково прилежно отщелкивал арию Кармен.

"Es ist schon spät, schlafen, schlafen"[20], — слышу я сквозь дремоту, точно откуда-то из-под воды, жиденький голосок бдительной Фриды.

ЛЕОНАРДО

Над кроватью моей (навсегда запомнилась мне непристойно-младенческая сетка, в плену которой пробыл я первые пять лет

своей жизни, — сетка эта была полосатая, бело-голубая, белые шнурки чередовались с голубыми) — над кроватью моей висела репродукция с леонардовой "Тайной Вечери". По вечерам, укладываясь спать, и утром, просыпаясь, я смотрел на нее — изо дня в день — "воспитывался" на Леонардо. "Amen, dico vobis, quia unus vestrum Me traditurus est..."[21]

Со страхом смотрел я на предателя, сжимающего в руке мешок с серебренниками, и спешил перевести взгляд на скорбного, задумчивого Христа и благостного, женственного Иоанна; я так свыкся с этими образами, что долго не мог представить себе Христа иначе, как в красной тунике, с аграфом на груди и в синей мантии, перекинутой через левое плечо, а Иоанна в зеленой тунике и красном плаще. Иуда внушал мне не один страх, но и жалость: так явно было его одиночество, его отрешенность от всего окружающего, что я был как-то "немножко на его стороне"... Помню, сходство всех апостолов друг с другом меня смущало (мог ли я знать тогда, что все они повторяют в разных вариантах образ самого Леонардо?). Меня волновал молчаливый "разговор" апостольских *рук*: Леонардо открыл мне, как многозначительны и красноречивы могут быть *руки*. И до сих пор мне кажется, что самое главное и самое пленительное в "Тайной Вечере" — откровение рук. Помню еще, что в смутном голубоватом пейзаже, видном через окно трапезной, мне предстала вся Италия — именно *Италия*, не Палестина. И как-то сладко было повторять название миланской церкви — *Санта Мария делле Грацие*, словно в немногих словах этих звучала музыка далекой Италии, музыка итальянского пейзажа.

Леонардо стал в каком-то смысле моим "учителем". В минуты, когда душа горела болью и обидой, когда было тревожно, горько, мучительно, — я смотрел на "Тайную Вечерю" (обходя взглядом Иуду), смотрел туда, в прорез тройного окна, в прохладный сумрак уходящего дня, смотрел на отлогие горы, окутанные сиреневой дымкой, упивался тишиной, не чувствуя смятения апостолов, а только ощущая спокойствие и благолепие летнего вечера.

Со временем хромолитография с "Тайной Вечери" была перенесена в другую комнату, а потом и вовсе куда-то сгинула, и только через много лет, желая оживить перед собой и по-новому почувствовать знакомые образы, я приобрел огромную гравюру Рафаэля

Моргена, воспроизводящую великий, многострадальный, столь потерпевший от вандализма и реставрации памятник Ренессанса[22].

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ

Из окна детской, выходившего в палисадник, где куст жасмина струил густой и приторный аромат, я видел, как Галя выбегала на улицу — постоять у ворот, "себя показать и на людей поглядеть". Ей было лет пять, у нее была смуглая кожа, каштановые локоны, носила она белые платьица с красной вышивкой. Была она дочерью маленького толстого полковника, который целыми днями спал, очевидно, пользуясь тем, что он в отставке. Увидев Галю, я спешил выйти за ворота и слонялся перед палисадником с рассеянным и независимым видом.

Странно: вот с кузиной Мэри можно было заговорить о чем угодно, о проходящем стаде коров, о том, какая корова идет впереди — рыжая или черная, из чего ясно, какая будет завтра погода. Заговорить с Галей я не смел: слишком была она хороша, строга и неприступна, именно неприступна, в противоречии с возрастом.

Но сердце (еще не сердце, а сердчишко — такое, как у воробья, у щенка, у кролика) — сердце мое билось неистово, изнеможительно, буйно. Первая влюбленность, первая стрела Эрота, первое томление — без надежды на взаимность, невыразимая преданность, готовность любить без ответа, до гробовой доски: доску эту я представлял себе в виде тяжеленной плиты из белого мрамора, покрытой кое-где пятнами изумрудно-бархатного моха. Лет через десять вспомнил я о Гале, читая "Гранатовый браслет" Куприна: повеяло чем-то насквозь знакомым. Браслета у меня не было, но я пытался однажды подарить ей пушку, прекрасную, блестящую жестяную пушку, у которой, правда, было сломано одно колесо, но из которой можно было отлично стрелять. Подошел я к ней и, покраснев, как рак, молча протянул пушку.

— Девочки не играют в пушки, — услышал я тоненький голосок и увидел немножко обиженное лицо. Она даже заложила ручонки за спину в знак решительного отказа.

Подавленный, опозоренный, потрясенный, вернулся я в свою

комнату и полчаса ревел, уткнувшись в подушку, не желая никому объяснить причину своего горя.

Было мне четыре года.

Год спустя снова ранил меня крылатый стрелец, и еще больнее.

Весной в нашем саду стала появляться бледная высокая девушка на костылях. Приехала она из какой-то санатории, звали ее Настя. Она была некрасива, но прелестна, вроде той девушки, которую любил изображать Вермеер Дельфтский. При первой встрече она заговорила со мной просто, весело и ласково, мы скоро подружились, гуляли вместе в саду. Ее костыли при каждом шаге поскрипывали, наводя на меня страх перед чем-то огромным и мучительным, что называется болезнью.

— У бедняжки костный туберкулез, — говорили про нее взрослые. Термин был мне непонятен, но по созвучию я представлял себе чахлую туберозу, пораженную каким-то гадким паразитом.

Настя интересовалась такими вещами, которыми не интересовался никто из моих домашних, — например, хочу ли я стать моряком, люблю ли я играть в разбойники, не хочется ли мне иметь велосипед. Это очень располагало меня к ней. Но главное ее обаяние было в том, что она — почти взрослая девушка, а говорит со мной, как с равным. Чувство нежной благодарности накапливалось во мне, как электричество в лейденской банке, и требовало разряда. Однажды в саду влез я на стол и объявил Насте, что мне нужно сказать ей на ухо "секрет". А когда она подошла ко мне, я бросился к ней на шею и поцеловал в улыбчивые губы. Поцелуй скользнул на лету, не задержавшись ни на секунду, потому что в тот же миг случилось нечто ужасное: своим порывом, скорее даже прыжком, я опрокинул Настю, она упала спиной на скамейку, костыли грохнулись в разные стороны.

С того дня не видел я Настю недели две. Через две недели она уже не *пришла* в сад — ее привезли. В плоской длинной тележке на мягких рессорах лежала она, улыбаясь все той же слабой, бледной, насмешливой улыбкой. Ни словом не обмолвилась о моей выходке, заговорив как ни в чем не бывало о том, что сирень уже отцвела и дни стали короче.

"Что с Настей?" — спрашивал я в тревоге и недоумении у домашних. "Ей совсем плохо, ее *положили в гипс*", — ответили мне.

Не знаю, может быть, падение и ушиб были тут ни при чем — болезнь шла своим чередом, но мне казалось, что солнце померкло, все кончено. Это — *я, я* виноват в том, что Настю "положили в гипс". Это "положили в гипс" звучало для меня как "зарыли в могилу". Милую, добрую Настю живой закопали в могилу!.. Долго я не находил себе места, боялся выйти в сад, встретиться с ней, по ночам не мог спать, пронизанный сознанием своей вины, греховности, преступности. И когда кузен Жорж, бородатый студент-лесник, гостивший у нас летом, напевал любимую свою арию из "Князя Игоря": "Ни сна, ни отдыха измученной душе", — я обливался холодным потом.

Настю я больше не видел — вскоре ее увезли в Петербург.

ГЕРМАНИЯ В ОДНОМ ТОМЕ

С портрета кисти Ленбаха смотрят молодые, зоркие, умные глаза великого юмориста; небрежно разметаны над высоким лбом пышные, но уже редеющие волосы. Такие же мягкие усы и борода; узкая "артистическая" рука с окурком сигары меж длинных пальцев.

Буша я узнал и полюбил очень рано. Еще не умея читать, я упивался его веселыми рисунками, а на седьмом году жизни, начав читать по-немецки, выучил наизусть множество отрывков из его юморесок. Сколько радости доставляла мне эта большая, толстая (она казалась мне огромной) книга в коленкоровом переплете шоколадного цвета. В ней все было ясно, просто, "как на ладони", — и удивительно уютно. "Die fromme Helene" и ее проказы, история Plisch'a и Plum'a, похождения милого толстяка Tobias'a Knopp'a, восхитительная Tobsiade, горькая участь вдохновенного Balduin'a Bahlamm'a, повесть об озорном Klecksel'е и прочие вирши Буша радовали меня без конца: сколько раз мне читали их вслух, сколько раз читал я их сам!..

Может быть, это плохо, что Германию Буша я узнал раньше, чем Германию Шиллера и Гёте, раньше, чем увидел рисунки Рихтера и Ходовецкого: Буш показал мне Германию в кривом зеркале и надолго утвердил во мне ироническое отношение к нем-

цам. Но его талантливые и острые рисунки уяснили мне, как ловко и метко способен художник вскрыть сущность явлений, как выразительны при этом простые средства — росчерк пера, штриховка, пятна туши. Буш внушил мне уважение к рисунку.

Игрушечный палисадник, куртина с розами, прогулка на закате, кофе с булкой, трубка и ночной колпак — мещанская идиллия, сытый мирок филистерского благополучия и неуклюжих шалостей — мирок, в котором торжествует здравый смысл, наказывается порок, осмеивается всякое дерзание и осуждается чудачество, — такой увидел я тебя, милая Германия, на утре своих дней.

В Буше я чувствовал большую независимость взглядов, неисчерпаемый задор — он едко осмеивал и романтического поэта, и благочестивого патера — казалось, ему все нипочем, ничего он не боится. Недаром покачивала головой и вздыхала одна из моих степенных теток, находя, что "Буш — совсем не для детей".

У меня осталось на всю жизнь чувство признательности Бушу за то, что он показал мне, как много смешного кроется в иных почтенных и строгих людях. Он осветил ярким фонариком своего таланта все уголки благопристойного быта и научил меня "*вольнодумству*".

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

Волнение. Слезы. Непонятное волнение и сладкие слезы. Стираю их украдкой рукавом белой черкески.

Мне шестой год. Я присутствую при торжественном открытии памятника ему[23].

Сад, примыкающий к Лицею, наводнен царскосельской публикой: шляпы, зонтики, каски, фуражки, канотье, страусовые перья плавают на поверхности живой лавины. Тесно, жарко, душно, и, если бы бонна не держала меня на руках, меня затискали бы в толпе или, по меньшей мере, отдавили бы ноги. Ноги свои я ненавижу в этот день, ибо они обуты в банальнейшие желтые ботинки, а на мне белая черкеска и белая же папаха, на животе болтается великолепный кавказский кинжал — все это до такой степени несовместимо с жалкими детскими "ботинками"! (Эх, сапоги бы надо,

красные, сафьяновые... Но дома отвечали: "Ничего, хорош и в ботинках".)

Солнце палит все сильнее, и я уже раскаиваюсь, что настоял на черкеске, папаху пришлось снять, я мну ее в руках, мне как-то не по себе и я начинаю подозревать, что прав насмешник брат, утверждающий, что на "немецком мальчишке" этот воинственный костюм — "как на корове седло".

В центре сада возвышается какое-то загадочное громоздкое сооружение, покрытое брезентом. И все с любопытством глядят на него, точно ожидая, что оттуда кто-то выскочит. Толпа негромко гудит, рокочет, обливается потом. Наконец рявкает оркестр и брезент начинает сползать, обнажая бронзовую фигуру, сидящую на скамье...

В ту минуту, когда брезент сползал, я задыхался от волнения. Меня обуял такой восторг, как если бы мне показали живого Пушкина. "Ja, das war ein grosser Dichter!"[24] — умиленно шептала бонна, вытягивая шею и подымаясь на цыпочки, чтобы лучше разглядеть монумент.

О Пушкине я тогда знал немного: известно мне было только, что учился он в Лицее, вот в этом большом белом флигеле, и уже в детстве писал стихи. Некоторые из них я заучил — ранние и простейшие:

Где наша роза, друзья мои?

и

Мечты, мечты, где ваша сладость?

и еще:

Слыхали ль вы за рощей глас ночной?

Стихи эти, однажды мне прочитанные, так мне понравились, что я просил читать их еще и еще, пока не запомнил. "Роза" и "заря" надолго стали для меня чем-то неразлучным, "мечты" надолго сохранили "сладкий" привкус, но "за рощей" мерещилась какая-то путаница: "слыхали ль вы" запомнилось как "слыхали львы", "певца любви" как "пивца любви", а потому "глас ночной" казался голосом пьяного, хлебнувшего "пивца любви", "пивца своей печали"... Здесь, в пушкинском садике, мне вспомнилась не эта путаница, а только одна роза, дитя зари — розовое дитя, оза-

ренная первыми лучами солнца, и вообще — *заря*, заревая радость, утренняя радость пробуждения. Восторг заключался в ощущении, что сейчас происходит что-то великое и радостное. Было нечто непонятное, но волнующее в том, что собралось столько людей во имя *одного* человека, которого звали Пушкин. Пушистое и немножко смешное имя. "Он стрелял стихами как из пушки".

Но главное было не в стихах и не в имени, а в этом ощущении *величия* и *славы*. *Гордость* за него. *Благоговение* перед ним. Радость. Заря. Может быть, и вправду вместе со старым брезентом, сползавшим с бронзового лицеиста, сползал куда-то в Лету "девятнадцатый век" и какой-то тайный голос событий шелестел об этом в ветвях столетних лип. Непостижимо, но так. Не мог я знать ни слова "рубеж", ни слова "эпоха", но странный внутренний трепет поведал мне, что расцветает на рубеже столетий — *заря* (я узнал много лет спустя, что и в самом деле расцвела в те дни заря символизма, пропел свои первые стихи Блок и бредил зорями Белый). А из этого первого ощущения литературной славы очень скоро возникло во мне высокое и стыдливое чувство, для которого придумано писклявое словцо — "пиетет"... И навсегда запомнился день 15 октября 1900 года...

ЦИРК НА ДОМУ

В легком голубом платье, сверкающем серебряными блестками, в голубом же трико она выходила из старой круглой беседки, служившей ей уборной, и становилась в заученно изящной позе у столика с музыкальными инструментами. Вслед за ней выходил ее муж — тощий, поджарый итальянец с длинной палкой, к которой приделан был свиной пузырь и одна струна; из этой доморощенной "виолончели" он извлекал смычком трогательные мелодии, а жена аккомпанировала ему на цитре или ксилофоне. Происходило это у нас в саду, на площадке для крокета. Я прятался где-нибудь сзади, за спинами старших, и оттуда благоговейно созерцал голубую фею. Вся она была хрупкая, прелестная, уже немолодая, с мелкими морщинками у глаз, в которых, как мне казалось, сияло небо Италии, ее далекой родины. Впрочем, она была, кажется, прибалтийской

немкой и не имела понятия об Италии, но мужа ее звали Фернандо, и уж он-то был настоящим итальянцем.

В это лето у них не было ангажемента, они почти голодали, мать моя помогала им, они же в знак признательности устраивали у нас "театрализованные концерты".

Прежде я знал цирк как грандиозное и почти страшное зрелище, теперь я увидел "цирк на дому", мне приоткрылась интимная его сторона: только что была передо мной обыкновенная "мать семейства", в черной юбке и белой блузке, и вот — она уже превратилась в пышный голубой цветок, и ветер шевелит прозрачный тюль — лепестки голубой розы.

Голубая роза мистиков — не та ли самая, которую двадцать лет спустя нарисовал мне в альбом Чехонин[25], — явилась мне впервые в "цирке на дому".

После музыкальной части Фернандо менял фрак на черное трико, предварительно надев на руки и ноги ватные мускулы (о как горько было разочароваться в геркулесовой мощи циркача!) И выделывал на газоне чертовские штуки: ходил на руках, колесом взбирался на шест, вертелся волчком, стоя на голове, и прочее. От этих штук мне становилось почему-то невыразимо тоскливо. Голубая фея с гордостью смотрела на упражнения мужа, я же смотрел не на него, а на нее, и ее кроткий, светлый, как мне казалось, божественно чистый облик наполнял мою душу волнением, печалью, тревогой, восторгом.

Это была моя третья любовь. Мне было шесть лет.

БАБУШКИН ФЛИГЕЛЬ

Одноэтажный, приплюснутый, словно вросший в землю, бабушкин флигель глядел тремя окнами на улицу, остальными в сад. Жили в нем четверо: бабушка, старуха своенравная и строгая, ее сестра, которую почему-то называли "тетенькой" даже те, кому она не приходилась теткой, кузина Маня, моя сверстница, и прислуга, деревенская девка, сварливая, как Ксантиппа. Бабушка занималась кулинарным искусством и войной с Пантелеем, которого я неизмен-

но уважал за то, что он служил когда-то в гусарах. Позже я в Пантелее разочаровался, так как выяснилось, что с гусарами он даже не ночевал, а придумал это в оправдание своей кривоногости. Во всяком случае, это был славный, достойный человек, главным недостатком которого было то, что ради сокращения пути он носил дрова через коридор, проходивший мимо бабушкиной спальни. Почти ежедневно по утрам был слышен возглас бабушки: "Панталей, не ходи по колидору!" (Бабушка говорила по-русски несколько своеобразно.) Но подлец Пантелей был неисправим и на следующий день снова громыхал сапожищами, и снова раздавалось: "Панталей, старая облизьяна, сколько раз я тебе говорила — не ходи по колидору!.." Этот "Панталей" так прочно засел в моей памяти, что впоследствии гераклитовское panta rhei[26] звучало для меня как Pantalei, и мне казалось, что закон преходимости и возврата начертан не Гераклитом, а Пантелеем: все течет, все льется, panta lei, все повторно, как топот Пантелея по коридору.

Тетенька Марья Андреевна всегда сидела в кресле, качалась, стонала и растирала ноги, которые у нее болели с мучительным постоянством.

В бабушкином флигеле коротал я те немногие вечера, когда у нас никого не оставалось дома и меня поручали надзору старух. Мне нравились низенькие комнаты, в которых запахи жареной курицы и кошек перебивались курением каких-то коротких свечек, распространявших удушливый, приторно-сладкий дымок. Мне нравилась старая гостиная, в которой строго симметрично была расставлена николаевская ампирная мебель, на подзеркальниках тусклых трюмо стояли свечи и раковины, в углу висел золоченый Христос на черном кресте, на стенах — гравюры из эпохи франко-прусской войны. У прусского короля были прекрасные баки, и он мне нравился больше, чем жидковатый Наполеон III, похожий на парикмахера Жозефа, — не говоря уже о том, что на всех гравюрах немцы били французов в хвост и гриву, французские лошади спотыкались и падали, а немецкие хоть бы что. Понятно, французов было жалко, но бабушка, комментируя гравюры, говорила, что они "сами виноваты".

Еще красовался на стене Фауст с Маргаритой, у Фауста были громадные икры и благородное лицо, а Маргарита шла, потупив глаза, "и на челе ее высоком не отражалось ничего"[27].

Я любил сидеть в столовой за круглым столом-"сороконожкой" (сорок не сорок, а дюжина ног была) и перелистывать "Über Land und Meer"[28].

На столе журчит самовар, мурлычут кошки — на подоконнике, на коленях у бабушки, у тетеньки, еще где-то; лампа горит прилично — не слишком ярко, но и не тускло, и я созерцаю гравюры, изображающие веселых дикарей и пиратов, пока глаза не начинают слипаться. Или мы играли с Маней в домино, в бирюльки, иногда и в куклы, что было хоть и неловко, то есть "мальчику не к лицу", но занимательно.

Однажды, увидев в "Über Land und Meer" бой быков, я поведал Мане, что быки отличаются страшной свирепостью, потому что в учебнике Марго[29] сказано: "Свирепый бык напал на маленькую девочку".

— Как? — воскликнула тетенька. — Повтори, как ты сказал, какие быки?

— Сви-ре...

— Чтобы я больше не слыхала от тебя таких слов. Как не стыдно, гадкий мальчишка, говорить девочке такие глупости.

— Это не глупости, я читал, быки — свирепые...

— Опять ты говоришь это слово?! Погоди, я пожалуюсь твоей маме!..

Это было первое серьезное оскорбление, подрывавшее мою эрудицию и порочившее мой литературный стиль.

Отсюда, из бабушкиного флигеля, вынес я пристрастие к старинным, потертым, благородным вещам, к ампирной мебели, к бронзе, к музыке стенных часов.

КАПИТАН МАКСИМОВ

Надо мной стариковское покашливанье и голубые струйки папиросного дыма. Идеально отточенный "Kohinor HB" водит перед моим носом по строчкам букваря, показывает мне веселую и легкую тайну словообразования. Потом карандаш откладывается, из коробка достаются спички: "Сколько будет, если взять три раза по три спички?" И я постепенно завоевываю таблицу умножения.

Прекрасный спокойный лоб, блестящий купол лысины, про-

куренная борода; на носу, испещренном багровыми жилками, — непослушное, часто падающее пенсне. И в каждом слове — такая внимательная доброта, такая чистота и ясность души, что сразу чувствуешь к нему благодарность, неизвестно за что. Это мой второй, после бонны, наставник, отставной моряк, сосед по дому, друг нашей семьи Иван Прокофьевич[30].

Сподвижник Станюковича, он побывал в кругосветном плавании, знал эпоху парусного флота и был как бы "морским писателем без пера": корабельный быт, океанские бури, экзотические страны словно фата-моргана вставали предо мной в его неторопливых рассказах. Из пальмовой шкатулки вынимались кораллы, раковины, перья колибри, слоновая кость, японский bric-a-brac.

В квартире — порядок, симметрия, стариковский бездетный запах, слегка керосиновый, слегка табачный. Мебель в чехлах, лимонное дерево у окна, полосатые половики на чисто вымытых полах, светлый круг под зеленым абажуром, ячменный кофе с калачом. Шелест страниц "Русского архива", "Исторического вестника" или шуршание "насыпных гильз", набиваемых недорогим шапшалом[31] (как я помню эту круглую обандероленную пачку и сухие пальцы с желтоватыми ногтями!).

Здесь "злоба дня" коробилась по утрам листом "Нового времени", а прошлое глядело со стен гостиной, где летел на всех парусах клипер "Голубчик", яркими кимоно цвели на фоне Фудзи-сан мертволикие гейши, теплым бархатом синела породистая дама сороковых годов, бушевало бутылочно-зеленое море, а под ним красовались в три ряда "господа офицеры гвардейского балтийского экипажа".

Здесь разговоры о политике сводились к уютным воспоминаниям о том, как "весной 73-го года завтракали мы однажды у английского адмирала в Сингапуре" или "был у нас мичман барон Типольт, влюбился он в одну японку". Либерализм доходил до такого "потрясения основ", что Николай II "в подметки не годился" своему отцу. Вся политика казалась в этих стенах делом домашним, которое можно решить между стаканом чая и рюмочкой мускат-люнеля (бутылка мускат-люнеля, как оплот праздничных традиций, выдвигалась в особо парадные дни и переходила недопитой от праздника к празднику, ибо девяносторублевая пенсия диктовала

строгую бережливость). Политика здесь была до того приручена, что ее водили гулять на шнурочке и называлась она Трильбишкой[32]; беленькая крошечная презлая собачонка питалась только бисквитами и, обреченная на девственность, отводила душу обгрызанием мебели. Ее носили на руках, ласкали, порицали за дурной характер.

НЕНАВИСТЬ

Нехорошо, когда ненависть слишком рано "угрызает" душу, — в те годы, когда еще "так новы все впечатленья бытия"[33]. Что-то *разъедающее* есть в ней, *подтачивающее*. Однажды (было мне лет семь), заглянув за старый шкафчик, стоявший в беседке, я увидел, что спинка его изъедена жуком-точильщиком, и подумал: "Точно ненависть его изгрызла". Совсем так же, острыми уколами-пилками, точила и грызла меня ненависть. Вокруг был равнодушно-родственный холодок; это было еще ничего — все-таки около матери иногда можно было согреться. Мне нравилось мучить ее нытьем, упрямством, тягучими капризами, — а потом согреваться раскаянием. Но *пренебрежение* — вот что было невыносимо. Равнодушен, насмешлив и нередко груб был со мной отец. Уже в раннем детстве меня удручали его поговорки, прибаутки, песенки, манера думать вслух, чесать спину, пить чай с блюдечка и особенно его самоуверенные баккенбарды. И его я рано возненавидел ненавистью звереныша, который у всех вертится под ногами, всех раздражает: к нему равнодушны, его хотели бы не замечать, но он так непослушен и несносен, что приходится вразумлять его шлепками и пинками. Кажется, розги я бы простил (секли меня раза три за все детство), но затрещину — никогда: из "смертельного оскорбления" вырастала бешеная ненависть. И никому не приходило в голову, что все дело было в *пренебрежении*: никто не принимал меня "всерьез", не задумывался над моими радостями, тревогами, печалями. Меня старались "воспитывать", а нужно было просто *приглядеться*, *прислушаться*. И все было бы хорошо, "благодатно".

Все, что зародилось во мне дурного (и ненависть, прежде всего), выросло из невнимания взрослых к моему "я", к моей "персо-

не". Отсюда и гипертрофия самооценки в самые ранние годы. "Мною пренебрегают, не интересуются. Они даже не знают, *кто я*. Если бы знали, так поняли бы, что они моей подметки не стоют". Вся перспектива "взрослого" мира исказилась в моих глазах по той же причине. "Ничтожные людишки, темные, тупые" — такими я ощущал старших.

Вкусив порцию отцовской брани и подзатыльников, наревевшись до усталости, я любил уткнуться в полумрак самодельного "шалаша": под письменным столом или туалетом с помощью пледа, зонтика или больших книг можно было устроить "шалаш", в котором немножко пыльно и скучно, но страшно уютно. Место под туалетом было резиденцией Неро, и оттого в этой тесной обители ласково и знакомо пахло псиной.

Заплаканное, невеселое, но втайне — где-то вот в "шалаше" — счастливое, уютное, милое мое детство...

Если условия времени и места не позволяли устроить шалаш, я уходил в сад и там еще долго ревел, придумывая "ужасную месть" ("когда вырасту большим").

В саду случались разные чудеса: помню холодный осенний вечер, когда мохнатые звезды необычайно явственно *заговорили* со мной о чем-то *своем*, о чем-то таком, что вне времени и пространства, вне всяких забот и обид, о чем-то блаженном, вечном, божественно чистом. Немного позднее прочел я у Фета о том, как между ним и звездами "какая-то связь родилась"[33], и снова изведал успокоительное это *спокойствие*, твердую уверенность, что из темного и злого мира *можно, можно, можно* ("когда-нибудь") подняться в какую-то насквозь лучезарную высь, где ветер времен дышит безмерной свободой, где душа ликует и просветляется, где тело легчает и, все просвеченное горним светом, становится таким же легким и свежим, как этот ветер...

Отец был первым человеком, пробудившим во мне настоящую ненависть. Впрочем, лютые ее приступы бывали кратки и редки. Впоследствии я ненавидел еще двух-трех людей и всегда томился сознанием, что ненависть вредит ненавидящему гораздо больше, чем ненавидимому, — обессиливает, опустошает душу, наносит ей долго незаживающие раны. С годами — став больше понимать и, следовательно, больше прощать, — я освободился от враждебного

чувства к отцу и под конец уже жалел его, то есть почти любил. И даже наверное любил — одряхлевшего, беспомощного, с его присказками, прибаутками, уже унылыми, невеселыми в условиях "нового быта".

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ МУКИ

До семи лет держал я книги вместе с игрушками в сундучке. Коричневый сундучок (помню две черные на нем полоски и медную ручку) был тесен для своего содержимого. Семи лет получил я в подарок небольшой книжный шкаф, предмет моей гордости и ликования. В нем завелось все, что полагается — Майн Рид, Жюль Верн, Брет Гарт, Густав Эмар, Фенимор Купер, — и даже то, что "не совсем полагается" по возрасту, — Дюма, Гюго, Гамсун, Диккенс, Лоти, Уэллс, Киплинг, Райдер Хаггард. Через три года шкаф стал уже тесен, книги нагромоздились на нем неустойчивой башней, грозящей обвалом, и еще через три года книги перекочевали из шкафа на большие полки — от пола до потолка.

В те годы владела мной страсть к переплетам. Настоящий библиофил знает, что не всякую книгу следует переплетать, знает он, *какую* книгу и *почему* и *как* нужно стягивать переплетом, а какую не нужно. Мне же казалось тогда, что надо переплетать решительно все книги и чем скорее тем лучше. И я носил книги пачками старухе Шитовой — кажется, единственной переплетчице в городе.

В святилище переплетного искусства вела невероятно крутая и узкая скрипучая лестница. Поднявшись по ней и переведя дух, дергал я ручку звонка. Колокольчик, достойный висеть на небольшой деревенской колокольне, звенел оглушительно громко, но только минут через десять за дверью начиналось шарканье туфель, кряхтенье, бормотанье, вздохи. Лязгал засов, и в приоткрытую дверь просовывался старушечий нос.

— П-ш-ш... фюить... П-ш-ш... фюить... П-ш-ш...

Старуха молча впускала меня в прихожую, но сейчас же исчезала, ибо была в неглиже. В прихожей пахло кошками, плесенью и особым старушечьим запахом. Слева от трюмо висел портрет Скобелева, густо засиженный мухами, справа календарь за прошлый год с целующимися голубками. Я стоял пять, десять, пятнадцать ми-

нут. Наконец, снова слышались вздохи, сопенье, хлопанье — старуха выходила в прихожую, застегивая на ходу кнопки засаленной кофты.

— Ну, опять книжки принес? Ох, горе мне с тобой...

Она шипела, фыркала, обнюхивала меня, крестила рот. Я робко протягивал книги, пытался ей объяснить, как и что.

— Да уж ладно, чего там, сделаем, как следует.

И забрав книги, она исчезала. Опять ожидание. Наконец, снова — свистящее дыханье, шипение, вздохи:

— Ну, что еще?

— Когда можно прийти за книгами?

— Да сделаем, сделаем. Спешить-то куда? Нешто вы уезжаете? (Старуха говорила то "вы", то "ты".)

Мне, конечно, всегда хотелось "как можно скорей". Ах, если бы сегодня же! Я говорил просительно:

— Если можно — поскорей...

Или, в крайнем случае, если очень не терпелось, пускался на хитрость:

— Да, я скоро уезжаю...

Но это был опасный прием. Старуха начинала выпытывать — куда, зачем, почему, приходилось выдумывать, можно было позорно запутаться, а толку все равно было мало: старуха не любила спешить.

— Да уж ладно, к четвергу будет. И куда это вам столько книжек? Неужели все прочитаете?

Обиженный до глубины души, я восклицал:

— Уж я давно их прочитал, у меня нет непрочитанных книг.

И добавлял:

— Так, пожалуйста, сделайте к четвергу.

— Сказала сделаю, значит сделаю, без обману.

Я лез обратно в узкую дверь, сопровождаемый шипеньем, вздохами, бульканьем астматической переплетчицы.

В четверг я летел к ней на крыльях нетерпенья. Опять мучительное ожиданье на лестнице, потом в прихожей, опять Скобелев, поруганный мухами, опять охи, ахи, шип и хрип.

— Какие тебе книжки? Да когда ты приносил, батюшка? Что ж ты думаешь — тяп-ляп и готово? Да ведь ты третьего дня принес только! Пойду спрошу, а только как будто не готово...

Опять ожиданье, Скобелев, розовые обои с голубыми цветочками, запах кошек, тоска. Из дверей — шипение и свист:

— Нет, и не жди, батюшка, раньше середы не будет.

— Как же так? Я не могу ждать до среды, мне книги нужны.

— Что за нужны, что тебе за спех? П-ш-ш... фюить. П-ш-ш... Что за спех-то, говорю? Ох, торопыга, ох, п-ш-п... фюить, п-ш-ш, — шипенье и бульканье шли crescendo, заставляя меня отступать к дверям.

— Только обязательно в среду сделайте...

За средой назначалось воскресенье, потом опять четверг... Я недоумевал: плательщиком я был исправным, никогда не торговался. За какие же грехи терпеть такие хождения по мукам?..

Старуха Шитова научила меня понимать, что значит "попасть в переплет". Можно сказать, в этой маленькой старушке погибал огромный бюрократический талант.

Но хуже всего было, когда вместо старухи выползала ее дочь — тоже старуха, не такая седая, зато косоглазая и зобатая. Это было поистине страшное существо.

— Што, што, што? — набрасывалась она на меня, принюхивалась, шипела, фыркала, не уступая матери в приемах террора. Она долго щурилась, торопливо выплескивая свое "што, што, што", потом вдруг выкатывала глаза — один на меня, другой в окно, и вырывала у меня из рук книги.

— Давайте уж, что с вами делать. Да что вы так спешите, Господи Твоя воля? Што, што? Некогда нам сейчас, зайдите в понедельник. Ох, Царица Небесная...

Так обфыркивали, обсвистывали, обнюхивали меня зловещие старухи год за годом лет десять (потом, став студентом, я начал переплетать книги в Петербурге)[35]. Что же удивительного, что я не мог представить себе шабаш ведьм без Шитовых? Что ж странного, что с ранних лет я уверовал в демоническую природу старух? Моих переплетчиц я с первого взгляда узнал в кошмарных офортах Гойи и даже подозревал одно время — не был ли сам Гойя переплетчиком?

Сколько вы мне крови испортили, божьи старушки... Да будет вам земля пухом (обе давно в могиле), но могу ли я простить вам криво обрезанные поля, перепутанные надписи на корешках и такие сокращения, от которых у меня кровь стыла в жилах:

"Дети капи Гранта"
"Путеше на луну"

Я молчал, принимая от вас испорченные книги, я боялся вас, не смел роптать. Но по ночам мне мерещились мои изуродованные друзья, их кривые поля, бугристые корешки, и огненными буквами горело в мозгу — "Путеше на луну".

ЗАПАХ ЕВРОПЫ

Раскрывались желтые скрипучие чемоданы, испещренные разноцветными бумажными наклейками, из них выпучивались груды смятого платья и белья, выпирали ботинки, пестрели жилеты и галстухи "от Вертгейма", краснел томик Бедекера[36]. От чемоданов несло смешанным запахом кожи и мыла, одеколона Maria Farina и еще каким-то особенным "европейским" запахом, который исходил от множества сувениров, альбомов, безделушек и вообще "плодов европейской цивилизации".

Едва смолкали приветствия, едва успевали родители ответить на первые расспросы о заграничных впечатлениях, едва размыкались широкие челюсти чемоданов, как я устремлялся "к познанию Европы".

— А это что? — А тут что? — Покажи, что здесь! — Открой эту коробку!

Из-под тирольской куртки доставались расписные нюрнбергские пряники, из пены брюссельских кружев выплывал деревянный люцернский лев; появлялись перочинные ножи фантастической конструкции, способные потрясти душу самого бесчувственного мальчика. Пресс-папье и трубки, перчатки и сигары, виды Ниццы и Монте-Карло, программы варьете и описание Вартбурга — словом, все, что вольно и невольно приобретает турист, путешествующий по Европе.

Все это сплеталось с названиями отелей, магазинов, музеев, театров, кружилось в бестолочи беглых воспоминаний о виденном, звучало нерусской речью, отдавало нерусским духом, волновало своей отдаленностью, недосягаемостью, нарядностью.

Так впервые пахнуло на меня Европой — из отцовских

чемоданов. Это повторялось из года в год, каждую осень, и долгое время в моем представлении "заграница" умещалась в ... чемодане.

ПЛЕВОК С ГОРЫ

Первые впечатления школьной жизни были мрачны[37]. Все было страшно; на уроках душно и жутко, на переменах еще хуже.

"Почему это называется переменой? — думал я, слоняясь по коридору. — Ничего не меняется, учителя все такие же, мальчишки дерутся весь день".

Мальчишки были двух сортов: одни — почище, приглаженные, приутюженные, в воротничках, другие — заплюзганные, в пыльных куртках, в заплатанных штанах, нечесанные и словно давно немытые, но необычайно бойкие. Самые отчаянные разбойники были во второй категории, но и в первой были рьяные драчуны и задиры, скрывавшие под внешностью "маменькиных сынков" неукротимую страсть к рукопашному бою.

Вся эта буйная ватага казалась мне глубоко враждебной. Никто мне не нравился и долгое время ни с кем не хотелось дружить. Ничего доброго нельзя было ожидать от этой оравы. Кто щипнет исподтишка, кто подставит ножку, кто украдет карандаш или вставочку.

В саду, окружавшем училище, была деревянная гора, зимой превращаемая в ледяную. Как-то раз стоял я в раздумьи около этой горы, у самой лестницы, ведущей наверх. Вдруг что-то тяжелое и мокрое шлепнулось мне на фуражку, потекло по щеке и сползло на барашковый воротник. Я задрожал от ужаса и отвращения. Наверху, захлебываясь, ржали трое мальчишек. Один из них накопил полный рот харкотины: результатом этого накопления преизбыточной слюны и явился смачный плевок на мою голову. Я всегда удивлялся способности мальчишек непрерывно отплевываться ("откуда у них столько слюны?"), но на этот раз даже не успел удивиться, настолько все было ошеломительно и противно. В чужом платье, в чужих вещах мне всегда чудилось что-то грязное и нехорошее, а уж плевок казался прямо заразой. Сразу стало жарко, хотелось плакать, но нужно было сдержаться (позволительно ли плакать

на десятом году жизни?), неловко перед сорванцами. "Гадость какая!" — и я стал вытирать платком щеку, фуражку, воротник, потом свернул платок в комочек, завернул его в бумагу и спрятал в ранец. Пошел в уборную, долго мыл щеку и вытирал запасным чистым платком. Вернувшись домой, поливал воротник одеколоном, тер его, сушил и снова мыл.

Впоследствии разные литературные "дела да случаи" воскрешали в моей памяти это маленькое, но обидное происшествие: что такое, в большинстве случаев, *рецензия*, как не "плевок с горы"? Неизвестно, зачем и почему захочется человеку плюнуть (от избытка слюны, что ли?), и он плюет... С "высоты" газеты или журнала это так удобно: почти недосягаем, почти ненаказуем. И так "эффектно": вокруг — зрители, всегда готовые повеселиться.

КИРПИЧНАЯ РЕЛИГИЯ

Недалеко от парка, в окружении низких каменных домов, помнящих эпоху Елисаветы Петровны, грустное и суровое кирпичное здание — лютеранская церковь. Туда в день воскресный, начистив ботинки до идеального блеска и пригладив, насколько возможно, непокорный вихор, надлежало мне направлять стопы свои. И я направлял, повинуясь материнской воле. Мне было девять-десять лет.

Обычно уже гудел орган, когда окунался я в прохладный полумрак церковной лестницы. Всходил наверх, снимал фуражку, еще раз приглаживал вихор и открывал тяжелую стеклянную дверь. Сторож Василий в черном сюртуке с двумя серебряными крестами на отворотах кланялся приветливо и с достоинством. От двери к алтарю ровными рядами чернели спины, как только что вскопанные гряды. На цыпочках, стараясь не скрипеть, я пролезал в эти гряды, садился справа, у окна. Василий клал передо мной молитвенник на спинку передней скамьи. Эта спинка, как и вся скамья, была покрашена желтоватой краской с разводами, грубо имитирующими дуб. Со стен глядели цифры, римские и арабские, указуя псалмы. Молитвенник я раскрывал, но петь не решался: прихожане пели пресквернo, не вызывая желания присоединиться к скрипучим старушечьим голосам. Был один козел бесподобный, всем козлам

козел, и голос в точности козлиный: он пел громче всех, на лысине у него выступал пот, и мутнели стекла очков, лицо выражало умиление, кадык двигался в такт пению.

На первой скамье перед алтарем сладко дремал командующий войсками округа генерал Газенкампф, маленький, с огромной бородой, похожий на Черномора[38]. При усиленном реве органа он просыпался, разглаживал бороду, целился в молитвенник. Но орган стихал, генерал снова клонился в объятия Морфея.

Интересно было смотреть на затылки впереди сидящих: вот девочка с прекрасными косами, Гретхен, совсем как на литографии в бабушкиной гостиной. "Мордан" или не "мордан"? Девочка, как назло, не оборачивалась, сидела смирно. Или вот у этого господина жирный розовый затылок с тремя складками — у него, наверное, и галстух розовый — нужно узнать, какой у него галстух.

Я любил косые лучи, падавшие слева сквозь верхние круглые окна, — тысячи пылинок плавали в них. В этом луче косом была для меня какая-то тайна, он устанавливал связь "небесного" и "земного", он золотил эту тусклую пыльную готику и как-то ее возвеличивал (а если сунуть голову в такой луч, то защекочет в носу — чих, чих и еще раз чих!).

В том, что происходило в церкви, был, может быть, высокий, но для меня неясный смысл. Мне приходила на память строчка Тютчева: "Я лютеран люблю богослуженье". Словом, смысл *был*, но ничему не радовалась душа. Поют плохо, орган гудит торжественно и важно. Оттого, что кирка была кирпичная, буро-красная, все богослужение казалось тоже кирпичным. Недаром слово кирка связуется со словом кирпич "начальною рифмой".

Скамейки деревянные были жестки и тяжелы, как кирпичи. Молитвенники тоже — черные кирпичи с белой начинкой. Все было сухо, неуютно, но практично. Сел и сиди, никакого беспокойства. Орган задает тон, люди подтягивают. Напевы тяжелые и густые. Слово к слову приставляется, как кирпич к кирпичу, и — растет стена:

Aus tiefer Not schrei ich zu Dir,
Herr Gott, erhören mein Ru-u-fen...[39]

Насчет "erhören"[40] меня всегда брало сомнение: казалось, что из этого кирпичного сундука к небу не долетит ни одного словечка. О Лютере я знал, что однажды он запустил чернильницей в черта. История с чертом меня интриговала, все же остальное было пресно и скучно.

Только иногда, глядя в окно, где солнце золотило кусты белой сирени, суетились пичуги, высоко в лазури плыли облака, — я вдруг замирал от непонятного счастья и едва удерживал слезы радости: кроме кирпичей был (существовал!) дивный летний мир, ярко-зеленый, лучезарный мир. Кто его придумал? К тому, кто "придумал", я чувствовал самую нежную благодарность и смотрел выше, в круглые витражи: в них не было видно ничего, кроме кусочка бледно-голубого неба. Это голубое и стало для меня *цветом первопричины*.

"Там нет *ничего*, и, значит, все вышло *оттуда*. Это было ясно, как 2x2=4, и так же непостижимо. Вот — важнейшее "открытие", сделанное мною под пение органа.

В сущности, самое приятное в кирке было смотреть из кирпичного сундука туда, в голубое. Это было не просто "небо" — огромный купол, — а совершенно отвлеченный голубой кружок, что-то совсем особенное и очень *значительное*.

В небе, светлом и благостном, не было ничего страшного, а Христос, висевший в глубине алтаря, пугал меня мертвенной зеленоватой бледностью изможденного, измученного тела. Я старался на него не глядеть, но темная картина властно притягивала к себе. Скучнее всего становилось, когда пастор заводил напыщенную канитель. В черном балахоне появлялся он на кафедре, внезапно и бесшумно, как привидение. И — "заводил" (на полчаса, а то и на час). Зная немецкий язык, я все-таки ничего не понимал, потому что плохо слушал; речь всегда сводилась к одному: как ни скверно живут люди, но "allbarmherziger Gott und Vater[41] спасет погрязшее в грехах человечество. Этот Gott und Vater представлялся мне добрым, покладистым стариком в белой рубахе до пят и с бородкой веером: эта воображаемая внешность не внушала мне симпатии ("уж очень волосат"), а что он такой неразборчивый и всех готов простить, — прямо не нравилось. Сам того не ведая, я клонился к мыслям Константина Леонтьева ("О всемирной любви") — "Не-

ужели он простит и Тихомирова, который вечно лезет драться и подставляет мне ножку?..”

Вот почему старик казался мне сомнительным. У меня был *голубой кружок*. Старик постоянно *загораживал* его, смешивался с ним, мешал мне о нем думать, но я знал, что где-то там, в небесно-голубом, и есть настоящая религия, которая гораздо лучше и легче, чем эта кирпичная с органом. Казалось, в голубое, как струйки дыма, текут мысли всех людей, и там, в голубом, пребывает душа всех душ, “самая главная душа”. Я ощущал ее чаще всего после больших потрясений, после потока слез или ночью, в тишине, когда над головой звездное небо. Но — не здесь, в кирпичных стенах...

Когда гуденье кончалось, я с удовольствием склонял голову для “Vater unser”[42], это была единственная молитва, в которой все было “как на ладони”, — от нее пахло мамой, детской и миндальным мылом. Казалось, прочитаешь до конца и юркнешь в прохладные простыни, головой зароешься в подушки, чтобы не пугала страшная темнота. И вообще, когда подумаешь, что “Dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit”[43], на душе сразу становится легко и спокойно.

Конец службы был всего интереснее. Тут выяснялось, какова девочка с косами — “мордан” или нет. У человека с тремя складками действительно оказывался розовый галстух. У выхода стояли самые маститые лютеране: древний папа-Бенземан, инженер-путеец, высматривал своих детей, все ли были в церкви; два “кирхенрата” стояли с тарелками, покрытыми малиновым бархатом. Я бросал туда двугривенный, который давала мне мама, и спешил домой[44].

По всей улице двигались с мужьями и в одиночку лютеранские старушки в старомодных жакетах с бархатными воротниками, с громадными зонтиками и ридикюлями, в шляпках-нашлепках с украшениями из какой-то пыльной черной чепухи. Они лопотали о своем, о том, что пастор Берман сказал “ошень кароший решь, но он такой ушоный, у него ошень высокий слог, и не все мошно понимайт”. Честные немецкие матери шли со свитой выводков: вот фрау Розенберг, Петер Розенберг, Ганс Розенберг, Юлиус Розенберг и еще другие розовые и головастые Розенберги; вот фрау Келлерман, фрау Мундингер и разные другие фрау, все в пыльных черных шляпках и с добротными зонтиками.

После утреннсй службы наступало освобождение на весь день. Тем ощутительнее была полоса Kindergottesdienst'ов[45]: это были особые богослужения для детей, с нравоучительными беседами, начинались они в три часа, значит, клином врезались в день воскресный и портили его, перерезая пополам. Какие-то старые девы с каплей на кончике носа "своими словами" излагали катехизис и Библию, заставляя нас повторять рассказанное.

— Nun, erzähl mir, wer war Jesus Christus[46]?

Что же тут erzählen[47]? И я говорил:

— Jesus Christus war Gottes Sohn[48].

Этого оказывалось совершенно достаточно, и меня оставляли в покое.

Именно Kindergottesdienst'ы зародили во мне религиозный скепсис, вернее — "солиситировали" пантеистическое мироощущение. Мне было тогда лет десять-одиннадцать. Я шел из церкви домой и обдумывал нехитрую казуистику старушечьего богословия. Это был карточный домик, и я сдувал его ветром своего вольнодумства. "Мой Бог совсем другой, — думал я, — Он не в церкви, а в основе мира, во мне, во всем, а такого Бога, о каком рассказывает фрейлен Эбергард, просто не существует.

Единственным волнующим событием в лютеранском году было Рождество. Рождество — это значило: перед алтарем огромная елка, Василий священнодействует, как жрец, поджигает шнурок, огонь бежит по свечкам. Становится светло и уютно. Дети поют и волнуются, одна впечатлительная девочка ежегодно делает при этом в штаны; дома — подарки и "своя" елка, много меньше, но пестрее и уютнее.

Позже, достигнув шестнадцати лет, я по обычаям кирпичной религии должен был конфирмоваться. Затянутый в новенький сюртук, в воротничке, подпирающем шею, я стоял у алтаря в шеренге других юношей и девиц и, услышав тот же вопрос — "Nun, sagen sie mir, Hollerbach, wer war Jesus Christus?"[49], — ответствовал без колебания, что "Jesus Christus war Gottes Sohn", после чего пастор, вполне удовлетворенный моей эрудицией, больше вопросов не задавал. Потом следовал "Spruch"[50]: "Erich-Conrad Hollerbach, also spricht der Herr..."[51] (приводилась цитата из Евангелия) и — кончено, я достиг "духовной зрелости"!..

О мучительный, нелепый день! Еще за неделю нужно было объезжать почтенных родственников и приглашать их "от имени папы и мамы" на конфирмацию. До чего это было противно и трудно! Сколько раз я подымался к парадной двери и спускался назад, не решаясь нажать кнопку звонка, краснел, бледнел и, наконец, задыхаясь, излагал приглашение. Противно было потому, что конфирмация влекла за собою, по обычаю, подарки. Наиболее прижимистые родственники отделывались "шпрухами" (на бристольском картоне с незабудками) или дарили серебряный карандашик. Самыми роскошными дарами считались дешевенькое кольцо, подстаканник, в который не влезал ни один стакан, жидкий серебряный портсигар. Это были знатные подарки, нужно было кланяться, благодарить и шаркать ногой, что было скучно и отвратительно. Нужно было целовать дряблые родственные щеки и делать вид, что вот этот подарок как раз и есть то, о чем я мечтал.

В эти годы мне еще по-прежнему вспоминалось иногда тютчевское "я лютеран люблю богослуженье", но я уже едва покрывал этой строчкой свое лютеранство ("если Тютчев любил, то значит, что-то есть такое, за что можно любить"): в шестнадцать лет я был уже окончательный материалист и "вольтерьянец", зачитывался Бюхнером и Молешоттом, моим идеалом был тургеневский Базаров.

После конфирмации я бывал в кирке только на похоронах родственников. А года три спустя, ослепленный величием буддийской религии, я написал в департамент иностранных вероисповеданий заявление о своем переходе в буддизм.

Что же осталось от детского общения с церковью? Осталось смутное впечатление какой-то сухой готики, какой-то дешевой и плохой репродукции средневекового зодчества, да еще гудение органа, да еще какие-то громкие немецкие слова о Боге.

ПРИМЕЧАНИЯ

Книга написана, предположительно, в конце 1920-х или в самом начале 1930-х гг. Черновая рукопись хранится в РО РГБ (Ф. 453 [Голлербах]. — Карт. 1 — Ед. хр. 15).

Печатается по окончательному варианту (авторизованная машинопись), хранящемуся в личном архиве Голлербаха. Неоконченная новелла "Капитан Максимов" печатается по черновику, хранящемуся там же. Новеллы "В кофейном коленкоре", "Чердак", "Иннокентий Федорович" печатались ранее и поэтому исключены из настоящей публикации.

1. Книга посвящена сыну автора, Александру Эриховичу Голлербаху (1930-1985) — впоследствии геофизику.

2. Эпиграфы взяты из: Леонтьев Константин. Страницы воспоминаний / Ред. и предисл. П. К. Губера. — Пб.: Парфенон, 1922. — С. 14; стихотворение Ф. И. Тютчева "Памяти Жуковского" (1852); Тагор Рабиндранат. Залетные птицы. / Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник. — [Пг.; указ.: Пг.; М.]: Петроград, 1924. — С. 42; источник блоковской цитаты не установлен.

3. "Майский ландыш" (*франц.*).

4. Мать автора — Эмилия Адольфовна Голлербах (рожд. Вунш, ок. 1860—1922) — дочь владельца мебельной фабрики.

5. Отец автора — Федор (Теодор) Георгиевич (Егорович) Голлербах (1849—1924) — владелец популярной в Царском Селе кондитерской.

6. Двухэтажный дом Голлербахов с садом и хозяйственными постройками во дворе находился в Царском Селе на пересечении Московской и Леонтьевской улиц, неподалеку от Лицея. В начале XIX в. он принадлежал Лицею, некоторое время в нем жил его директор Е. А. Энгельгардт, у которого бывали А. С. Пушкин и его товарищи. Дом был разобран во время гражданской войны, на его месте разбит сквер. См.: Царское Село в поэзии: [Антология]/ Со статьей Э. Ф. Голлербаха, ред. Н. О. Лернера. — СПб.: Парфенон, 1922. — С. 55.

7. "Я уже гулял, я устал" (*нем.*).

8. Царскосельский Гостиный двор находился также на пересечении Московской и Леонтьевской улиц, напротив дома Голлербахов. Дворцовые городовые — охрана обширного дворцового комплекса, императорской резиденции в Царском Селе.

9. Николай Степанович Гумилев (1886-1921) учился в царскосельской Николаевской мужской гимназии с 1903 по 1906 гг. См. о нем: Э. Голлербах. Н. С. Гумилев: (К 15-летию лит. деятельности) // Вестн. лит-ры (Пг.) — 1920. — № 11 (23). — С. 17-18; Голлербах Э. Взмах. Стихи и поэмы.

10. "Мариинка" — царскосельская Мариинская женская гимназия, располагалась на Леонтьевской улице. Анна Андреевна Горенко (псевдоним Ахматова, 1889-1966) с 1891 по 1905 и с 1911 по 1916 гг. жила в Царском Селе; в Мариинской гимназии училась с 1900 по 1905 гг.; с 1910 по 1913 (формально — 1918) гг. была замужем за Гумилевым.

11. "Ах, злой мальчик!" (*нем.*).

12. "Ах, Боже мой, что за ребенок! ." (*нем.*).

13. Витражи (*франц.*).

14. Измененная цитата из эпиграфа к первой главе повести А. С. Пушкина "Пиковая дама" (1833). У Пушкина: "И выигрывали, / И отписывали / Мелом".

15. Тетушки — сестры хозяйки дома — София, Эльфрида, Эмма, Мария и Адель Вунш, сотрудницы немецкой компании "Зингер". Зусманович вспоминала: "Тетушек постигло большое несчастье, когда началась война 1914 года. Так как они оставались немецкими подданными, то им предстояла высылка из Петербурга. Управляющий конторой "Зингера", ликвидируя предприятие перед отъездом в Берлин, предложил им поехать вместе и продолжать работу в Германии. Тетушки согласились и уехали.

Впоследствии они очень об этом жалели: воспитанным в России, им было чуждо и одиноко в Германии (Берлине)".

16. Из стихотворения И. Ф. Анненского "«Расе»: Статуя мира" (1905).

17. Воейковы — старинный дворянский род. Речь идет об офицерах-кавалергардах, приближенных ко двору, — братьях Александре Николаевиче (1865-?) и Владимире Николаевиче (1868-1947) Воейковых. См. о них: Сборник биографий кавалергардов: 1826-1908 / Сост. под ред. С. Панчулидзева. — СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1908. — Сс. 340, 348. В. Н. Воейков в предреволюционный период был комендантом Зимнего дворца в Петрограде, впоследствии эмигрировал, выпустил книгу мемуаров. См. о нем также: Блок Александр. Собрание сочинений. — Т. 6. Проза: 1918-1921. — [Л., указ.: М., Л.]: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1962. — С. 447.

18. "Эрих, довольно, нам пора домой" (*нем.*).

19. Вильгельм Буш (1832-1908) — популярный немецкий поэт-юморист и карикатурист, автор широко известной юмористической книжки для детей "Макс и Мориц" (1865) и мн. др.

20. "Уже поздно, спать, спать" (*нем.*).

21. "Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня" (*лат.*) (Матф. XXVI, 21).

22. Из-за особенностей примененной Леонардо техники (масло с темперой) фреска плохо сохранилась и неоднократно реставрировалась. Рафаэль Морген (1758-1833) — итальянский художник, гравер, резчик по меди. Кроме прочего, занимался репродуцированием работ Леонардо, Рафаэля, Тициана и др. авторов.

23. Памятник Пушкину (1899) работы скульптора Р. Р. Баха был заложен в Царском Селе 26 мая 1899 г. и открыт 15 октября 1900 г. См. о нем: Э. Голлербах Памятник Пушкину в Детском Селе // Юный пролетарий (Л.). — 1936. — Октябрь. — № 19-20. — С. 48; Голлербах Э. Памятник А. С. Пушкину работы Баха // Большевистское слово (Пушкин). — 1939. — 4 июня. — № 66 (189). — Сс. 3-4.

24. "Да, это был великий поэт" (*нем.*).

25. "Голубая роза" — художественное объединение начала XX в. Для творчества авторов, участвовавших в нем, характерны лиризм образов, меланхолические настроения, мистико-символистские искания. Сергей Васильевич Чехонин (1878-1936) — график, живописец, театральный художник, входил в объединение "Голубая роза" и "Мир искусства", был членом ЛОБ, с 1928 г. жил в эмиграции.

26. "Все течет" (*греч.*). Выражение Гераклита Эфесского (ок. 530 до н. э. — ок. 470 до н. э.).

27. Измененная цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова "Демон": Восточная повесть" (1839). У Лермонтова: "И на челе его высоком / не отразилось ничего" (часть I, глава III).

28. "По земле, по морю" (*нем.*). Так назывались календари с цветными репродукциями, регулярно издававшиеся в Штуттарте с 1859 г.

29. Давид Давидович Марго (1823-1872) — педагог швейцарского происхождения, преподавал в Петербурге французский язык, автор популярного учебника французского языка. Его пособия были приняты в учебных заведениях России и неоднократно переиздавались.

30. Иван Прокофьевич Максимов — капитан дальнего плавания, квартирант Голлербахов.

31. Шапшал — марка табака, по названию табачной фабрики "Братья Шапшал" в Петербурге.

32. Трильби О'Фиррэл — заглавный персонаж романа Дж. Дюмюрье "Трильби" (1894), неоднократно переиздававшегося в России и с успехом инсценированного в Петербурге в 1896 г.

33. Из стихотворения Пушкина "Демон" (1823). Цитируется неточно. У Пушкина: "В те дни, когда мне были новы / Все впечатленья бытия..."

34. Из стихотворения А. А. Фета "Я долго стоял неподвижно..." (1843).

35. С 1911 по 1912 гг. Голлербах был студентом общеобразовательного факультета Петербургского психоневрологического института, с 1912 по 1917 гг. — физико-математического факультета Петербургского (Петроградского) университета, совмещая учебу там с занятиями на историко-филологическом факультете.

36. Карл Бедекер (1801-1859) — немецкий предприниматель, составитель и издатель путеводителей по городам и странам, свой первый путеводитель по Рейну издал в 1828 г. Под маркой Бедекера работали впоследствии его наследники. См. подробнее: С. Русские бедекеры // Россия (СПб.). — 1914. — 29 апреля (12 мая). — № 2592. — С. 3; [Б. п.]. Карл Бедекер // Красная нива (М.). — 1927. — 24 июля. — № 30. — С. 23. В дневнике Голлербаха за 1911 г. записано: "Папа не любил жить замкнутой жизнью большинства скопидомов-булочников. После [...] житья за границей он был там еще несколько раз, уже вместе с мамой. В России он далеко не бывал: был в Москве, Гельсингфорсе (Финл.[яндия]), Выборге, Варшаве, на Иматре (Финл.[яндия]), в Гапсале, в Риге, в Ревеле, Гунгербурге, в Друскениках и во мн. прилежащих к Петербургу дачных местностях. За границу он ездил с мамой в 1903, в 1907, в 1908, в 1909, в 1910 годах — каждый раз на прибл. одинак. сроки, не больше двух с половиной месяцев и не меньше месяца. Объездили они всю Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Австро-Венгрию, Швецию, Данию, Норвегию, Бельгию. Были в Гамбурге и в Тулоне, в Дрездене и Копенгагене, в Стокгольме и в Париже, в Вене, Берлине, Милане, Венеции и т. д. [...] Жили в лучших отелях, на берегу моря или на лучших улицах, старались все пересмотреть, не отказывая себе в самых дорогих удовольствиях, в посещениях лучших театров, cafée, ресторанов и пр. [...] В Берлине родители делали закупки на наши обычные рождественские и пасхальные выставки в двух комнатах рядом с магазином. Папа имел слабость накупать себе за границей целую серию шляп и костюмов".

37. С 1904 по 1911 гг. Голлербах учился в царскосельском Реальном училище императора Николая II (1902-1917).

38. Михаил Александрович Газенкампф (1843-1913) — военный администратор, генерал от инфантерии, был членом Военного совета, с 1905 г. — помощником августейшего главнокомандующего (фактически главнокомандующим) войсками гвардии и Петербургского военного округа.

39. "Из глубины возвах к Тебе, Господи / Господи, услыши глас мой!" (*нем.*).

40. "Услышать" (*нем.*).

41. "Всемилостивый Бог и Отец" (*нем.*).

42. "Отче наш" (*нем.*).

43. "Яко Твое есть царство и сила и слава" (*нем.*).

44. Далее в рукописи следует вычеркнутый автором фрагмент: "Приятель мой гимназист Вася корчил мне гримасы, клал на тарелку пятачок, остальные сберегал на мороженое. Потом мы выходили с Васей на Набережную и здесь поджидали двух девочек, Аду и Олю. Они проходили мимо нас, потупив глазки, о чем-то перешептываясь. Мы не были знакомы, но были влюблены прочно и безнадежно. Васе нравилась миловидная Оля, мне — Ада, старшая, почти некрасивая, но с загадочными глазами, осененными легкокрылой птицей бровей. Вася каждый раз толкал меня локтем, а при очень сильных переживаниях почему-то наступал мне на ногу, что было довольно неприятно и, главное, убивало блеск ботинка. Дав девочкам пройти шагов десять вперед, мы следовали сзади. Я в полном восторге молчал, Вася мне что-то нашептывал и время от времени громко прыскал, что было, по-моему, крайне неприлично и заставляло меня замедлять шаг". Здесь речь идет об Ольге (1896

или 1897 — 1980) и Аде (1894 — не ранее 1974) Константиновнах фон Книппер, племянницах А. П. Чехова и О. Л. Книппер. Семья фон Книпперов жила в Царском Селе с 1899 по 1910 гг. по адресу: Торговый пер., 8. Впоследствии (1920) младшая из сестер (по первому мужу Чехова) эмигрировала в Германию, стала актрисой, звездой немецкого кинематографа 1920-х—1940-х гг., затем занималась парфюмерным бизнесом. См. о ней: Вульф Виталий. Любимая актриса фюрера // Известия (М.). — 1997. — 29 марта. — № 59 (24912). — С. 6. Кроме того, см. воспоминания Чеховой о жизни в Царском Селе: Чехова Ольга. Мои часы идут иначе. / Пер. с нем. Н. Егоровой и М. Кушнирова // Искусство кино (М.). — 1993. — [№] 10. — Сс. 147-153. Старшая из сестер также с 1920-х гг. жила в эмиграции (под Берлином), переводила на немецкий язык книги Чехова. В дневнике Голлербаха за 1911 г. записано: "Адочка Книппер... Интересное, оригинальное, пикантное личико; душа шестнадцатилетней барышни, фигура — двадцатипятилетней; ножка Сандрильоны... Увижу ли я еще раз в жизни тебя, прелестное создание? Я познакомился с ней на нашем ученическом балу и влюбился. Я и теперь еще храню круглый номерок летучей почты, висевший на ее груди, и конверт, в котором она принесла в наш магазин 1 р. 50 к. за билет на несостоявшийся в их гимназии вечер, устроительницей которого была ее мамаша, пленительная Елизавета Юльевна Книппер. У Ады Константиновны была еще более очаровательная, но менее интересная сестра — Ольга — и маленький брат — гимназист Лев. Этим последним три года тому назад Лева давал уроки математики и русского языка. Недавно Константин Леонардович переехал со всем своим семейством в Екатеринослав, кажется, — впрочем, наверное города я не помню. Как инженер путей сообщения, он по службе был туда назначен на новое место с повышенным окладом. Это была не серьезная любовь, а только влюбленность, случайность — "на миг слияние сердец и душ"..."

45. Буквально: детские богослужения (*нем.*). Имеются в виду занятия в воскресной детской церковной школе. В дневнике Голлербаха за 1910 г. записано: "В первые годы моего пребывания в [Реальном] училище я посещал, по настоянию мамы, так назыв. Kindergottesdienst'ы — воскресные церковные службы для детей, на которых учительницы вели с детьми беседы на евангельские темы и происходила краткая литургия. Эти Kindergottesdienst'ы начинались в нашей лютеранской церкви в 3 часа и кончались в 5 ч[асов]. Признаться, я посещал их неохотно, тем более, что приходилось зубрить наизусть всякие псалмы и песни, и ровно ничего из этих служб я не вынес, — они только поспособствовали моему укреплению на том ложно-религиозном пути, по которому направляются почти все дети. В четвертом классе я заупрямился и, найдя, что я уже слишком велик, перестал с 1907 года посещать Kindergottesdienst'ы, заходя вместо них на обычные службы для взрослых (10-12 ч.)".

46. "Ну, расскажи мне, кто был Иисус Христос?" (*нем.*).

47. Рассказывать (*нем.*).

48. "Иисус Христос был Сыном Божьим" (*нем.*).

49. "Ну, скажите мне, Голлербах, кто был Иисус Христос?" (*нем.*).

50. Притча (*нем.*).

51. "Эрих-Конрад Голлербах, како рече Господь..." (*нем.*).

Публикация и примечания
Евгения Голлербаха, Санкт-Петербург

Василий Яновский

ИЗ ДНЕВНИКА 1955 — 1959 гг.

Василий Семенович Яновский (1906, Полтава — 1989, Нью-Йорк) оказался в эмиграции в 1922 г. — бежал вместе с отцом и сестрами, Брониславой и Цецилией, в Польшу. Там он учился на математическом факультете. Через четыре года уехал во Францию. "Переступил, с визами и без оных, много границ", — писал Яновский в книге воспоминаний "Поля Елисейские". В Париже он знакомится с литературными кругами эмиграции. Сближается с младшим поколением литераторов, с некоторыми из них находится в дружеских отношениях (с Поплавским, Фельзеном). Общается с Бердяевым, Федотовым, Франком, Шестовым, Степуном. Встречается с писателями старшего поколения: Буниным, Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Ремизовым, Тэффи, Зайцевым, Алдановым.

Учась в Сорбонне на медицинском факультете, он подрабатывал в мастерской шарфов и галстуков, владельцами которой были Проценко и поэт Дряхлов. Это давало "возможность протянуть от одного экзамена до другого". "По субботам мы усердно закусывали в ателье, пили красное винцо и спорили до одурения. От этих русских бесед с бранью и насмешками все-таки оставалось впечатление подлинной жажды истины и готовности жертвовать для нее многим. Такого вдохновенного интереса к новой мысли, такого желания понять и простить "все" я уже потом не встречал в жизни".

В романе "Ересь нашего времени" (НЖ, 198-199, 1996, стр. 94-95) об этих спорах в мастерской Проценко (он выведен под именем Сковороды) Яновский писал ностальгически: "Сколько возвышенных мыслей, религиозных порывов, интеллектуальных откровений порождали наши встречи за столом .. Все, что установлено временем, обычаем, здравым смыслом, подвергалось критике и переоценке, так что в азарте словесной перепалки

мы, подобно некоторым гадюкам, начинали жалить собственный хвост, то есть уже отрицали все, что с примерной отвагой только что пробовали утверждать. Наслаждение заключалось в общем чувстве полной Свободы.. Никаких авторитетов! Только разум и совесть (или другое священное качество души) являются последними судьями... Была вера. Вера, что нам всем здесь Бог "что-то особенное дал"... Мы просто упивались сознанием наших творческих потуг и, конечно, не могли себе всецело приписать этого метафизического чуда".

В столь насыщенной творческой атмосфере и сложился писательский облик Яновского. Он участвовал во многих эмигрантских начинаниях. Был членом Союза молодых писателей и поэтов, бывал на "воскресеньях" Мережковских, на заседаниях "Зеленой лампы", организовал вместе с Фельзеном выставку зарубежных книг, пытался основать издательство, сотрудничал в "Последних новостях", "Круге", "Современных записках", "Русских записках", "Числах", "Новом граде". В парижский период вышли три его книги: повести "Колесо" (1930) и "Любовь вторая" (1935) и роман "Мир" (1933).

После вторжения немцев во Францию Яновский 12 июня 1940 г. покидает Париж, переезжает в Монпелье. Через Марсель и Касабланку в июле 1942 г. добирается с женой и дочерью до Нью-Йорка. Начинается новый творческий период. Яновский печатается в "Новоселье", "Воздушных путях", "Опытах", "Гранях", "Мостах", но чаще всего в "Новом Журнале": "Портативное бессмертие" (отрывок, № 6), "Полпути" (№ 9), "Американский опыт" (№№ 12-15, 18-19), "Болезнь" (№ 44), "Челюсть эмигранта" (№№ 49-50), "Заложник" (№№ 60-64), "По ту сторону времени" (№№ 166-170), а посмертно в 198-202 номерах напечатан роман "Ересь нашего времени", ранее вышедший по-английски под названием Of Light and Sounding Brass (N. Y., 1972). Выходят его книги "Портативное бессмертие" (Н.-Й., 1953); "Американский опыт" (Нью-Йорк, 1982); "Челюсть эмигранта" (Нью-Йорк, 1957); *No Man's Time* (N. Y., 1967) печаталась в НЖ под названием "По ту сторону времени"; *The Dark Fields of Venus: from a Doctor's Logbook* (N. Y., 1973), *Medicine, Science and Life* (N. Y., 1978), *The Great Transfer* (N. Y., 1974), "Поля Елисейские" (Нью-Йорк, 1983) и по-английски *Elysean Fields, a Book of Memory* (Northern Illinois University Press, 1987) и др. "Поля Елисейские (книга памяти)" — подведение итогов парижского периода жизни. "Наша общая трапеза, а затем игра на бильярде повлияли на мое писательское развитие больше и положительнее, чем вся немецкая художественная проза в целом", — писал он.

Впервые публикуемый дневник Яновского позволяет проследить его творческие замыслы. Дневник насыщен размышлениями о времени и пространстве, смерти и бессмертии, о добре и зле, мыслями о христианстве, о потустороннем, о самопознании, о судьбе писателя в эмиграции. Есть записи о политике, психологии, медицине. Много раздумий о тайне личности, о личности и сознании, о личности и творчестве. Тут же и онтологическая идея тройственности, которой, по его мнению, преодолевается дуализм; кстати, идея эта красной нитью проходит в его романе "Ересь нашего времени".

К печати дневник, разумеется, не предназначался; о том свидетельствует небрежность стиля, довольно частое вкрапление иноязычных фраз, неупорядоченность в датах.

За большую помощь, оказанную при подготовке "Дневника" к печати, публикатор благодарит вдову писателя Изабеллу Михайловну Яновскую.

Вера Крейд

Января 22.55

Повесть "Повестка дня"[1]... Собрание интеллигентов в Париже: Руднев, его жена, Зензинов, Ходасевич, Фондаминский, Федотов[2] — спор о повестке дня. А между тем, в молодости они были вот чем... А через десять лет, вспоминая этот вечер, я уже знаю, как они умирали. Я знаю почти все о жизни, но пока я чего-то не усвою о смерти, я ничего не пойму в жизни.

Ян. 24

Космогония. Почему Он, Дух, создал мир. Он нуждается в наших *руках*. Здесь или в потустороннем мире? Возможно, в потустороннем мире, чтобы там что-то сделать. При помощи машины мы сможем проникнуть туда с нашими *руками*.

1) рассказ[3]: в Техасе нашли малютку "ихтиозавра". Радость репортеров и фотографов. Но через день телеграф доносит, что обнаружены полчища "ихтиозавров", идущих на города и нивы.

2) Женщина нанимает пьяницу, чтобы представить его доктору как своего мужа и узнать правду — чем она больна (рак).

Царство то подобно автору... который прислушивается...
(В потустороннем я буду лежать и слышать, как люди обсуждают мою книгу и мысли, дают неверное истолкование: я буду стучать и кричать, никто не услышит, я буду пускать световые сигналы и запахи, никто не увидит. Я буду делать титанические усилия, но без движения и последствия, как во сне.)

Человек должен ощущать и жить всей своей душой целиком, а не поочередно отдельными ее аспектами (office и частное?). Первое — свобода и правда, второе — распад и смерть (наша цивилизация).

Я. 30

Для Бога наши горести, страдания и радости не могут выглядеть точно такими же серьезными. Вообще we take our skin too seriously* (и это осмысленно, только если мы одни, но и тогда это бессмысленно, потому что бесполезно).

Может ли некто, имеющий начало, не иметь конца?

5 февраля

Она проснулась и опять с отвращением заметила на своем теле стигматы... — начало рассказа.

February 11

[*На полях*]: Он: в потусторонней тьме светит только собранное "добро" в человеке. Но что "добро"?

Feb. 12

Писать, писать, писать — хочется, а нечего как будто? Большую вещь — едва соединенные между собой главы о разрозненных лю-

---

* Мы слишком серьезно относимся к своей шкуре (*англ.*).

дях, по случайному внешнему признаку связанные или столкнувшиеся, и — жизнь: та же у всех, но в разных углах освещения?

Писать?.. Для кого? Позорнее литературной жизни, чем теперь в эмиграции, как будто *еще* не было!

Марго и Кузнецова[4] ходят по докторам (хождение богородиц по мукам).

И смерть его накрыла рикошетом,
Неугасимая на трассе бытия.

Я таинственный верблюд
в космической пустыне,
ищу оазис, где живут
знакомые скотины.

Фев. 13

Рассказ о человеке, который получил дар прозрения: взглянув на соседа, он видит его на смертном одре (с присущими данному случаю деталями), и от этого вся жизнь его, поведение и пр. меняется — положительный герой (но с червоточиной?).

Feb. 18

Должно было быть собрание кружка[5], но у меня дежурство в госпитале, и отложили собрание (можно было бы поменяться с кем-нибудь в госпитале)... Значит, нет фабулы детерминизма, но отсвет, тень "госпиталя" была бы на собрании, и тень собрания на дежурстве будет сегодня. Человек свободен, но не совсем (и не всегда).

Прял на арфе акустическую (музыкальную) ткань.

Вполне нормальный человек, но ведет себя как будто владеет государственным секретом (атомная бомба у него в подвале — так себя чувствует) — и прежде ряд смешных и трагических положений (секрет этот — сознание смерти?).

Feb. 22

После "party" у Одена[6]. Недооцениваю вес людей и пропускаю их.

Заняться временем: расщепить атом его. Должен быть атом времени. И расщепить его — наступит конец времени (вечность). И вспышки, как от бомбы? Что может быть атомом времени? Континюити*? Durability**? Скорость?

Тьма не есть тень и тень не есть тьма. Тьма не нуждается в свете (существует без него).
Зло есть не отсутствие добра. Зло — небытие и оно было до начала добра и мира (в представлении Бога). Зло есть отсутствие бытия. Бытие есть добро. И добро имеет оттенки (тени).

В собаках тоже есть добрые минуты и злые; падения и взлеты; грехи и победы. В них есть душа, они еще заговорят. Как насчет бессмертия? Если бы собака могла думать, она думала бы, что имеет право на бессмертие. Значит ли это, что разум бессмертен в первую очередь?

Дождь падал на колени.
Молния упала на колени.

Feb. 24

Рассказ. Все звонят Браиловскому[7]. В газете заметка о смерти А. Б., и мы думали (минуту), что это Александр. Встречаю его с радостью на улице, как воскресшего. А говорить мне не о чем с ним. Если б не было смерти, я бы и руки ему не пожал (так скучно). Без любви бессмертие — нуль.
[*На полях*]: умер осенью 1958.

---

* Континюити (continuity) — непрерывность (*англ.*)

** Долговечность, длительность (*англ.*).

Роман "Тюрьма". Люди в тюрьме, как в России или Германии (концлагеря?); и все обречены на смерть: вытягивают номера, и их уводят. Быт, разговоры, философия "бегства" или самоубийства (ибо бегство — верная немедленная смерть). В общем, наша жизнь. Где-то таинственная комендатура.

Фев. 31. (?!)

Пьеса. "Поцелуй в веках". Первый акт: эпизод в Ренессансе; второй эпизод — (тот же) в наше время; третий — с пещерным человеком. То же, да не то — хуже и лучше.

2. Март

Утро операции Левы[8]. Ночью "семейные сны". Два варианта в будущем и оба видны — так что все известно и нет сюрприза?

3.3

Лирика болезни, лирика женщины, умиравшей от чахотки в 19 веке, — исчезла. Знание коховской палочки и хирургия — инъекции уничтожили тайну и, может быть, лирический фатум. Теперь известно, почему он болен и почему умирает (или спасен).

Март 10

Вчера Оден обедал у нас. Предлагает печататься в Encounter[9]?

Сандвич между двумя абиссами. Луч света между двумя безднами. Жизнь — луч света между двумя безднами, и все-таки в нем возможность победы и спасения.

Детали христианства, вероятно, невероятная белиберда. Но основной опыт святых безусловно совпадает с "действительностью".

Марта 14

Наступила синяя, голубая, серебристая ночь, с самого вечера уже несущая в себе семена утра и дня, и света (но другого света?).

Тот факт, что в человеке, несмотря на тысячелетия "христианства", живы еще и просыпаются "пещерные" мотивы, — утешителен; точно так же во времени грядущих тысячелетних пещер станут раздуваться искры Христа, любви, света и святости.

Роман о человеке, которого пытают в застенках; как он отказывается от всего наносного — мундира, церкви, отечества! Но одно зерно, может быть, уцелеет, и он устоит, не откажется: при условии, если он найдет и определит это главное и верное и настоящее в себе и мире.

Тема предательства и чести. Почему в старину человек не уничтожался пытками, он знал, кто он и свое место в мире? А не выдумал его.

11-4-56

Пасха. Сон. Фельзен. Он идет с Варш[авским] и Газдановым[10] (мои враги[11]). Я ухожу вперед — к машине, лезу через узкое отверстие-трубу — лестницу вверх — еле продираюсь ("растолстел"), жалко новое пальто. Я один, как всегда в виду знакомых объединяющихся, но не унываю. Как-то остаюсь лицом к лицу с Фельзеном. У него синий кровоподтек под правым глазом и на полщеки. "Дайте мне tuyau*", и целую его спеша.
— Живите радостно! — отвечает. — Если нужно (решаете) принять пулю (ношу, жертву), примите, но жить надо радостно!

June 1, 1956

Прошел год тяжелый. Написал "Зубы эмигранта" (вот уже месяц лежит у Карповича[12]).
"Экзамены"; бой со слонимами[13]. Что впереди?
И Россия, и Америка в искусстве не нуждаются. Теперь надо сосредоточиться на экономическом собственном положении. Или гибель.

---

* Точные сведения, информация (*франц., сленг*)

Читал отрывки "Заложника"[14] у Гринберга[15]. Понравилось. (Гуль, бедняга, хам.) Напечатал "Болезнь" в "Нов. Журнале"[16].

3 октября 56

Детство связано с десертом, десерт с детством интимно перекликается. И по тому, как и что человек поглощает на десерт, можно восстановить угол его детства.

Экзамены. Ссора с Грином (байстрюк). Опять без работы. Что я делаю в этой демократии?

Oct. 10, 56

Звонил Карпович. Уверяет, что виноват передо мною, по телефону не может сообщить о своем "отношении" к "Челюсти эмигранта", обещает в субботу быть в Нью-Йорке и встретиться со мною. (Позор, и без службы всё.)

6-го ноября

Пьеса (роман?): подлодка на дне океана; [3 акра] перед гибелью. Ее находят, водолазы перестукиваются, но поднять не могут или, вернее, не рентабельно — капитан судна сам решает, что нерентабельно.

Chvostek's sign[17]. Гениальный ученый нашел, что если ударить человека по щеке, то щека спазматически дрогнет. Во всех медицинских энциклопедиях [*нрзб.*] Хвостек.

Ян. 13, 57

Пошлость Паскаля — доказательства присутствия Бога по теории вероятности, шансов и выгоды.

Feb. 9, 57

Америка, гражданские инженеры, машина, громкоговоритель и гуманность ширпотреба.

Смерть ему казалась, как если лежать на дне прозрачной речки, а поверху протекает журча вода, или лежать скованным, с кляпом во

рту в темноте на диване, а в соседней комнате друзья сплетничают и несут поклеп... Они разбирают его рукописи, исправляют, комментируют, и нельзя крикнуть — не так, оставьте, пожалуйста, прав вот тот маленький тихий незнакомец.

Но его не слышат и [*нрзб.*] описок, грамматических ошибок исправить уже нельзя.

Апрель 1957

(Без работы 6 месяцев. Издержался. Болезнь — опять читал "Демона". Там ангел не просто слуга (je fais mon devoir*), а успокаивает, умывает! Мои друзья: Лермонтов, Чаадаев (Федоров?).

Любовь, быть может, существует только на этой земле: самое земное из всех небесных атрибутов Бога.

Май. Какая весна, особенная! ("Европейская"). Пьеса (роман): подводная лодка затонула. Отчаяние, перестукиваются с водолазами (отрада); решают "не поднять" — слишком опасно, трудно, дорого, рискованно (бунт, агония, философия).

Жду ответа (прошу милости из Олбани).

10 мая 1957

Все трудности космогоний оттого, что упускают из виду еще одно неизвестное, одно уравнение, одно слагаемое, еще один решающий фактор. Оттого и тупик. А что если предположить борьбу. Трех (а не двух). Теплый проигрался холодному в покер. "Еще, еще", — просит. "А на какие деньги играть-то собираешься?"

— Хочешь, я для тебя оберу Горячего, если проиграешь.

— Идет... И проиграл.

Вот вся история. Теплый ночью грабит Горячего; Холодный смеется (знает конец) и все-таки смотрит, чем кончится; а Горячий ждет, нельзя ли спасти Теплого (или Холодного)?

Борьба трех начал в мире (вместо двух); выбор из трех возмож-

---

* Я выполняю свой долг (*франц.*)

ностей свободной воли расширит наше понимание действительности и придаст нам еще одно измерение[18].

Memorial Day 1957

Ainsi que...[19] Как на старости не читаешь новые романы, а перечитываешь знакомых классиков, так уже не едешь в Мексику или Гавайи, а возвращаешься на милые знакомые места (Европы).

"Идеальное преступление": артист-преступник в поисках "шедевра" приходит к мысли совершить "идеальный святой поступок" — рассчитывает все до последней мелочи, но "попадается" (сыщики ищут "святого", спасшего ребенка, или что-то подобное).

22 июня 1957

Самый длинный день, начало лета (конец чего?). Экзамены[20], тоска, надоело. И чувство уходящего прекрасного лета.

Почему некоторые минуты в детстве у нас вызывали пронзительное чувство острой потери: потому ли, что мы их запоминали или наоборот, потому что мы знали, что запомним эти минуты. (Они вдруг прорывались через какое-то решето), поэтому они у нас вызывали прекрасное чувство потери и полусовершенства (тут... и нельзя будет дотронуться; помнишь, видимо, а нет их)...

7. 27

Замещаю Теслера (как в Париже Бирда). То же, да не то. (Те именно часы, когда человеку кажется, что он живет полнейшей жизнью, может быть, потеряны для него как реальность.)

7. 31

Когда едешь *туда* машиной, потом *обратно* и ждешь у каждого перекрестка (по дороге туда и назад), никак не можешь *понять* себя в другой позиции, в другом направлении (устремленность в город и назад домой, очевидно, важнее!). Тут играет роль направление (вектор). Оно решает состояние психики "туда и назад".

Великое в России то, что она Европа (а не Азия).

Простые люди даже не догадываются, сколько света даже в темных местах (картины) — Ван Гог.

Делал усилие, чтобы вспомнить только что прочитанную удачную мысль и решил: если не вспомнить теперь, то эта мысль проявится потом когда-нибуль сама и уже будто оригинальная, своя.

Как пуговицы: достаточно одну, первую, застегнуть неправильно и уже все остальные сойдутся неправильно (именно если действовать непоследовательно). Так и в жизни (как на развилке дорог...)

Sept. 5

Хочется вдруг писать, а отвык и как будто не о чем... 1. Свои Воспоминания[21], 2. Теория искусства[22] (Толстого, Джойса, Бергсона[23], Пруста и свое), 3. О докторах (составить кусочек для печати[24]).

Захотелось вдруг отказаться от мяса и омаров: не пора ли? (Вообще-то live up![*]). Чувство, что и это творчество: не с того, так с другого конца! (Изабелла[25] в Вашингтоне, так скучно.)

22 сентября

Подобно тому как наставник, желая рассказать (объяснить) слепому о кроликах, приготовит именно для него куклу кролика, раскрасит в серо-белый цвет, хотя слепому не нужна эта деталь... так интуиция поэта, желая рассказать людям о предметах, им открытых, нагружает их часто трудными и даже излишними для глупцов и слепцов деталями (подарок от Изабеллы — зебра).

Oct. 31, 1957

Почти закончена книга (печать) "Челюсть эмигранта"[26], все бездарное молчит или ругает. "Портативное"[27] сожгли, и "эмигранты" возмущаются, но ничего не делают ("Гринберги").

---

[*] To live up to (*англ.*) — жить согласно убеждениям.

Меня всегда поражали эти фигурки на картинках в медицинских фолиантах, снятых в клиниках Парижа, Вены, Лондона... Кто эти безымянные жертвы-герои с повязками на глазах, все, что оставившие на земле, это, может быть, память. О новой оригинальной трудной болезни (быть может, только для этого пришедших). Их крики в палатах Salpétrière или St. Luke[28], запахи уборной и рассвета, когда семья явилась к задним воротам получить тело для погребения... все это не ясно взору, а только видишь блестящую молящуюся картину с беспристрастием мнений и кривыми ногами, с отвисшей грудью или щитовидной железой, или пузом, надпись Zurich, Москва, Montpellier и такой-то год (fin de siècle — для них, во всяком случае).

11. 11

Опять потерял службу (Knickerbocker[29]). Что же это такое?

"Челюсть..." не вызывает никаких "мнений": точно я отрыгнул в гостиной и "балалаечники" делают вид, что не заметили. У Гринберга ругал Зензинова (В. о демократии).
[*На полях*]: О. Александр[30] не пришел на свидание.

Бой быков, тореадоры etc. Если бы бык на минуту усумнился в верности своих чувств и своего разума и, вместо того чтобы кидаться на красную тряпку (враг!), ударил бы влево (или направо) от нее, то от тореадора не осталось бы мокрого места... Так гений часто бьет по своей теме, не замечая более важного (жизни).

"Будущий историк... прочтет книгу Вишняка[31] с увлечением и великой для себя пользой. Жаль только, что нельзя передать ему несколько ее экземпляров, поля которых мы испещрили бы своими добавлениями, примечаниями, соображениями, выражениями, а то и "вопросительным крючком", как Онегин" (Адамович в "Русской мысли").
[*На полях*]: для этого надо Г. В. написать *свои* воспоминания.

После "отказа" со службы я не могу уже больше пройти в этот госпиталь и собирать вещи в операционной, как после разрыва с возлюбленной не могу больше пройти в спальню (то, что было рутиной и даже [пороком], становится запретным).

Так волосы (в парикмахерской) лежат "мертвые" на простыне: те же, да не те.

"Скандал" у Бриннера: глупый доклад Вишняка, и я назвал Милюкова[32] дураком (и Зензинова).

Условились с Шмеманом обедать в чешском ресторане (его инициатива, супруга его слышала и "должна" бы засвидетельствовать).

11. 14. 57

Прождал священника два часа в ресторане; поел утку, написал ему краткое письмецо. Не получил ответа. Ничего не понимаю (Священник).

Как на экзамене выпускном, студент вдруг натыкается на вопрос, который он хорошо знал в прошлые годы, но теперь "за ненадобностью" забыл и не в силах вспомнить... так человек на склоне лет не в силах проделать какое-то непреложное, вызванное обстановкой усилие, вспоминает, как оно ему легко и "ненужно" когда-то в прошлом давалось... (Но экзаменатор этим не смягчается...)

Dec. 7

Завтра статья Адамовича[33].

12. 12. 57

Писать — "Русский Париж"[34]?

12. 20

Когда снимают — рентген — и я зажимаю рот больному (чтобы не дышал), я сам задерживаю дыхание.

31 декабря — 1 января 1957 1958

Пусть новый год с собой несет... Вот бьют часы полночь... Седой, моложавый, одинокий человек сидит за столом и старается ответить

Было время, когда кругом него были лица женщин, детей, друзей. Как это случилось... где и когда его обошли (Аргонавты?).

1 января

(Встретили дома за рулеткой, № 23 три раза подряд вышло!). Насморк, простуда.

Человек, имея дома большой "капитал", легко и смеясь переносит тяготы жизни — говоря в ответ (на службе, сабвее, карьере) милую шутку, помогая и "отстраняясь" от страстей... Ибо он знает, что с этим капиталом скоро сможет уехать в Ниццу, никогда больше не горевать, ни от кого не зависеть. Сиречь положительный герой (роман). А "капитал" может оказаться фальшивым.

В синема видишь "знакомых" давно актеров — и, Боже мой, как они постарели! Проблема старения в современном обществе острее.

1/14 января Св. Василий Великий

Письма Пушкина: Державин писал по-татарски (а не по-русски); Расин не драматург.

Какая грязная штука старость.

2. 19

Жду — экзамена!

Если в яркий день взглянуть на окно, потом закрыть глаза, то запечатлеваются рамы, переплет потертой лестницы, ветви каштана... Так, если с восторгом взглянуть на жизнь, то отразятся мгновенно на сетчатке все бесчисленные линии, створки и переборки, которые можно смаковать потом — закрытыми, придавленными пятаками очами.

2. 21. 58

При обеде с Оденом вдруг в какую-то минуту посередине понимаешь, что *уже* то, чего ждал, так только в главном, уже пришло,

ничего больше (чрезвычайного) не будет и надо думать о завтрашних буднях, скованных законом причины и следствия... и это чувство я всегда вспоминаю, когда читаю долгожданную рецензию Адамовича; посередине понимаешь вдруг: *уже* больше ничего чрезвычайного не будет, и то, что ты так ждал, свершилось, слегка разочаровав, и надо снова заниматься жизнью в ее причинно-следственной цепи... (день рождения Одена).

3. 1

Удачные примеры именно того усилия, которое мы старались, но не смогли произвести — гений! И потому близок нам именно этот гений.

Приходя[т] Галя и Марго. Работал всю ночь! Негритяночка (морфий, сифилис) кинулась разнимать свою подругу с ее boy friend и схватилась голой рукой — нож!

3. 16

Plaza: туда и назад на той же площади (машиной), другая устремленность, нельзя "понять", что чувствовал по дороге *туда*.
Все лавки в воскресенье закрыты, и улица "страшная".
[На полях]: Вектор (зачем едем) человек — туда и человек назад — другие люди.

Барбара — входя в дом [*нрзб.*] *с озера* (ее подвезли на лодке), испытывает "странное" чувство (привыкла входить с дороги (автомобилем)). Странный лес, и озеро, и дорога, если *не* возвращаешься к дому по ним, а "идешь". Все эти *странные* ощущения (времени и пространства) нужны нам, потому что такие странные ситуации мы встречаем часто там, где нет пространства и другое время.
Ждем Одена.

Сказать, что человек любит самого себя, — абсурд! Предполагается, что он разделен (подсматривает за собой)! То, что любит и кого он любит, одно и нерасторжимо. Человек может любить (жалеть) постороннего (и иногда себя, если взглянет со стороны, извне. Но это выдумки). Но себя-то самого человек не может любить (тут что-

то другое) или ненавидеть? Личность и память? Душа без памяти? Или наоборот?

Пасха 1958

— numeration precedes punctuation*.
— бухгалтерия предшествует грамоте...
— собственность творчеству.

4. 14. 58

День рождения с Оденом и Изабеллой. От шампанского голова трещала весь следующий день.

4. 24

О собственной смерти нельзя выразиться в прошлом времени; о сне — в настоящем времени.

Заканчиваю теорию искусства.

Мир существует 10 биллионов лет, человечество — 10 тысяч. Вся цивилизация техническая развилась за последние 100-200 лет. Можно ли вообразить, что мы просуществуем еще биллион лет? Ведь мы тогда действительно будем ако боги. Нет, все вскоре полетит к черту (100-200 лет). Вселенная другой формы, чем мы себе представляем, и повернутая, вытянутая штопором: левое время от времени становится правым... и от деления не удваивается в количестве...

Бог пребывал до сотворения мира... чем Он занимался, что Он делал?.. Что Он теперь делает? Неужели занят только процессом вселенной? Или вообще не следует об этом думать, или следует понять раз и навсегда, что "Мировой" сектор в занятиях Бога только одна биллионная вообще его деятельности. (Всегда слишком *мало* уравнений.)

---

* Счет предшествует пунктуации (*англ.*)

Истина — это многоступенчатая ракета. (Истина достигается только при помощи многоступенчатой ракеты; направление может быть верно, путь "почти" пройден, но до последнего звена и правильного взрыва нельзя быть уверенным, что истина будет достигнута или освещена.)

Во время войны саперы строили "показную" переправу через реку (настоящий мост *под* уровнем воды строился украдкой в другом месте); вначале пробовали только делать вид, что строят, суетясь и подражая строительству, но опасность (бомбовозы) так взвинчивала нервы, что стало ясно, что показной мост можно продолжать строить (подвергая себя опасности бомб), только если строить его по-настоящему — вкладывая все усердие и сноровку мастерства — творчества...
Так и с произведением, которое пишешь по-русски, чтобы затем перевести его на английский: если не писать по-настоящему, то вообще не напишешь.

"Кончил" *Теорию искусства*.

5. 10

Факты, случившиеся в нашей семье, передаются мною и Броней[35] по-различному (и в то же время есть некоторая внутренняя общность). Это похоже на предмет, стоящий на столе, вокруг которого сидят люди и зарисовывают его: каждый видит под своим углом. Так что те "воспоминания" детства, которые воскрешал Пруст или Толстой,
1. объективно не существовали и в то же время.
2. они являются достоянием коллективного (семейного) сознания (оттуда могут быть зажжены) всех людей, "сидевших вокруг стола" в это время.

Психоанализ всей семьи может пригодиться в особенно тяжелом заболевании.

Как запах дорогих духов не должен совпадать с запахом определенных цветов (а является эссенцией запаха), так и произведение искусства не должно напоминать очевидность.

На открытке, присланной из Италии, виднелось маленькое романтическое голубое, суровое черное озеро, и сердце мое виновато сжалось... Почему? Неужели потому, что я не выполнил своего долга на этой земле и не посетил его?.. Оно ждет меня, именно меня?
[*На полях*]: Троица. Д-р Коган, Что-то будет. Пустой мешок устал, а все-таки — писать бы! (для кого?)

Июня 11-го, 1958

В дороге, в движении, на переходе, поезде, автобусе смотреть вперед — это активизм, героизм, драма... Смотрят назад поэтические, мягкие, сосредоточенные натуры, вперед — это эпос, назад — лирика.

[*На полях*]: Акварель[36].
Рассказ об аукционе: дураки, знающие "реальные" ценности, и вдруг новая иерархия (акварель) другого мира.

6. 22

Псалмы межпланетного полета — и молимся земному Богу (единственно реальному). Я тебя сотворил, я тебя возвеличил, я тебя убиваю и я тебя воскрешу. Ибо я тот, который животворит.

Из блокнота 1951 года 27 февраля
Апология зла: чтобы выжить, жизнь может себе все позволить, ибо жизнь — Бог, и без жизни ничего не будет (и Бога не будет, и добра, и света). Апология несвободы.

1 июля 1958

Роман "Чудо" — все в жизни чудо. Чудо — база всего существования и космоса, это ясно? А Бог тоже чудо. Без Бога нет чуда, без чуда нет Бога.

Пьеса "Паук" (или Паутина)[37].
Действующие лица сидят на паутине (попались в тенета). Паук в одном углу обсасывает жертву, а остальные "на досуге" беседуют о смысле, началах и концах, чуде, Боге, Дьяволе и т. д. В конце чудо,

быть может, осуществляется, и сам Паук, может быть, оказывается не лишенным некоторых диалектических добродетелей?

Он сидел против зеркала у парикмахера и вдруг увидел бледного моложаво-среднего возраста болезненно умного господина, бессознательно съежился, отстранился от этого постороннего (как всегда), испытывая даже жалость к нему (жизненную) и симпатию (что-то его как бы и привлекало — бывает же). И вдруг сообразил, что *это* он сам и есть в зеркале, и тогда вся жалость исчезла: образ слился с ним воедино, можно было бы сказать, что теперь не было больше жалости, а было *одно* — любовь, что ли. Любовь есть слияние, такое, когда нет *я* и *ты*; сказать, что *я тебя* люблю, абсурд. *Я тебя* могу только жалеть. В любви *я* и *ты* исчезают, становятся *одним* (или страдают от несовершенства). Поэтому сказать — *он себя любит* — абсурд; вообще разделение в человеке на объект и субъект, выражающееся часто в нашей речи: "он заметил в себе... он подумал о себе... он себя порицал и т. д... — сплошной абсурд, созданный для удобства обозначения какого-то процесса (биологического, психологического), но не соответствующего непосредственно никакой реальности. Человек не может подглядывать в щелочку за собой, потому что то, за чем он подглядывает и чем он подглядывает, и щелочка сама, это все тоже *он*. Человек может познавать себя, но это все происходит другим путем (слияния любви). Любовь есть знание, знание дает любовь. Пока есть *я* и *ты*, возможна идентификация и жалость, но не любовь.

[*На полях*]: "Истину нашел внутри себя" — ложь, ибо и тот, кто нашел ее, и процесс нахождения является тоже нутром. И наоборот, та внутренняя истина является также частью того, кто ее ищет. Мы научились *делить* человека пополам, но это не соответствует реальности и даже больше: уже невыгодно (биологически)[37].

7. 7. 58

Раз человек не может разделиться: сам на себя посмотреть, подумать о себе как о другом (ибо тот, кто думает о "себе" и о чем он думает, есть тоже неотъемлемая часть себя...), то и весь мир может

быть тоже часть "я" человека, и он не может, не должен смотреть на него как на постороннее тело (путать мир и себя можно, но не отделяясь, отстраняясь). Поэтому мне кажется, что после смерти человека мир меняется, не остается все тем же самым: не один человек умер, а целый мир (его мир?). И в мире, где торжествует любовь, так и получается непременно!
[*На полях*]: Любить самого себя нельзя, ибо любовь — единство, а не разделение, поэтому люби ближнего, как самого себя, — чушь, за которой нет реальности, хотя и взято это для удобства выражения, в основном, верной интуиции, но выражено беспомощно и лживо.

Тот факт, что сообщения из потустороннего мира сюда так редки или вообще исключены, только подтверждает существование потустороннего (иначе это бы не было потусторонним — вот диалектика). Хотя возможно, что потустороннее постоянно проникает сюда только в форме неожиданной для нашего тупо-упрямого мышления, оно присутствует всегда, повсюду, но только нами не признается за таковое, потому что мы себе создали превратное мнение о потустороннем (как гоголевские дамы о светских приличиях).

Летом вдруг свернул на боковую улочку в незнакомой части Нью-Йорка, и там лежит почерневший, пористый, застарелый снег[38].

Век испытаний, экзаменов, исследований (tests), цифр-отметок! (ярлыков).

7. 9

Истиной нельзя обладать, как имуществом, истина подобна вазону или дереву: если ухаживать за ним, поливать, покрывать, оно будет развиваться и приносить плоды — иначе завянет, засохнет, умрет (любовь женщины тоже?).

7. 31. 58

Роман о личности[39]. Человек подъезжает к деревне: незнакомой, в глуши, в горах; там его встречает женщина у околицы — как мужа.

Оказывается, они еще живы (есть ребенок). Он ничего не понимает... (он проездом, страховой агент).

Деревня образцовая, музейная, в New England, на манер деревень 200 лет тому назад. Он встречается с мудрецом села, который ему объясняет, что нет никакой разницы, это ли его семья (или там, позади, другая); нет разницы между отдельными личностями: они все испытывают то же самое в решительные минуты жизни... Есть только одна личность, проявляющаяся во многих, как солнце в каждой капле воды.

Другой роман: житие святого Вернаила (вымышленный, идеальный святой, положительный тип), чудо жизни, природы творения.

На взморье, отмели, между океаном и пустыней играли дети, креветки, сигали кулички, стояли цветные зонтики и гуляли самки и самцы; там когда-то началась жизнь: на отмели между океаном и пустыней (или тайгой) — сандвич! Выброшенная из волны рыба или crustacé* отдавалось назад прибойной волне, пока один или одна не рискнула: не отползла дальше, выше по песку под солнцем: о, первый Колумб, Галилей, Коперник, Линдберг, вам не надо было переплывать океан, останавливать движение солнца вокруг земли... ваша задача была тяжелей — отползти два шага от прибойной волны и остаться на ночь на суше... Гениальные предки наши, слава вам, но почему вы это сделали? Классовая борьба объясняет только маленький сектор в микроскопической полоске времени. Какая пошлость Маркс, и Фрейд, и Дарвин, и Павлов. Какие тупицы могли прожить всю жизнь и объяснить ее всю четырьмя правилами арифметики...[40]

8. 11. 58

Осел-богоносец (об ослике, которому кричали: Осанна! и что с ним дальше было).

8. 20

Почему мне не написать "Дневник анестетиста": потому что в результате, вероятно, лишусь работы.

---

* Ракообразное (*франц.*).

9. 23. 58

Среда (еврейский праздник?), кончил "Акварель", летом работал с Альпиным, а вернувшись, он меня безжалостно (как сказал Раднэй[41]) выбросил — не дал ни одного дня передышки. Господи, смилуйся над миром анестетистов.

9. 30

Рассказ о бунте зверей, посадивших людей в их клетки, а сами разгуливающие на свободе (по Zoo или городу). Интересные карикатуры. (Для детей?)[42]
"Доктор Живаго" скучен и провинциален (как искусство); под Дос-Пассоса.

10. 3. 58

Людям свойственно думать: факт, что из потустороннего мира "редко" что и кто проскальзывает сюда, доказывает, пожалуй, отсутствие другой реальности; на самом деле все обстоит как раз наоборот: если бы переход из одного мира в другой (и назад) осуществлялся легко и часто, то это бы доказывало, скорее, отсутствие потустороннего — диалектика потустороннего в том, что оно непроницаемо для этой здешней реальности... Так, если бы анатомист нашел душу в теле человека, то это бы доказало отсутствие души (и всего связанного с ней).

Теория модернизации и окисления приложима не только к винам (белое и красное), но и ко всем мировым процессам мысли и чувств: одно превращается в воду, другое в уксус (любовь, религия)... И беря глоток вина, превратившегося в воду или уксус, трудно стать на историческую точку зрения, рассуждая: 20 лет тому назад этот художник или учитель были полны авангардного творческого стимула.

10. 5. 58

Мой роман о личности[43] (или потере ее — внешней). В темноте едет на машине, лес, вечер, лето... Где я? Как попасть в St. James? Заблудился. Ему говорят: через 5 миль городок (незнакомый), где вы

можете заночевать. Там на площади его встречает с распростертыми руками женщина, называет своим мужем и уводит в дом, спят (и рядом ребенок). Он знает и помнит свое прошлое, в котором ни ее, ни этого городка нет. Но что такое знание и память — достаточно ли это... Те уверяют, что амнезия. Он целует ее и счастлив. Эмигрант, его никто, по существу, не ждет. Но все же кто я? На самом деле? А какая разница, ведь счастлив! Нет, есть разница — что если они меня обманывают? Значит, обман мешает счастью? Обманное счастье? Неужели лучше истинное горе и нужда?

Быт городка, затерянного в лесу, люди странные, отсталые, все с каким-то бельмом на судьбе или с "прошлым"; странные игры: "хочешь, я сделаю так, что ты был в прошлом моим мужем, а не ее: еще амнезию!" — говорит, хохоча, старушка у кузницы. Смысл романа, по-видимому, должен подчеркнуть значение личности и выявить ее тайну: с чем она связана и, главное, с чем отнюдь никак не связана, хотя и кажется наоборот.

Обезьяны более зрелы, чем человек; и все, что в человеке зрелое, вполне становится обезьяньим (especе, особь, род, племя). Все несчастья в maturity*; безумие креста не безумие только для детей. Будьте, как дети (а не mature — Freud). За месяца два *до* рождения у шимпанзе *нет* волос на теле, и они светлые: они переросли? (и остановились). Человек — ребенок и продолжает расти.

Суверенитет наций в настоящее время абсурд и предел реакции. Со всеми современными бомбами не может быть суверенитета наций, как не может быть авторитета одного мира, решающего бросить эту бомбу. Но какие формы практически возможны с независимостью государства, внутренней независимости, культурной или бытовой?

Благодаря кинематографу видишь рост, зрелость, старость (никчемную) героя — не в одном произведении, когда они этого желают, а во всей своей жизни, борясь против этого. Я говорю о часто наблюдаемом нами теперь явлении — перезревании старости и от-

---

* Зрелость (*англ.*).

мирании любимых актеров, актрис Холливуда. Когда-то актеры театра тоже старели, но обстановка, освещение были другие. И Сара Бернар не выглядела смешной и страшной в свои последние годы на сцене. Это новое явление, связанное с техникой кинематографа, воспитывает в нас чувство, которое раньше редко возникало в связи с болезнями и смертью близких нам родных.

Взрывы вокруг корабля должны были отколоть лед, не повредив бортов судна; так, лекарство антисептическое должно убить микроорганизмы, не задев клеток тела.

Тихие лица и глаза карточных королей, дам, валетов (выдающие их происхождение — из таро); как будто все, что они делают, происходит в мире теней, и память об этом мире теней заглушает весь остальной житейский интерес и страх.

10. 28

Новый Папа (Иоанн) избран. Статья Степуна в "Новом Журнале"[44] (чушь).

В мире теней нет теней.

Вспомнил случайно руссачка, жившего под моей клиникой в Париже, и вдруг увидел, что он похож на Сергея[45], — что-то по-новому подало мне вдруг и его (бумерангом), и Сергея (преображение осуществилось и бывшее изменилось?).

11. 20

Оден написал стих о том, что человек, идущий *назад*, не тот же, который шел *туда*. Изабелла сказала, что это моя любимая мысль (Queens Plaza — но почему это чувство?). О. сказал, потому что человек *выполнил* какую-то работу — он другой. Я думаю (вдруг понял), что дело в направлении — вектор: человек всякий раз туда другой, чем назад (на том же месте — остановясь во времени — направление решает). Вектор во времени то же, что и в физике. Сила, скорость плюс *направление*.

|*На полях*|: (И то, что невозможно или непонятно, или недопустимо на одном материале — туманном пятне времени, может стать ясным, даже банальным, на другом. Следующее: важно не потерять сознание всего через сеть туманных пятен.)

Как океан отделяет сушу (материки, острова, образования), так и во времени может быть нечто, отделяющее историю "друг от друга", на манер вечного океана неизмеримого (как туманные пятна, время оторвано "друг от друга" аморфным "эфиром"), а вопрос о временном и вечном усложняется (так может быть бесконечность конечных закрытых, отделенных, отсеченных миров и историй).

11. 29. 58

Мы стараемся не заразить, засорить пространственные миры и, посылая туда ракеты, стерилизуем все приборы и части. А как же насчет ненависти, ревности, лжи, похоти и прочих отходов грехопадения? Их мы тоже должны сперва очистить, прежде чем отправить на небесные тела свои колонии. (Вообразить посаженные нами деревья, впервые разбитый фруктовый сад на Марсе или Венере — вот это Божье дело: заселить и вспахать вселенную. А нам говорят, Хрущев, китайцы, южные демократы.)

Так пилот ракетного самолета берется за руль маленького форда после перелета, отправляясь к себе домой; он говорит жене: как это ты не боишься править этой штукой на запруженных дорогах — не пойму!

Из романа "Евгений"[46] узнает "свое" прошлое, и детство, и подвиги (о которых он тщетно мечтал раньше) и собирает их и счастлив. Он даже совершает один подвиг, что ему доказывает, что он только случайно не оказался обладателем хорошей биографии... Теперь он видит, как случайно многое кровное и "личное" его и как легко он мог бы присвоить себе другое (не меняя личности?).

Бессмертие машины (или мотора) почти уже достигнуто.

Люди в межпланетном пространстве "оторваны" от земли в смысле даже тяготения: все процессы изменены, чувства, восприятия, ощущения себя, своих глубоких органов отпадает (человек по существу парализован (некрозирован отчасти?)), что происходит с его личностью?? (a spinal anesthesia?) Что происходит с *личностью* во сне? Какова роль сознания, и какого сознания: всякого?

Мое доказательство того, что смерть существовала до грехопадения нашего Адама, до появления организованных животных, — меловые отложения свидетельствуют о смерти сонмов моллюсков и crustasea в продолжение миллионов лет.

Мир насекомых существовал 200 миллионов лет до появления человека; тоже янтарь тогда образовался: текучая смола... Эта смола расползалась и иногда заливала муравья или другое насекомое, которое и сохранилось для нас в музеях больших столиц, свидетельствуя о своей реальной жизни и агонии до Адама...

Единственный выход — это допустить, что подлинное грехопадение совершилось когда-то раньше, миллиард лет тому назад — до появления creature и муравьев, оставивших следы своей смерти. То есть речь идет об одной Книге Предбытия, утерянной или ненаписанной[47].

Выходя из дома, где мы все вместе провели вечер на "party", и, съезжая вниз в лифте, чувствуешь что-то неестественное и возмутительное: вот люди, которых целый вечер воспринимал как друзей, и сейчас мы все отчужденно разбежимся, как незнакомые, и многие при встрече потом даже не раскланяются (англосаксы).

Как я лежу бездарный, как камень, тщась выжать из себя хоть одну мысль или одно чувство, способное привести к писанию или творчеству. Я совершенно не понимаю, как это я мог написать в прошлом и то, и то, и то (которые тоже развивались таким же образом из состояния "камня"), и мне кажется, что то, то и то были написаны *другим* человеком (но когда-нибудь камень не удастся уже сдвинуть, и он останется бездарным грузом навсегда).

Собаки, гончие ищейки, весело бегут за вырвавшимся на волю "каторжником", и, не ведая, что творят, испытывают (судя по оживле-

нию, блеску и сиянию) творческий порыв. Творчество, игра сами по себе не добро и не зло, а есть еще какой-то критерий — разум, что ли, или общее соотношение частей в мироздании. Иначе можно назвать гончую, схватившую за горло героя беглеца (вынюхавшую его в речных камышах), утонченным художником.

Он озирался вокруг себя в жизни, как оглядывается переселенец, усевшийся на последний завязанный чемодан в опустевшей квартире, дожидаясь извозчика, чтобы ехать на вокзал.

К роману.
В городке все пытаются разговорами помочь герою (Евгений) вспомнить свое прошлое: род общественной игры (или психоанализ).

"Потеряв" свою личность в городке, он, как ни странно, впервые за всю жизнь свою реализует, проявляет свое "я" вовне с наибольшей полнотой и удовлетворенностью (становится, наконец, почти героем и добрым гражданином, и отцом, и семьянином, и писателем, и пастором — почти святым лидером общины)[48].

Как в пасьянсе, когда потом видишь, что секрет удачи заключался в том, чтобы раскрыть не эту карту, а вон ту, другую (и это было легко сделать).

К роману.
Как человек, лишившийся руки или ноги, скулит и думает, что все счастье и основа в том, чтобы иметь две ноги (или руки), и не может забыть, примириться, отказаться... А человеку здоровому ясно, что не в этом "суть", и атлет может даже принести в жертву эти свои члены и не только не стать беднее и хуже и несчастливее, а наоборот... так и с личностью. Ничтожество все боится потерять свою личность, а атлет личности, отказываясь от нее, только больше утверждает себя. Что есть личность?

12. 13. 58

Phantom pain, фантомная боль, полно, так ли она фантомна, не нормально ли для человека, которого отрезали от космического и

божественного, испытывать недомогание и "воображаемую" скорбь — не разумная ли это память и реальность[49].

И миллионы дней нашей культуры versus 200 миллионов лет термитов и муравьев. Если мы просуществуем еще тысячу лет (принимая во внимание геометрическую пропорцию нашего технического развития), то все станет нам доступным и все необратимые процессы ликвидируются. Но не значит ли это, что опасность нашего уничтожения и прекращения тоже возрастает. А ведь были уже такие комбинации и, очевидно, кончались апокалипсисом (иначе они бы до нас дошли победителями).

Боль и наслаждение не противоположности, а последующие грани на той же "полке" (frequency band*): начинаешь раздражать — наслаждение, дальше страдание (в каждой боли поэтому есть элемент удовольствия)... то это тьма и свет, добро и зло. Это все развитие одной темы, а не два начала, два полюса. Как гамма распадается на семь нот, как свет спектрально расщепляется на семь цветов радуги (находясь в одном и том же начале), так все мнимые противоположности мира имеют своим источником *одно*. Так побеждают дуализм и гегельянство. Надо выбирать между добром и злом, как находить брод чрез бурную реку — но полярности здесь нет. И дьявол не противоположность Богу, а только отпавшая, размагниченная часть. И антихрист борется с Христом, уничтожает Христа и поэтому должен содержать в себе полосу Христа, находясь по ту или по эту сторону логоса.

Нам надо различать добро от зла, но они не более различны, чем низкая температура и высокая (это все одно тепло до абсолютного нуля — а там уже другое исчисление).

Ряд символов, сравнений, понятий, описаний мы приняли потому, что они легче всего и быстрее служат практической ориентации человека на земле (его сознания, его души), а не потому, что они

---

* Диапазон частоты (*англ.*).

вернее всего и ближе всего подходят к истине... Поэтому очень часто именно такие впечатления и замечания, которые кажутся "ни к чему", не имеющими практического значения, именно они подходят ближе всего к сути действительности вселенной. Короче говоря, практические мысли и чувства, имеющие, казалось бы, применение, больше всего абстрактны, идеалистичны, схематичны, а истина необычна и никчемна на первый взгляд (так она познается).

Перед неприличным поведением другого относительно боли горделивое сознание: подожди, я тебе покажу, как надо вести себя в агонии... (бессознательно).

Так, древний автор упоминает насмешливо о теории какого-то еще более раннего ученого, критикуя ее злостно, не зная, что оказывает этим решающую услугу своему врагу, ибо все, что сохранится в будущем от оспариваемой им проблемы, это именно несколько строк его настоящей критики, увековечивающей его тем самым.

Оторваться от врага, перегруппировать силы, собрать в одном месте кулак и ударить и прорвать... Но жизнь не давала оторваться от себя, повседневная жизнь и ее заботы быта — врагом, настигающим его по пятам, и он отступал с тяжелыми арьергардными боями. Жизнь была источником его сил и вдохновительницей всех возможных прорывов, и она же была врагом: есть две жизни.

22 декабря 1958

Есть два центра во всем; круг — очень редкое явление в природе; гораздо чаще встречается, таинственнее устроено и больше объясняет природа эллипса. В одном фокусе Бог, человек, идея, мир, и этот фокус — у всех может быть общий; а другой фокус не только различный, но даже выброшен в чуждые сферы или, вернее, измерения[50]

Отец Питера[51]: тело живо, а личности уже нет; где же личность? (И наоборот, парализованные "насквозь" — личность та же или почти та же.)

О Елке.
В каждом доме своя елка (ежегодно возрождаются те же черты) — как мухи или хлеб (когда пекли).

Как выбирают елку (дети, собаки), привозят в дом, и она из покупной становится членом семьи, нарядным, загадочным, пришедшим из ночи и снега.

Потом выбрасывают на улицу почерневшие трупы ночью, чтобы никто не видел (особенно больно, когда преступники выбрасывают ее уже 1-го днем: там, очевидно, нет детей или поссорились).

1. Кантора[52] сравнения бесконечностей...
2. Об отеле с бесконечным числом комнат (у отца моего обителей много).
3. Мир Кантора и Кафки?

Рождество 1958

Один из пастухов, устроивших Богородицу в хлеве и принявший Дитя и видевший поклонение волхвов, 33 года спустя, приехав в Иерусалим продать сыр и запастись солью и спичками, застрял из-за распутицы на Пасху и видел, как вели на Голгофу преступника и как плакала Мать Его и близкие, — но мог ли он догадаться о своей доли участия и о смысле, открывавшемся тут..

"Они не ведают, что творят" — поэтому не судите их, они не ответственны, они как царства животных и растений — неведающих. Весь процесс истории и религии — это вопрос сознания. Без сознания святость или грех почти одинаково неубедительны — во всяком случае — после изгнания из рая.

Художественный, творческий человек не может "планировать" свое будущее (отсюда отсутствие секюрите* тоже?). Он занят твочеством, и это главное его благополучие, а остальное отомрет.

---

* Sécurité (*франц.*) — обеспечение, гарантия.

Все наши документы — апокрифы, но даже благодаря апокрифу можно узнать часто долю истины и открыть если не западный путь в Индию, так Америку (или Вест-Индию).

12. 31. 58. Перед Новым годом

Когда бросают с истребителя глубинные бомбы и смотришь одновременно в кино, как прижимается ко дну стихшая подлодка... ясно, куда надо направить удар, и ясно, что истребитель исходит из ложной теории, следует ложной системе и поэтому никак не попадает! Если бы та система его была верна, он бы, конечно, попал, но и если бы он отказался от этой ложной линии и разбросал удары, он тоже мог бы попасть (ибо отсутствие системы есть отдельные точки многих неначертанных систем).

1. 6. 59. Сочельник

Царство Божие подобно "первому" занавесу! После спектакля под гром аплодисментов у рампы выстраиваются с блаженными лицами, изнеможенно улыбаясь и держась за руки дружно, — убийца и убиенный, преступник черт и святой, инженю и [*нрзб.*], резонер и первый любовник; причем оказывается, что подлец не такой уж и подлец (какая у него в "действительности" умная улыбка), и романтик совсем уже не так бескорыстен и воспламенен (как он манерно кланяется в сторону девиц).

Но больше удовольствия ему доставляло чтение некрологов на последней странице Times, разглядывание фотографий удачных, богатых, достигших славы и власти людей и закончивших, наконец, свое поприще. Что-то в этом действовало на него успокаивающе и удовлетворяюще.

В романе отдельные куски писать на "мы" (для персоны), показывая наглядно, что различие не то, что общепризнано, — между личностью и остальными (точки на той же линии; не противопоставление).

В каждом празднике или воскресенье есть такой момент вечером (или даже в сумерки), когда вдруг становится ясно, что воскресенье прошло и надо привести все в порядок, подтянуться, выспаться, чтобы завтра побежать на работу (на жизнь).

Настоящее — фикция (есть только будущее и прошлое) — реальность — фикция: есть только фантазия и воспроизведение.

От библиотекарши города Н. Й. отказ купить экземпляр "Челюсти эмигранта" after careful examination*. Подпись Mary E. Neubert (truly yours**).

Принцип *волны* развить на психическую и физиологическую жизнь. Свет расходится волнами, звук. Но принцип волны — дрожание: не сама вода добегает до берега (когда следишь за волной), и изгиб этот передается... Так мысль через *поколения* не принадлежит *этому* поколению...

Эллипс имеет два центра. И боги, и мир родственны этому принципу. Быть эгоистичным ничего не означает: какой центр? (О темном центре внутри Бога)[53].

1. 24. 59

Роман. Всюду в жизни раскрыть скобки (и перевернутые знаки на обратные) — тогда трудные, неразрешимые тысячелетние проблемы, быть может, получат новое освещение.

Естественный порядок поддерживался Христом: зерну *надлежит* умереть, чтобы принести плод (или же оно останется одно)... но — воскреснув?

2. 2. 59

[*На полях*]: годовщина смерти папы (1941)[54].

---

* После тщательной проверки (*англ.*).

** Преданная вам (*англ.*).

Роман. Через окно гаража он видел площадь, помет и скуку селенья. А если бы сейчас там через деревянный мостик прошла бы Беатриче? Или Павел прошествовал бы? Значит, от меня зависит сделать это мгновение (историческое) и место великим, единственным, ярким, завидным для потомков: стоит только подумать, почувствовать или сделать что-то великое, глубокое, яркое, прорваться в действительность и сделать ее реальностью (описать ее).

Надоел Пастернак (что-то омерзительное в этом субъекте).

Роман. Личность устанавливается, познается Богом — ее взаимоотношением к Свету. (Личность и творчество — синонимы.) Свет истины, реальности, взаимоотношений, измерений и т. д. Всякое творчество выражает личность: ибо творчество есть новый, свой вклад. Без творчества нет личного.

А как же коллективное творчество или незаметное, житейское? Творчество остается фактом, даже если оно анонимно. Анонимная личность! Церковь анонимных личностей. Каждый человек аноним, ибо в Книге Жизни он записан (если записан) под неожиданной графой.

Как есть активная смерть (творческая) и пассивная, активная жизнь и пассивная, так есть активное — воскресение (и пассивное). Лазарь — пример пассивного, на редкость нетворческого воскресения. (Хотя воскрешавший его являет пример чрезвычайной активной творческой жизни.)

Согласно апокрифу, не Иуда предал Христа, а Лазарь (какая достоевщина).

Каждый человек, как дерево во многих планах, он простирается в разные измерения.

1959, март

Есть "аристократы", которые всю жизнь просиживают и путешествуют по 1-му классу; но есть эфемерные аристократы, которые калифы на час; в поезде захватили лучшее место, в театре случайно

получили удобные кресла... Они оглядываются кругом с сознанием собственного счастья, не совсем сознавая, что их привилегии закончатся с этим проездом или концертом.

Я записываю — и впервые в жизни глубокое чувство никчемности всего этого... Что делать писателю, дошедшему до этого, русскому эмигранту, стыдящемуся России, без читателя, без языка и без церкви?
Преступников и ходатаев за преступников постигает почти та же участь.

3. 15. 59

Хочется писать — с большим дыханием.

К роману против разума и "интуиции".
О еврейской девственнице, которая 9 месяцев носила в чреве своем хлеб и вино вечной жизни... (Это ли не безумие? Или детский лепет.)

Личность — это сознание минус память (без ассоциаций).

3. 28. 59

Пасха Западная — Христос воскрешающий. Помоги мне выйти из плена. Помоги...

Пасха. Причащался. St. John the Divine[55].
Писать!? Издатели, подобно морю, выбрасывают назад как рухлядь все мои "творения".

Отстраняюсь, сдаюсь. Но не проклинаю. Век радиации (потом придет сияние?) Или ее надо преобразить из радиации к Сиянию. Бог есть свет — радиация — сияние?

Церковь напоминает матку средневековой девственницы (где выгреваемся 999 лет мы — хлеб и вино вечности).

1 апреля

Написать "Происхождение Species" наоборот: т. е. не обстановка и материя действовали на них, а творческий порыв élan vital[56] или вдохновение!

Бог познает нас и узнает в потустороннем мире: мы для Него и Он для нас уникальны... *Через Него*, может быть, мы встретим всех других людей (и существа). Личность не простая единица, а взаимоотношение (как в математике). Личность соборна?

4. 7

По существу "полиция" мне дала пример того, как трудно доказать *кто ты такой* — идентифицировать или определить свою личность. К роману: (ни разу не молился, так был уверен в своей правоте... а в *том* плане?).

Никто не удивляется, что "добрые дела" или "святые деяния" не "оплачиваются": доброе, хорошее, бескорыстное, святое поругаемо в ответ, живет в нужде и лишениях (посмотрите, как он худ и бледен). Почему же удивляться, что художник, творящий истинное искусство (некоммерческое), страдает так же (посмотрите, как он глуп и неизвестен).

Пилотов, тренируемых для межпланетных полетов, после пертурбаций в испытательных камерах спрашивают: — кто вы такой... идентифицируйте себя (зная, как это будет трудно делать под другими небесами).

4. 14. 59

Подарок мне от Ангела: пациент Т. А. не умер (а чуть!).
Благословляю день моего рождения. Думаю о дне конца. И клянусь не сдаваться... Оторваться от врага, перегруппировать силы и снова ударить, чтобы выйти из окружения. (Мы окружены ночью и демонами?) Клянусь писать: плохо, по чайной ложке, но продолжаааать (так! — *В. К*). Господь, Творец мой (53 года тому назад?), помоги мне помогать Тебе. Отец, Сын и Д. С.

Тайна весны и обновления — преображения, воскресения. — Кто объяснит? Никакие эндокринологии не исчерпают предмета.

4. 19

Снился мне папа: влез высоко на какую-то лестницу или кран в порту, кивнул мне (благодаря бородке похож на Розена) и, разбежавшись, как мальчишка, взмыл вверх, как птица, и, перевернувшись, начал падать вниз. Я стою с [*нрзб.*] и ничего не могу делать (не пробую даже).

5. 3

Русская Пасха. Был в церкви. Пока хор гремел "бубснцы", а Патриарх внимательно следил на капитанском мостике за маневром, притч бегал по закоулкам, осматривая, все ли на запоре, не протекает ли где мразь из потустороннего и хорошо ли идет подача благодати по установленным каналам, кадя и смазывая колесики и винтики... Люди слушали хор и думали, что в нем дело или в возгласе дьякона большой ектеньи, но тайна литургии совершалась в темных углах между непорочными святыми и дорожкою от алтаря к капитану подводного судна.

Церковь, как губка или звезда тропических морей, огромная и аморфная амеба, носилась по космическим волнам с открытыми красочными порами (фильтрами), банками, жабрами, питаясь и питая. Святая амеба в горестном соленом море. Кит Иона, проглотивший правых и неправых и везущий их к пристани, где Любовь.
— Постившие[ся] и непостившие[ся], возрадуйтесь днесь! Иоанн Златоуст.

К роману. Гаспар — "Мы" вспоминает, как он беседовал с аморфным отцом.
Мы на отмели у океана. Диалог:
— Ну как ты такой можешь вылезть на сушу, подняться на задние ноги. Жалко тебя. Настрадаешься... Сиди в соленой ванне.
— Ничего. Мы сделаем, раз надо, не надо нам бояться[57] (Вертикальная память[58] — История Земной Эволюции.

5. 13

Начал "Роман"[59]. Подвиг или глупость? Смысл?
"Большой" балет... Стыдно за Москву (старье, хамье тоже), стыдно за Нью-Йорк (аплодируют фокусам). Техника велика. Прелесть Уланова (целая институция, реликвия).

5. 23. 59

Матч тенниса. С кем борьба: с противником, тогда спорт — ничего духовного. С собой? Тогда это, как религия, искусство и прочее, ибо можно проиграть и быть великим: это дух, но если только пункты считаются, тогда духа нет. Ненависть, страх, жалость, ревность, зависть. И аплодисменты зрителей, глупой толпы: враги они!!! Целишься в себя!

Спасение животных в Родезии (затопляли острова). Лани отбивались от спасающих объятий, как от смерти, выражение лица: страшно попасть в руки бога живого. Змея мамбо сама подплыла к лодке и начала взбираться. Обезьянки на деревьях: изнемогающие падали в лодку, когда трясли ствол, но посильнее перепрыгивали (умницы — Ницше) на другую ветку... Это была их последняя надежда спастись; если б они знали, а не убегали еще.

10. 10. 59

[*На полях*]: Columbus Day совпадает с Кипуром, и я работаю (в кандалах). "Кончаю" версию романа.

Репетируя одно место, актриса убедилась, что надо играть "взаправду" все действие (или картину); так, строя камуфляжный мост под огнем, бойцы убедились, что надо строить "взаправду", иначе не выдержишь...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Повесть осталась неоконченной.

2. Руднев Вадим Викторович (1879-1940) — один из редакторов "Современных Записок".

Жена Руднева — Вера Ивановна.

Зензинов Владимир Михайлович (1880-1953) — прозаик, публицист. С 1919 г. в эмиграции. Печатался в "Современных Записках" и в "Новом Журнале", в создании которого принимал участие.

Фондаминский (Бунаков) Илья Исидорович (1880-1942) — публицист, один из создателей "Современных Записок". Издавал вместе с Г. П. Федотовым и Ф. А. Степуном журнал "Новый град", организовал объединение "Круг".

Федотов Георгий Петрович (1886-1951) — философ, историк, публицист.

3. Рассказ, вылившийся через несколько лет в роман. Не издавался.

4. Марго (Маргарита) Степун — сестра Ф. А. Степуна; Кузнецова Галина Николаевна (1902-1976) — поэтесса, прозаик, мемуаристка. В эмиграции жила во Франции. В 1949 году переехала в США. Автор сборника рассказов "Утро" (1930), романа "Пролог" (1933), сборника стихотворений "Оливковый сад" (1937), воспоминаний о Бунине "Грасский дневник". Марго и Галина были близкими друзьями семьи Яновских.

5. Собрания сотрудников религиозно-философского журнала The Third Hour проходили на квартире Е. А. Извольской, а позднее часто у А. Р. Небольсина. Журнал был основан, как пишет Яновский, публицистом Еленой Александровной Извольской, теософом и филантропом Ирмой Владимировной Манциарли, композитором Артуром Сергеевичем Лурье вместе с Яновским и при участии Н. Бердяева и адвоката Г. Небольсина. Журнал печатался на трех языках, его авторами были о. Александр Шмеман, В. Варшавский, Ю. Иваск, Н. Бердяев, А. Керенский, Ж. Маритэн, Анн Фремантл и др.

6. Оден Уистен Хью (Auden Wystan Hugh, 1907, Англия — 1973, Австрия) — выдающийся англо-американский поэт — друг В. С. и И. М. Яновских.

7. Браиловский Александр Яковлевич (1884-1958) — поэт, журналист, переводчик. В 1917 г. эмигрировал в Америку. Участник объединения русских писателей в Нью-Йорке, до 1955 г. печатался в "Новом Журнале".

8. Лева — муж Брониславы Семеновны, сестры В. Яновского, умер вскоре после операции.

9. Encounter — журнал, издававшийся в Лондоне (1953-1990). Вышло 75 номеров. Редакторы Stephen Spender и Irving Kristol.

10. Юрий Фельзен (Фрейденштейн Николай Бернгардович, 1894-1943) — писатель, автор романов "Обман", "Счастье", "Письма о Лермонтове". История издания последней книги такова: у Яновского была готова книга "Любовь вторая", а у Фельзена "Письма о Лермонтове", издателей же они не нашли. Тогда они решили организовать выставку зарубежных книг и там же подписку на будущие книги. "Мы решили действовать от имени Парижского объединения писателей и поэтов. И получили для этого соответствующие полномочия. Была создана Издательская коллегия в составе Фельзена и меня. Три книги, изданные в ближайшие два года и разосланные подписчикам, носили марку этой Коллегии" ("Поля Елисейские", с. 38).

Варшавский Владимир Сергеевич (1906-1977) — писатель, автор книги "Незамеченное поколение" (Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1956); много печатался в "Новом Журнале".

Газданов Гайто (Георгий) Иванович (1903-1971) — прозаик, литературный критик, автор девяти романов, из которых наиболее известные — "Вечер у Клэр" (Париж, 1930) и "Ночные дороги" (Нью-Йорк, 1952), 37 рассказов и многочисленных литературно-критических статей.

11. "Мои враги" (во сне). На самом деле Яновский очень дружил с Варшавским (прим. И. М. Яновской).

12. "Зубы эмигранта" — это повесть "Челюсть эмигранта", опубликованная в "Новом Журнале" (1957, № 49-50).

Карпович Михаил Михайлович (1888-1959) — профессор-историк, редактор "Нового Журнала" с 1946 по 1959 гг.

13. "...бой со слонимами" — Слоним Марк Львович (1894-1976) — публицист, литературный критик, переводчик. Из России уехал в 1919 г. Был одним из редакторов и ведущим литературным критиком "Воли России", журнала левого направления. "Отличительной чертой "Воли России" был ее подчеркнутый интерес к советской литературе... Журнал резко осуждал распространенное в некоторых кругах эмиграции пренебрежительное отношение к советской литературе... Отчасти это было отражением общей политической позиции "Воли России", ее ориентации на Советскую Россию и ее презрительного отношения к эмиграции как таковой" (Г. Струве. Русская литература в изгнании. YMCA-PRESS, Paris, 1984, сс. 64-65). В Америку М. Слоним переехал в 1941 г.

14. Отрывки из романа "Заложник" были напечатаны в "Новом Журнале" в №№ 60-64, 1960-1961.

15. Гринберг Роман Николаевич — один из редакторов литературного журнала "Опыты" (1953-1957), выходившего в Нью-Йорке. Под его редакцией вышло три номера. В "Опытах" Яновский опубликовал "Записки современника" (1953, 2).

16. Рассказ "Болезнь" напечатан в "Новом Журнале" (1956, № 44).

17. Chvostek's sign (Chvostek-Weiss sign). Франц Хвостек (1835-1884) — австрийский хирург.

18. Эта мысль постоянно варьируется в "Ереси нашего времени".

19. Ansi que (*франц.*) — так же, как. Этот прием сравнений Яновский заимствовал у Пруста, одного из его любимых писателей (прим. И. М. Яновской).

20. Чтобы иметь право работать врачом в США.

21. "Елисейские поля". Глава из книги *Воспоминаний* ("Воздушные пути", 1967, 5).

22. Напечатано в "Мостах" (1960, № 4) под названием "Пути искусства".

23. Бергсон, Анри (1859-1941) — французский философ. Идеи Бергсона влияли на творчество Яновского.

24. Рукопись о докторах в литературе, подготовленная по-английски, не была напечатана.

25. Изабелла Михайловна (1913), жена В. Яновского, родилась в Берлине. В 1940 г. эмигрировала в Америку, познакомилась с Яновским в 1943-м, переводчик нескольких книг Яновского, в том числе No Man's Time (N. Y., 1967), Of Light and Sounding Brass (Ересь нашего времени") (N. Y., 1972), Elysean Fields, a book of memory (Northern Illinois University Press, 1987) и др. многих рассказов. Подготовленный Яновским сборник рассказов на английском языке не был опубликован.

26. "Челюсть эмигранта" вышла отдельным изданием в 1957 г.

27. Роман "Портативное бессмертие" печатался в "Русских записках" (1938, 10; 1939, 15, 17), в "Новом Журнале" (1943, 6). Отдельным изданием вышел в Нью-Йорке в 1953. Ю. Иваск написал на эту книгу рецензию ("Новый Журнал", 1953, 33).

28. Больницы: Salpétrière — в Париже, St. Luke — в Нью-Йорке.

29. Knickerbocker — больница в Нью-Йорке.

30. О. Александр Шмеман (1921-1983) родился в Эстонии, в раннем детстве пе-

реехал во Францию. Учился в кадетском корпусе, в гимназии, во французском лицее, затем в университете. С 1940 по 1945 гг. учился в Свято-Сергиевском Православном богословском институте, затем в Сорбонне на классическом отделении. В 1946 г. принял сан священника. В 1951 г. он переехал в Америку и стал преподавать в Свято-Владимирской семинарии. С 1962 г. до своей кончины был деканом этой семинарии.

31. Вишняк Марк Вениаминович (1883-1975) — публицист, мемуарист, один из редакторов "Современных Записок", автор нескольких книг, в том числе двух мемуарных: "Современные записки". "Воспоминания редактора" (Bloomington, 1957) и "Годы эмиграции 1919-1969: Париж—Нью-Йорк" (Stanford, 1970) и множества статей в "Современных Записках", "Последних новостях", "Днях", "Новом Журнале" и др. Здесь речь идет о книге "Воспоминания редактора".

32. Милюков Павел Николаевич (1859-1943) — политический деятель, историк, лидер кадетской партии; с 1921 по 1940 гг. редактор ежедневной газеты "Последние новости" (Париж).

33. Г. Адамович написал рецензию на "Челюсть эмигранта". Напечатана в "Новом русском слове" 8 декабря 1957 г.

34. План мемуарной книги об эмигрантском Париже. Под названием "Поля Елисейские" впервые напечатана в журнале "Время и мы" (1979, №№ 37-39).

35. Броня — сестра Яновского.

36. Рассказ "Акварель" напечатан в журнале "Время и мы" (1995, 128).

37. Пьеса "Паук" (или "Паутина") написана по-английски под названием *Aranea Diadema. come to me.* Не опубликована.

38. Записи от 16 марта, 1 июля и 7 июля 1958 г. нашли отражение в романе "По ту сторону времени" ("Новый Журнал", №№ 168-169).

39. И. М. Яновская сообщила мне о замысле возникновения романа "По ту сторону времени": "Мы посетили селение Old Sturbridge Village в штате Массачусетс, недалеко от границы с Коннектикутом. Этого селения как будто не коснулся прогресс 20-го века. Это вдохновило Яновского на создание романа, действие которого происходит где-то в Канаде, недалеко от границы с Соединенными Штатами". Роман сначала был опубликован по-английски под названием No Man's Time, перевод И. М. Яновской (Левитиной) и Р. Парриса, предисловие У. Одена. По-русски напечатан в "Новом Журнале" в 1987-1988 гг. (№№ 166-170).

40. Эта запись позднее была переработана в монолог героя романа "По ту сторону времени" Бруно (другое его имя "мы") ("Новый Журнал", 1987, 167, сс. 13-14).

41. Раднэй — коллега В. Яновского, Альпин — его начальник.

42. Рассказ не был написан.

43. См. прим. 39.

44. Рецензия Ф. Степуна в "Новом Журнале" (1958, № 54, сс. 296-299) на книгу Яновского "Челюсть эмигранта", вышедшую в издательстве "Диалог", Нью-Йорк, 1957. Степун Федор Августович (1884-1965) — философ, публицист, беллетрист. В 1922 г. был выслан советским правительством за границу.

45. Сергей — первый муж И. М. Яновской.

46. Евгений — первоначальное имя главного героя романа "По ту сторону времени" Корнея—Конрада.

47. Эта мысль отражена в романе "По ту сторону времени" ("Новый Журнал", 1987, 167, сс. 39-42).

48. Записи, относящиеся к будущему роману "По ту сторону времени".

49. Эта запись использована в упомянутом выше романе (“Новый Журнал”, 1987, № 166, сс. 66-67).

50. Записи от 13 и 22 декабря 1958 г. прослеживаются в том же романе (“Новый Журнал”, 1987, № 167, сс. 17-19).

51. Отец Питера, друга Яновских. После инсульта.

52. Георг Кантор (3. 3. 1845, Петербург — 6. 1. 1918, Галле) — немецкий математик, разработал теорию бесконечных множеств и теорию трансфинитных чисел. Яновский восхищался математическими идеями Кантора. См.: “По ту сторону времени” (“Новый Журнал”, 1987, № 166, с. 64).

53. См. прим. 50.

54. Отец Яновского умер в Варшаве в 1941 г.

55. St. John the Divine — епископальный собор в Манхэттене.

56. L’élan vital (*франц.*) — жизненный порыв, название одного из разделов книги Бергсона *L’éevolution* créatrice (“Творческая эволюция”).

57. Гаспар — первоначально имя героя романа “По ту сторону времени” Бруно—”Мы”. Запись использована в этом романе (“Новый Журнал”, 1987, № 167, сс. 14-15).

58. В рецензии на “Челюсть эмигранта” (“Новый Журнал”, 1958, № 54) Ф. Степун писал: “Одною из самых существенных, любимых мыслей Яновского представляется мне делаемое им различие между двумя образами памяти: линейной, которая сохраняет лишь то, что свершалось во внешнем мире, и вертикальной, которая как бы “при вспышке молнии вспоминает очертания вырванных из второго мира предметов”. Это различие двух образов памяти связано у Яновского с двумя понятиями времени, подсказанными ему скорее всего Бергсоном (Temps)”. Идея вертикальной памяти находит место и в романе “По ту сторону времени”.

59. Между началом работы над романом “По ту сторону времени” и его окончанием прошло пять месяцев. Много записей из дневника так или иначе были использованы в романе.

Публикация и примечания Веры Крейд

Зинаида Гиппиус

ПИСЬМА К А. Л. БЕМУ

Последние годы жизни Зинаиды Гиппиус (1869-1945) после смерти мужа, Д. С. Мережковского (1865-1941), прошли почти в полном одиночестве и изоляции от остальной части русской эмиграции. Причина заключалась в том, что в сентябре 1941 года, незадолго до своей смерти, Мережковский выступил по немецкому радио с речью против Советского Союза[1]. Не было ничего удивительного в этом поступке, если припомнить непримиримую позицию по отношению к Советскому Союзу, которой Мережковские придерживались в течение всей своей жизни в эмиграции. Если вначале они прислушивались к Пилсудскому, а потом к Муссолини, в котором они видели спасение России, то вполне понятно и логично, что в конечном счете они дошли до Гитлера. Они почувствовали силу, которая могла бы победить Советский Союз и привести к освобождению их любимой России от звериного коммунизма. Вполне возможно, если Мережковский прожил бы дольше и узнал бы весь ужас нацистских преступлений, то полностью отверг бы фашизм.

После речи Мережковского многие в эмиграции отвернулись от него; это стало особенно ощутимо после его смерти. Литературный критик Альфред Людвигович Бем (1886-1945) был одним из немногих почитателей творчества Мережковского, который пытался помочь Гиппиус в трудные военные годы. Бем эмигрировал из России после революции и обосновался в 1922 году в Праге, где преподавал в Карловом университете. Бем много писал по истории русской литературы, особенно о Достоевском; принимал участие во всех главных эмигрантских журналах и газетах.

Из писем Гиппиус мы узнаем о ее планах и намерениях после ухода Дмитрия Сергеевича. Эти письма особенно важны, так как эпистолярное наследие Гиппиус за этот период почти не сохранилось.

Приношу благодарность работникам Литературного архива Музея национальной литературы в Праге за предоставление копий писем Гиппиус из архива Бема.

Ж. Шерон

1 bis Av. Du Colonel Bonnet
Paris 16e

1 сентября 1942

Многоуважаемый Альфред Людвигович,

Ваше письмо мне было дорого, особенно дорого. Я почувствовала в нем ваше глубокое и сердечное отношение к Д. С., к его кончине[2], а также и к моему горю. Кроме того, ведь вы были единственный, кажется, человек во всей эмиграции, строки которого мы оба всегда читали с абсолютным сочувствием и утверждением. Еще совсем недавно, когда один молодой друг наш[3] (один только он теперь и остался) спрашивал меня, мечтая о новой России, с кем могла бы я работать в каком-нибудь русском журнале или газете, — я назвала только вас одного — из всех, кого мы знали и даже не знали лично. Мне дорого и то, что в Праге все-таки вспомнили, несмотря на время и события, Дм. С. Мне казалось, что там у нас очень немного было друзей. Булгаков[4], о котором в последнее время мы ничего не знали, и Е. А. Ляцкий[5] — о его смерти я узнала только из вашего письма. Когда это случилось?[6] Д. С. умер тихо, без страданий и болезни, от разрыва артерии в мозгу. Несколько месяцев назад, в 40 году летом в Биаррице, он был очень болен, но поправился, только очень ослаб и от болезни, и от тяжелых обстоятельств нашей жизни[7]. С возвращением в Париж они еще утяжелились[8]. Он очень страдал от холода. Однако ни на один день он не прерывал работу, писал и накануне смерти. Выходил также каждый день, но опираясь на мою руку. Во время болезни и то работа не прерывалась: он оставил две законченные книги — St. Therese d'Avila и St. Jeau de la Croix ("Испанские мистики")[9]. Судя по вашему замечанию, вы знаете, как мы во всем решительно были связаны с Д. С. (ведь в 39 г. был день нашей золотой свадьбы, и в

течение всего этого времени мы не разлучались ни разу, ни на один день). Поэтому третья его книга, над которой он работал (Маленькая Тереза Lisieux)[10], оставшаяся чуть-чуть незаконченной, должна была бы быть мной просмотрена и завершена (он и начал ее по моим книгам, заметкам и т. д.) — но я ни на что до сих пор не имею силы; сугубо тяжелые материальные условия, в которых я живу, перенесенная зимой болезнь — все это внешнее, и не оно, конечно, препятствует моей работе, всему, что я *должна* еще сделать для Д. С., для его памяти[11]. Во внешнем меня угнетают только долги: ведь и на похороны его у нас не было денег, как теперь нет, чтобы поставить каменный крест. Но может быть, что все лучше, и "молчание" лучше, вы правы. Мне вспоминаются строчки его же давнего стихотворения: "Прекрасна только жертва неизвестная, — как тень хочу пройти, — и радостна да будет ноша крестная — мне на земном пути"[12].

Простите, что я так сама о своем, о нас. Но эмиграция парижская.. вы, я думаю, о многих знаете не меньше меня, о давно уехавших из Франции. Остальные, особенно наш кружок[13] более молодых как-то распылился. Я, по крайней мере, никого не вижу. Зайцев иногда бывает у меня, Шмелева не встречаю. Тэффи живет неподалеку, мы часто видаемся. О Бальмонте[14] слухи, что он не встает с постели. Здешняя недавняя русская газета[15] издается не для литературы, а для информации, что редактор, кажется, начал понимать. Может быть, вы хотите знать о ком-нибудь более определенно — скажите, я с удовольствием напишу вам, если буду знать. А пока, дорогой Альфред Людвигович, крепко жму вашу руку и еще раз благодарю за письмо.

Ваша *З. Гиппиус-Мережковская*

P. S. О тяжелой смерти Д. В. Философова в августе 40 г. вы, конечно, знаете[16].

11 bis Av. Du Colonel Bonnet
Paris 16e

27 апреля 1943

Дорогой и уважаемый Альфред Людвигович,

Как я была рада получить ваше доброе письмо. Спасибо вам за него и за ваши добрые намерения помочь мне. Официальные сертификаты посылаю вам, вы сами передадите их издателю. Первый — насчет полноты моих наследственных прав, второй — свидетельство о моем русском происхождении (евреям он не выдается, а я даже d'origine allemande[17], и мое арийство достаточно известно[18]). За некоторые книги, издаваемые в Испании, я получила гонорар, но из Италии, несмотря на то, что там книги Д. С-ча тоже издаются и что я об этом переписываюсь с нашим большим другом синьором A. Piccioli, занимающим важный пост и делом этих изданий очень интересующимся, я не могла еще получить авансов. Очень надеюсь, что документы, которые я посылаю, будут достаточны, и дело с чешским издателем устроится. Заранее и еще раз благодарю вас за ваш труд.

Я живу очень одиноко, с бывшим секретарем Д. С-ча, теперь моим, Вл. Ан. Злобиным[19], который ведает сложными делами моими, контрактами с издателями и, к счастью, больше меня во всем этом понимает. Он вместе с нами (и с покойным Дм. Вл. Философовым) уехал из России в 20-м году и с тех пор жил с нами. Единственная моя сестра, жившая в Париже, этой зимой внезапно скончалась[20]. Но не так давно я получила письмо от двух других моих сестер[21] — они оставались в России, и я считала их погибшими, тем более, что одна из них была сослана в Соловки. Они оказались в одном из оккупированных городов[22], очень довольны отношением к ним германцев, которые дали им возможность заниматься каждой по своей специальности (после 25 лет перерыва, как они пишут) и весьма интересуются их работами (живопись и скульптура). Письмо — по-немецки и посылается, пишут они, через немцев же. Когда я их увижу и увижу ли — Бог весть, но все-таки это чудо — была для меня радость. Больно только, что сестра Анна не дождалась этой вести. О ее смерти они еще не знают.

Ремизова я давно не видала. Но он, кажется, ничего. Ухаживает за Сер. Павловной[23], которая лежит недвижимо (неизвестно, чем больна) и требует много пищи. Зайцевых вижу чаще, они у меня бывают. Он очень похудел, занят переводом Данте — прозой[24]. Чаще всего вижу Тэффи, она живет близко, и мы видимся почти постоянно. Она с виду как всегда, не похудела, но у нее сердечная болезнь, и спазмы сердца нередки. К счастью, она живет в семье моей знакомой докторши, которая, чуть что, строго укладывает ее в постель. Вы спрашиваете об Осоргине. Мы почти не знали его. Умер он совсем недавно, в нашем же, кажется, году. А вот о H. Troyat[25] я бы хотела вам много написать, он вам глубоко благодарен и последний раз, когда он у меня был, он просил ваш адрес. Но напишу о нем после, когда вы мне ответите. А то письмо мое и так длинно. Скажу только, что книга его о Достоевском[26] — прекрасная книга, хорошо, что вы так много ему помогли.

Пока — до свиданья, крепко жму вашу руку и жду вести о получении этого письма. Дай Бог вам всего лучшего.

Ваша

З. Гиппиус-Мережковская

11 bis Av. Du Colonel Bonnet
Paris 16e

24 августа 1943

Дорогой Альфред Людвигович,

вот уже несколько дней, как у меня лежало начатое к вам письмо, но я вместо того, чтобы его кончить, предпочитаю начать новое. А раньше не написала я вам потому, что очень была больна, 3 недели лежала в постели и едва поправилась.

Если бы не благодетельные деньги из Праги, за которые я вам без конца благодарна, то я, может быть, и до сих пор была бы больна. Продолжалась бы моя слабость, она и до сих пор дает себя знать, несмотря на "усиленное" (сравнительно) питанье. Подумать уехать куда-нибудь на свежий воздух, хоть на 2 недели, — такие вещи мне недоступны, да многим из здешних жителей — тоже, или,

во всяком случае, трудно это очень, русским в особенности. Есть, впрочем, тут Эльяшевич[27], у него имение и он летом приглашает своих знакомых писателей поочередно гостить. Сейчас Зайцевы вернулись, поехала туда Тэффи, Лоллий[28], ждали П. Б. Струве, но он заболел. После смерти жены он, говорят, очень стал слаб. Я его не видала, знаю от Тэффи, встретившей его на панихиде по Милюкове, где я не была. Мои отношения с Милюковым перед войной были очень натянутые.

Мы с Дм. С. мало соприкасались с *общей* писательской средой, у нас была какая-то своя, другая, и в СПб., и в Париже. Сейчас она исчезла, "одних уж нет, а те далече"... Один только остался, мой друг № 1, как я говорю. Этого вижу постоянно. Кстати, он очень к вам привержен, часто о вас говорит, лично вас, кажется, не зная. Это — Виктор Андр. Мамченко[29], молодой б. белый моряк, здесь — маляр и поэт... стихов его я, впрочем, не понимаю. Он прелестный человек, очень религиозный, немножко буйный, т. е. бурный, и стихи его — единственное темное пятнышко на наших отношениях. О его печатной книге я в свое время писала[30], теперь проштудировала всю его "будущую" книгу и — несмотря на самую искреннюю к автору любовь (его и Д. С. любил) дала поэту отповедь суровую. М. б., я ошибаюсь, это другой вопрос, но *мое* мнение должно быть всегда высказано таким, каким оно есть. Если ваша дочь[31] этой критической перспективы не боится (надо ведь думать, что и я легко ошибаюсь) — то я буду рада прочесть ее стихи. Как-никак, опыт у меня в этих делах порядочный.

Я послала Troyat ваш адрес — надеюсь, что он вам уже написал? Он был очень рад адресу, а насчет книги о Достоевском — он сомневается, что его издатель сможет вам эту книгу послать, вернее — что вы сможете ее получить, т. к. книги трудно идут за границу.

Пятого сентября будет открытие памятника Д. С-чу на русском кладбище в St. Geneviève[32]. Памятник очень хороший, работы Альб. Бенуа[33], с врублевской иконой Троицы[34] в нише и с надписью "Да приидет Царствие Твое" — центр всего устремления духовного Д. С-ча. Памятник сооружен французскими издателями Дм. С-ча[35]; я, при моем положении, ничего бы не могла сделать, ведь и похоро-

ны-то, и первый деревянный крест — все это было *в долг*; многие не верили даже.

Кладбище очень хорошее, пейзаж совсем русский, поля, лес... Только ехать туда теперь не очень удобно.

А. М. Ремизова никто теперь часто не видит. Да ему следует очень отдохнуть, он намучился с Сер. Павловной, очень требовательной.

Вы спрашиваете об Алле Головиной[36]. Не имею понятия, где она. У нас она бывала редко, когда в Париж приезжала, я знала ближе ее брата, Штейгера[37], поэта, по-моему, "случайного", но очень *недурного*. Он сейчас, наверно, в Швейцарии, где и Алла, вероятно. Туда с письмом не добраться, думаю.

Как жаль, что я не знаю, где похоронен Дм. Влад. Философов и что сделалось с Вебер-Хирьяковой[38] и ее маленькой дочкой. Сам Хирьяков[39] умер скоро после Дм. Вл., а она будто бы еще раньше, в 39 г., покончила с собой. Ее письма ко мне (очень частые) весьма были мрачны в последнее время; а с осени 39 г. — совершенно прекратились. Но я считала, что это благодаря войне. И вдруг — такое известие.

Кажется, я ответила на все ваши вопросы, да и сама предложила несколько. А старый наш друг, прис<яжный> повер<енный> в СПб. — Андреевский[40], очень элегантный и стройный до дня смерти в 17-м году, — никак не соглашался быть "дедушкой". И многочисленным внукам его, детям старшей дочери, строго было приказано звать его "дядей". Так они и поступали. Ничто не мешает делать это и дочке вашего поэта, когда она начнет говорить. И, по-моему, "дядя" — красивее "дедушки", где требуется белая борода до пояса и костыль, один или два.

Вы как-то писали мне, что мой старый берлинский томик стихов[41] — очень современен. Я нашла его, — действительно! И тем более, что вообще в стихах все exageré (свойство стихов) — и вышло почти по мерке сегодняшнего дня.

Будьте здоровы, еще раз благодарю вас за труд для меня и очень буду рада получить еще весточку от вас (со стихами вашей дочери).

Крепко жму вашу руку.

Ваша *З. Гиппиус-Мережковская*

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь Мережковского недавно была напечатана. См. "Большевизм и чловечество". Посмертная статья Д. С. Мережковского". Публикация О. Королева [О. Коростелева]. "Независимая газета". 23 июня 1993, с. 5.

2. Дмитрий Сергеевич Мережковский умер 7 декабря 1941 года.

3. Скорее всего имеется в виду поэт Виктор Андреевич Мамченко (1901-1982).

4. Валентин Федорович Булгаков (1889-1966) — писатель и критик. Последний секретарь Л. Н. Толстого. Во время войны находился в немецком концентрационном лагере.

5. Евгений Александрович Ляцкий (1868-1942) — критик и историк литературы. Профессор русского языка и литературы Карлова университета в Праге. Возглавлял пражское русское издательство "Пламя" (1923-1925).

6. Е. А. Ляцкий умер 7 июля 1942 года.

7. Тэффи в своих воспоминаниях о Мережковских описывает их пребывание на юге Франции, в Биаррице, в 1940 и 1941 гг. См.: Н. Теффи "Зинаида Гиппиус". "Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. Мемуары". Составитель, автор предисловия и комментариев В. Крейд. М., 1994, сс. 129-138.

8. Мережковские вернулись окончательно из Биаррица в сентябре 1941 года.

9. "Испанские мистики" (под редакцией Т. Пахмусс) вышли только в 1988 году в Брюсселе (изд. "Жизнь с Богом").

10. "Маленькая Тереза" была впервые опубликована Т. Пахмусс в 1984 году (изд. "Эрмитаж").

11. После смерти Дмитрия Сергеевича Гиппиус начала писать его биографию, которую она так и не закончила; см.: З. Гиппиус-Мережковская. "Дмитрий Мережковский". Париж, YMCA Press, 1951.

12. Строки из стихотворения Мережковского "Изгнанники" (1893):

Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав Тебя врагом.

Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником
И, как волна морей,
Как туча в небе, одиноким странником,
И не иметь друзей.

Прекрасна только жертва неизвестная:
Как тень хочу пройти,
И сладостна да будет ноша крестная
Мне на земном пути.

13. Имеются в виду посетители литературного общества "Зеленая лампа" (1927-1939) и еженедельных "воскресений" Мережковских.

14. Последние годы жизни Бальмонта прошли в глубокой депрессии, которая серьезно повлияла на его умственные способности. Бальмонт умер в декабре 1942 года в старческом доме под Парижем.

15. По-видимому, газета "Парижский Вестник" (1942-1944), которая выходила в

оккупированном Париже при непосредственной поддержке немецких властей. См.: Г. Аронсон, "Парижский Вестник". Прогитлеровский орган на русском языке. (Опыт характеристики)", "Новый Журнал", 18, 1948, сс. 330-341.

16. Дмитрий Владимирович Философов (1872-1940) — критик и публицист. В свое время с Мережковскими организовал Религиозно-философские собрания в Петербурге (1901-1903 гг.). Уехал с Мережковскими из Советской России в 1919 году, но в отличие от Мережковских навсегда остался в Польше, где усердно занимался политикой. Умер в Отводске, недалеко от Кракова, 4 августа 1940 года. Философов был самой большой любовью в жизни Гиппиус.

17. Немецкого происхождения (*франц.*).

18. Отец Гиппиус был из немецкой семьи, проживавшей с XVI в. в России.

19. Владимир Ананьевич Злобин (1894-1968) — поэт, с 1919 года секретарь Мережковских.

20. Анна Николаевна Гиппиус (1872-1942) — врач. Автор жития "Святой Тихон Задонский. Епископ Воронежский и всей России чудотворец". Париж, YMCA Press [1927].

21. Сестры Гиппиус — Татьяна Николаевна Гиппиус (1877-1957) и Наталья Николаевна Гиппиус (1880-1963) жили вместе. Первая была книжным иллюстратором, вторая — скульптором.

22. До и после войны сестры Гиппиус жили в Новгороде, как вспоминал эмигрантский критик Борис Филиппов: "Там же [в Новгороде] после лагеря и ссылки проживали сестры Тата и Ната Гиппиус, милейшие старушки, достойно несшие бремя интеллигентской беспросветной нищеты" ("Новое русское слово", 19 января 1985).

23. Серафима Павловна Ремизова-Довгелло (1876— май 1943) — жена Ремизова, палеограф. О взаимоотношениях Гиппиус с Ремизовой-Довгелло см.: H. Lampi "Zinaida Hippius und S. P. Remizova-Dovgello". "Wiener Slawistischer Almanach". Bd. 1, 1978. Ss. 155-194.

24. В тяжелые годы своей жизни Зайцев переводил ритмической прозой дантовский "Ад" (издан в Париже в 1961 году).

25. Henri Troyat (настоящее имя — Л. А. Тарасов, р. 1911) — французский писатель, рожденный в России. Член французской Академии наук. Написал по-французски биографии девяти русских писателей.

26. H.Troyat "Dostoievsky", в серии "L'homme et son oeuvre". Paris: A. Fayard, 1940.

27. Василий Борисович Эльяшевич (1875-1956) — экономист, профессор петербургского Политехнического института. В эмиграции — преподаватель Русского отделения Парижского университета.

28. Лоллий Иванович Львов (1888-1968) — журналист, критик.

29. См. прим. 2. Мамченко выпустил семь сборников своих стихотворений.

30. На первый поэтический сборник Мамченко "Тяжелые птицы" (1936) Гиппиус написала рецензию. См.: "Современные Записки". № 61, 1936, сс. 466-468.

31. Ирина Альфредовна Бем (1916-1981) — поэтесса.

32. Чтобы отметить это событие, была выпущена брошюрка-памятка на французском языке, см.: "In Memoriam. Dmitry Merejkovsky, 1865-1941" (тираж — 110 экз.).

33. Альберт Александрович Бенуа (1888-1960) — архитектор, художник. Автор проекта кладбищенской церкви Успения Божьей Матери в Сент-Женевьев-де-Буа.

34. Наверное, речь идет о копии с одной из икон Врубеля в иконостасе Кирилловской церкви в Киеве.

35. Французские издатели Мережковского — Albin Michel, Editions Balzac, N. R. F. и Bernard Grasset.

36. Алла Сергеевна Головина (1909-1987) — поэтесса. Участница пражского литературного кружка "Скит поэтов", возглавляемого А. Бемом.

37. Анатолий Сергеевич Штейгер (1907-1944) — поэт.

38. Ефросинья Дмитриевна Хирьякова (1859-1940) — сотрудница варшавской газеты "За свободу".

39. Александр Модестович Хирьяков (1863-1940) — журналист.

40.Сергей Аркадьевич Андреевский (1847-1918) — поэт, критик, юрист. См.: Гиппиус З. "Обиженная душа. О блестящем адвокате, литераторе и поэте". "Сегодня", № 17, 1932.

41. З. Гиппиус. "Стихи. Дневник 1911-1921". Берлин, 1922.

Публикация и примечания Ж. Шерона,
Калифорния

Юрий Кашкаров
СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

Гроб из Луанды — Тем летом в Тарусе
Егорьевск — Муром — Касимов
Словеса царей и дней (князь Иван Хворостинин)
Зло — Исаакий и Евдокия
Афон

Цена книги $ 20.00, пересылка $ 1.50
Заказы направлять по адресу:
The New Review
611 Broadway, Suite 842
New York, NY 10012

Михаил Волин

ГИБЕЛЬ МОЛОДОЙ ЧУРАЕВКИ

Воспоминания

Для горсточки литераторов-дальневосточников, чудом спасшихся от маоцзедуновского коммунизма, печальным оказался май 1997 года: на разных концах планеты закончили свой земной путь Ольга Алексеевна Скопиченко (в Калифорнии) и Михаил Николаевич Волин (в Аделаиде, Австралия). В 206-ой книге "Нового Журнала" опубликована моя статья "Поэты русского Китая. Иконография". Интуиция мне подсказывала, что нужно торопиться. После выхода журнала в свет я незамедлительно сделал ксерокопии со своей статьи и послал их в Сан-Франциско и в Австралию. В моей статье говорилось и об Ольге Скопиченко, и о Михаиле Волине. Опоздал я всего лишь на несколько дней.

Десять лет тому назад Михаил Волин предложил мне издать его небольшие по объему мемуары "Гибель Молодой Чураевки". К сожалению, я был вынужден отказать поэту: от меня этого требовала изменившаяся конъюнктура книжного рынка. Рукопись Волина со временем попала на хранение в Мельбурнский университет. Нора Крук, самая молодая из плеяды русских поэтов Харбина и все еще создающая чарующие стихи, помогла мне найти рукопись, а письмо вдовы поэта, Дафни, предоставило мне право публикации этого ценного для истории словесности зарубежья документа.

Сам Волин отдавал себе отчет в возможной субъективности своих оценок. Все же свидетельство очевидца и участника литературного процесса тех далеких лет проливает свет на некоторые "белые пятна" литературной жизни русских изгоев в Китае. В последние годы жизни Михаил Волин расширил рамки своих воспоминаний, добавив к ним антологию стихотворений поэтов-дальневосточников; в ней представлено творчество

43 поэтов. Думается, что антология Волина должна быть опубликована отдельно, а не вместе с текстом мемуаров.

Работая над "Гибелью Молодой Чураевки", автор большей частью писал по памяти, а не по записям, как сказал бы Бахрах, и неточности оказались неизбежными. Они-то и заставили публикатора снабдить текст лаконичными комментариями.

Эдуард Штейн

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последнее время возник повышенный интерес к "Китайской группе" русских писателей, живших в 20-е — 50-е гг. в Харбине и Шанхае. Французский славист Рене Герра готовит монографию, посвященную наиболее значительному поэту этой группы — Арсению Несмелову[1]; американец Эммануил Штейн издал сборник избранной прозы этого писателя[2] и книгу "Остров Лариссы", посвященную творчеству известной дальневосточной поэтессы Л. Андерсен; голландский славист Поль Хендрикс подготовил к печати книгу Валерия Перелешина о русской литературной жизни в Харбине и Шанхае[3].

Одной из причин интереса к этой группе я считаю факт ее постепенного исчезновения. Более половины ее участников умерли, а ныне здравствующие члены Молодой Чураевки — литературного содружества, бывшего ядром этой группы, — находятся в преклонном возрасте. Группа постепенно "тает", и становится все труднее восстановить подлинные факты.

Молодая Чураевка — крупнейшее русское литературное содружество на Дальнем Востоке — возникло в конце 20-х годов и просуществовало до 1935 г. Причиной его распада послужило двойное самоубийство молодых и талантливых поэтов — Георгия Гранина и Сергея Сергина. Осталось немного живых свидетелей того времени, и наш долг — восстановить события тех лет в их трагической последовательности.

Сведения, появившиеся в печати, страдают отсутствием объективности. Иностранные слависты, при всем их усердии, используют информацию, полученную из вторых, а зачастую из третьих рук и не в состоянии воссоздать реальную атмосферу того времени.

Русские поэты на Дальнем Востоке уступали своим европейским, особенно парижским собратьям по перу в рафинированности и литературном

мастерстве, но в целом их творчество было жизненно здоровее. Русская молодежь, оторванная от родины и заброшенная в полукитайский Харбин, особенно увлекалась поэзией, инстинктивно чувствуя, что именно в слове таится залог будущего возрождения России. Дальневосточным поэтам удалось избежать "парижской ноты" европейского пессимизма. В их среде развился и окреп такой поэт, как Арсений Несмелов, творчество которого должно по праву занять достойное место в русской литературе.

Чураевцы, о которых подробно будет рассказано позднее, строго относились к своему творчеству, определившему, по сути, лицо всей "китайской группы". Помимо открытых вечеров, еженедельно устраивались встречи для проведения студийной работы, где поэты критиковали друг друга и буквально жили стихами. Первоначальное число активных участников группы было небольшим, немногим более двадцати человек. В их число входили: Л. Андерсен, А. Ачаир, В. Ветлугин, М. Волин, Г. Гранин, В. Иванов, М. Колосова, В. Логинов, Н. Резникова, А. Несмелов, В. Обухов, А. Паркау, В Перелешин, Н. Петерец, С. Сергин, Г. Сатовский, В. Слободчиков, О. Тельтофт, А. Угшинский, Л. Хаиндрова, М. Шмейсер, Н. Щеголев, В. Янковская[4]. В дальнейшем группа пополнилась новыми членами: Л. Гроссе, Н. Завадская, В. Иевлева, М. Коростовец, Ю. Крузенштерн, П. Сухатин, Н. Светлов, Г. Соболева, В. Померанцев, Е. Недельская, М. Щербаков, Л. Энгельгард, И. Орлова, Е. Яшнов.

Автор принимал участие в деятельности Молодой Чураевки почти с самого ее основания и хорошо знал всех ее членов. Эта работа является попыткой анализа причин ее трагедии, приведшей к распаду группы, хотя, возможно, не все из ныне здравствующих свидетелей происходившего согласятся с моими выводами.

Михаил Волин
Аделаида, 1989-1991 гг.

Молодая Чураевка

"Чураевка" возникла до японской оккупации, в начале 20-х годов. Ее создателем и "крестным отцом" был поэт Алексей Алексеевич Грызов, писавший под псевдонимом Алексей Ачаир. Родом из сибирских казаков, он избрал своим псевдонимом название станицы, где родился и вырос. Его внешность никак не вязалась с его происхождением. Тонкий в кости, изящный, с шапкой вьющихся

золотистых волос, хороший пианист и прекрасный мелодекламатор, он скорее походил на рафинированного эстета петербургских салонов, чем на сибирского казака.

Название литературного объединения "Чураевка", непонятное многим, было предложено Ачаиром, который был большим поклонником сибирского писателя Гребенщикова, широко известного на Дальнем Востоке своим романом "Братья Чураевы". В дальнейшем, эмигрировав после Октябрьской революции в Америку, Гребенщиков создал в Калифорнии[5] русскую деревню под названием Чураевка. Поэт Ачаир, создавая свою "Чураевку", делал ее символическим островком русской культуры в Китае.

Русские харбинцы любили свой родной язык, гордились им и хорошо его знали. Путешествуя по различным местам русского рассеяния, я часто слышал один и тот же вопрос: "Как это вы, родившиеся в Китае, так хорошо знаете русский язык?.."

С самого своего основания "Чураевка" стала исключительно популярной. Открытые вечера объединения устраивались еженедельно по вторникам в просторном и благоустроенном зале Христианского союза молодых людей, секретарем которого Алексей Ачаир. Несмотря на регулярность, интерес к ним не ослабевал, и зал всегда был полон. Харбинская пресса широко их освещала и поддерживала. Вскоре эти вечера стали в Харбине своего рода культурным событием.

Вечера обычно открывались докладом или чтением прозы, а во второй части программы проходил "парад" чураевских поэтов и поэтесс. Подчеркнуто четко, с прекрасной дикцией читал свои холодноватые стихи Николай Щеголев. Как-то боком выскочив на сцену, робея и заикаясь, читал свои удивительные стихи скромный Сергей Сергин. Совсем юный Георгий Гранин стремился поразить слушателей чем-то необычным. Исключительным успехом пользовался Алексей Ачаир со своими мелодекламациями. С чтением своих стихов выступали: тихая Лидия Хаиндрова, миниатюрная Наташа Резникова, красавица Ларисса Андерсен, в которую были влюблены все молодые поэты. Пользовались успехом лирические поэты Михаил Волин и Владимир Слободчиков. Как бы разряжая романтическую атмосферу, дурачился чураевский присяжный шут

Мурочка Лапикен, который сам стихов не писал, но имел богатый репертуар, главным образом, из Дон Аминадо и Саши Черного.

Выступали и представители старшего поколения. Арсений Несмелов, всегда подтянутый, с хорошей военной выправкой, читал свои стихи несколько гнусаво и монотонно, но все слушали, его затаив дыхание. Прозаик и поэт Всеволод Иванов — огромный и дородный человек, столь "обильный телом", что китайские рикши боялись возить его в своих хрупких колясках, обладатель великолепного "барственного" баритона, — был мастером художественного чтения, писал хорошие сонеты и умные, прекрасно скомпонованные исторические рассказы. Иногда выступал поэт Василий Логинов, который, особенно нам, молодым, казался Мафусаилом.

Наряду с выступлениями поэтов и прозаиков бывали и музыкальные номера, но "Чураевка" продолжала оставаться, главным образом, литературным содружеством.

Каждую пятницу, помимо открытых собраний, проходили закрытые вечера литературной студии, на которых молодые поэты и поэтессы беспощадно критиковали друг друга.

Это было время, когда все выбирали себе псевдонимы, отчасти следуя примеру старших собратьев по перу. Так, Арсений Митропольский стал Арсением Несмеловым, Алексей Грызов — Алексеем Ачаиром, Александра Нилус превратилась в Александру Паркау... Хорошо помню один из вечеров литературной студии в начале 30-х годов, когда мы, молодые поэты и поэтессы, остались после очередного собрания, чтобы выбрать себе псевдонимы. Было единогласно решено, что писать стихи под фамилией Салатко-Петрище просто невозможно. Так родился Перелешин. Мнения разделились — одним понравилось, даже находили аллитерацию с именем Валерий, другие критиковали. Н. Щеголев заметил, что приходит на ум "леший"... Брат Валерия — Виктор Салатко — стал Ветлугиным, Сергей Петров — Сергиным, я из Михаила Володченко превратился в Михаила Волина. Незадолго до этого Георгий Сапрыкин переменил свою неблагозвучную фамилию на фамилию Гранин...

Молодые харбинские поэты находились под сильным влиянием своих старших парижских собратьев. Стихи Георгия Иванова, Георгия Адамовича, Бориса Поплавского, Владимира Смоленского,

Анатолия Штейгера, Лидии Червинской и других переписывались и заучивались наизусть. "Комплекс самоубийства" как составная часть "Парижской ноты" стал неким "психическим микробом", хорошо привившимся на харбинской почве. Идея самоубийства овладела многими молодыми поэтами. Для большинства это была лишь трагическая поза, но для некоторых она стала реальностью. Самоубийство стало модной темой для стихов и разговоров. Тень брюсовского "Демона самоубийства" постепенно обретала плоть и кровь.

Меняющийся облик Харбина, естественно, отразился и на "Чураевке". Когда-то благожелательная и дружеская атмосфера изменилась к худшему, особенно после того, как определились и набрали силу три чураевских "беса": Николай Петерец, Валерий Перелешин и Петр Лапикен-Лапидус. Сходство чураевских "бесов" с бесами Достоевского очень верно подметил поэт Арсений Несмелов, с которым я ежедневно встречался по моей работе в газете. Двое из этих "бесов", Перелешин и Лапикен, были гомосексуалисты. Третьим чураевцем с гомосексуальными наклонностями был поэт Сергей Сергин, скромный и тихий человек, совсем не похожий на Перелешина или Лапикена. Был он, как сейчас принято говорить, "женщиной, попавшей в мужское тело". В настоящее время он, по всей вероятности, подвергся бы операции по перемене пола и, став женщиной физиологически, прожил бы свой век относительно спокойно и счастливо, но в те далекие годы, задолго до "сексуальной революции" 60-х — 70-х гг., на гомосексуалистов, особенно в русском обществе, смотрели со смесью удивления и брезгливости.

Непосредственное участие в событиях, предшествовавших самоубийству Сергина и Гранина, принимали 6 человек. Николай Петерец, Валерий Перелешин и Петр Лапикен-Лапидус сыграли главную роль в развязавшейся трагедии, в то время как Ларисса Андерсен и две жертвы — Гранин и Сергин — были лишь пешками в игре темных сил. Все это звучит несколько мелодраматично, но, по существу, завязка и развязка этой драмы весьма проста. Это был классический "любовный треугольник" с сексуальным вывертом. Перед тем как перейти к рассказу о том, что произошло, необходимо познакомиться с ее главными участниками.

Валерий Перелешин (Салатко-Петрище)

В моем архиве есть письмо известной харбинской поэтессы, в котором она дает Перелешину очень точную характеристику. Она пишет: "...Перелешин плохо "выпекся", из-за этого у него с годами развился комплекс неполноценности, который иногда бывает у горбунов. В этом корни его желчной ненависти. К кому? К нормальным удачникам... И вот сначала яростный уход в духовность (религия), а потом такое же яростное низвержение в долго подавляемый и мучивший выворот сексуальности. Вот он и распустил себя чрезмерно и даже бравирует этим. От одной стенки отнесло к другой..." Это немногословное определение перелешинского характера чрезвычайно верно и проникает в самую его сущность.

"Выпекся" Перелешин, действительно, плохо. Вот как описывает его одна из его соучениц: "Был он небольшого роста, длинноносый, в очках. Худые его щеки всегда были покрыты прыщами <...>". В "Чураевке" он не был популярен. В его облике, как внешнем, так и внутреннем, было что-то от Смердякова. Даже в молодости он не умел смеяться, а только шипел, неприятно растянув рот... Появился он в Харбине с матерью и младшим братом Виктором в 1920 г., когда ему было 7 лет. С ними приехал и отец, который к тому времени разошелся с мадам Петрище. Об отце известно очень мало. Знаем, что его звали Франц и что он служил на железной дороге. Мадам Петрище быстро женила на себе богатого железнодорожника В. Е. Сентянина, который был старше ее на 34 года.

Валерий был скрытен в рассказах о своих родителях, особенно об отце, но зато с нескрываемой гордостью говорил об отчиме, упоминая, что он был соседом самого Тургенева по имению в России. У старика Сентянина оказалось неплохое "приданое". Перелешин рассказывал о "райской жизни" до 1924 г., об огромном доме с садом, экипаже с лошадьми. В "приданое", по его словам, входили тридцать фунтов столового серебра, которое после смерти отчима Валерия в 1927 г. было безвозвратно заложено "очаровательным, начитанным и умным" таинственным другом дома Калабуховым, скрывшимся в СССР. Старик Сентянин хорошо обеспечил вдову.

Пасынки учились в самой дорогой гимназии Харбина — гимназии Христианского союза молодых людей. Закончив ее, Валерий поступил в университет, но не доучился.

Много лет спустя мой дед, генерал Н. Г. Володченко, писал мне из Харбина в Шанхай со свойственным ему юмором: "...Повадилась ко мне ходить мать твоего соученика Салатки. Долго сидит, пьет много чаю и все смотрит на меня масляными глазами. Неужели польстилась? Не думаю. Впрочем, она ведь специалистка по старикам..."

Я учился классом ниже в той же гимназии, что и Салатко. Помню его по гимназии очень хорошо, хотя мы не были дружны. Даже в отрочестве он выглядел старообразным и хилым — "бескрылым недоноском", как он сам себя называл, следуя некой мазохистской черте своего характера. Лучше узнал я его в Молодой Чураевке, в деятельности которой мы оба принимали активное участие. <...>

Перелешин постоянно в кого-нибудь влюблялся. Особенно запомнилась мне его "безумная" влюбленность в поэта Георгия Гранина, которая была известна всей "Чураевке". Стараясь завлечь Гранина, Перелешин писал ему страстные письма и стихи. Все это происходило на наших глазах. Одно из перелешинских стихотворений, посвященных Гранину, начиналось так:

На кабацком, сгорбленном пороге
Двое нас, не размыкаем рук...

Стихотворение это буквально напрашивалось на пародию, которая была написана Николаем Щеголевым, Владимиром Слободчиковым и мной:

На кабацком, сгорбленном пороге
Двое нас, не размыкаем губ.
В небосклоне месяц плыл двурогий,
Друг молил: "Не будь со мною груб!"

Лепестками яблони цветущей
Осыпался снег, а я стоял

И рукою дерзкой и зовущей
Целомудренно его ласкал.

А вдали Валькирия победы,
Девушка тысячелетних рун,
Приближалась, нектара отведав,
Приближалась с птицей Гамаюн.

И вещала птица человечьи:
"Ты любовью отрока не жаль!"
Но, расправивши стальные плечи,
Я послал ее... в глухую даль!

И вскричал победно и тревожно:
"Уходи, Валькирия, — он мой!"
И в объятьях мощных осторожно
Отрока унес к себе домой.

Вся "Чураевка" знала эти стихи. В них пародировались все аксессуары перелешинского творчества того времени: и "Валькирия победы", и "птица Гамаюн", говорящая человеческим языком, и "Девушка тысячелетних рун" и т. д.

Перелешин был исключительно начитан — настоящий "книжный червь". В его ранних стихах чувствовалось много разных влияний, например, отца Павла Флоренского, с работами которого молодые чураевцы не были знакомы. Перелешин ревниво оберегал от других источники своих познаний...

Портрет Валерия Перелешина будет неполным, если не упомянуть тот факт, что он, "смиряя нечистую плоть", постригся в монахи. Однако монашество его продолжалось недолго. Вскоре поползли слухи о его "романах" с другими монахами. В монастыре, по его собственному признанию, он нашел лишь клопов да водку, а всеми уважаемого епископа Димитрия он называл "гасителем духа". В конце концов Перелешин был расстрижен архиепископом Иоанном[6].

Сергей Сергин

Сергей Федорович Сергин-Петров, молодой инженер, окончивший в начале 30-х годов Харбинский Политехнический институт, был талантливым поэтом, писавшим под псевдонимом Сергин. Был он невысок ростом, близорук и страшно застенчив. Во всем его облике, в манерах, даже в голосе было много женского. Все знавшие Сергина любили его, но чувствовали, что с ним что-то "неладно". Тихий, нежный и скромный, он очень страдал от своей раздвоенности.

Многие из его стихов были "женскими". Все его существо томилось от невыявленной любви. Пришло его время любить, а любить ему было некого...

Синеет в вазе очень нежно ирис.
Опаздываешь, дорогой, опять...
Не слишком ли глубок на платье вырез,
И это кружево не лучше ли убрать?

Кончается это предельно женское стихотворение нотой ревности:

...Укладываюсь в платье из Парижа,
Среди подушек, собранных вокруг,
И кажется, что тело в них потонет,
И я всплыву Офелией в воде...
Быть может, ты ушел к другим ладоням?
Теплей моих ты не найдешь нигде!

Если бы эти стихи попались читателю, не знакомому с автором, он никогда бы не подумал, что они написаны мужчиной.

С Сережей Сергиным я встречался довольно часто. Когда я с ним познакомился, мне было 19 лет, а ему 25 или 26, и он уже был инженером и принадлежал к старшему поколению чураевцев, как Николай Петерец и Петр Лапикен. Сережа очень гордился своей матерью, которая во время первой мировой войны была сестрой милосердия, имела много медалей и отличий и провела несколько лет в немецком плену. Судьба трех его братьев была трагичной: старший брат пропал во время революции, средний покончил с собой,

третий уехал в Бельгию учиться, сошел с ума и попал в дом для умалишенных.

Несмотря на свою "странность", Сережа был глубоко религиозным, тонким, умным и чистым душой человеком. По своему таланту он был значительно выше многих чураевцев. Ранняя гибель не позволила ему оставить какое-либо существенное поэтическое наследство, но по тому, что было им создано, ясно видно, что Сергей Сергин мог стать крупным и интересным поэтом.

Николай Петерец

Одним из "темных гениев" "Чураевки" был поэт Николай Петерец. Появился он в Харбине как-то неожиданно, и никто толком не знал, откуда. Никто не встречал его родителей, не знал его биографии. О себе Петерец говорил очень мало, хвалясь лишь тем, что родился в Риме, хотя ни итальянского, ни других европейских языков не знал.

Был он, безусловно, неглуп и талантлив, но без всяких моральных принципов. Исключительно неприятный физически, он производил впечатление вечно неумытого и непричесанного человека, редко стригущего свои вихрастые волосы. Ногтей он тоже не стриг. Мне запомнился желтый и грязный ноготь на его указательном пальце. Петерец курил не переставая, часто заливался неестественным смехом, переходящим в кашель, бурлящий и клокочущий в его прокуренных бронхах. Один глаз его косил, и он носил очки с сильными стеклами в роговой оправе. "Вампиряка" — прозвище, данное ему поэтессой Викторией Янковской, — удивительно подходило к его внутреннему и внешнему облику. Как у знаменитого вампира Дракулы, при бледном лице он имел неестественно красные губы, которые часто и быстро облизывал <...>

Петерец одним из первых внес разлад в доселе счастливую "Чураевку". По каким-то неизвестным причинам он невзлюбил милейшего и высокопорядочного Алексея Ачаира, говорил за его спиной гадости и писал эпиграммы такого рода:

Вторники чураевские — гроб,
Где давно прославленный в народе
Ачаир, американский поп,
Ныне областничество разводит.

Другую свою эпиграмму на Ачаира он пытался выдавать за коллективное творчество:

Ваши пальцы пахнут ладаном,
Вы совсем скелет на вид.
Не жениться было надо вам,
А уйти в сибирский скит.

Разбирать сухие всточки,
Ворошить утрами мхи,
На коре долбить заметочки,
Позабыть стихи!

Петерец написал эту эпиграмму после женитьбы Ачаира на известной харбинской пианистке Добротворской и, хихикая, говорил всем, что это его свадебный подарок.

Петерец был нечистоплотен и политически. За время моего короткого с ним знакомства он переменил, по крайней мере, три политические ориентации. Сперва он бредил Муссолини и даже посвятил ему стихи:

Прорезывает воздух синий
Капитолийская игла.
Сквозь синь витринного стекла
Портрет Бенито Муссолини.
Не им ли влита в воздух синий
Взволнованная тишина?

Впоследствии Петерец примкнул к младороссам и работал в младоросской газете. Во время войны он стал, как про него говорили, коммунистом, "большим, чем Сталин"[7].

Один из бывших чураевцев, В. А. Слободчиков, ныне прожи-

вающий в Москве, соглашается со мной в оценке роли Н. Петереца в развале и гибели "Чураевки". Вот, что он пишет в одном из своих писем: "Как ты сам знаешь, его появление в "Чураевке" было чревато смутой. Во-первых, он стал таскать нас на выпивки (чего никогда не было раньше); во-вторых, поднял бунт против Ачаира (что, в общем, было подло). Он действительно терпеть не мог Гранина, что могло быть вызвано ревностью, и всячески травил его. Ты приводишь две строчки издевательского стишка Петереца про Гранина, но, может быть, ты забыл продолжение:

Ты не Гранин, а Сапрыкин,
Не Георгий, а Егор
Будешь зваться с этих пор.

Маслом благостно-лампадным
Ты примажешь кудри ладно
И явишь такой пробор,
Наш Сапрыкин, наш Егор! <...>"

Георгий Гранин (Сапрыкин)

Прошло более чем полвека со дня смерти Георгия Гранина, но образ его не исчез из моей памяти — я по-прежнему вижу его очень ясно: пухлое лицо, совсем еще детские губы, слегка приподнятая бровь, выражение легкой насмешки.

Был ли он красив? Безусловно, нет. Георгий Гранин был симпатичным, располагающим к себе человеком, под маской иронии скрывающим неуверенность в себе. Когда кто-нибудь говорил ему о его моложавости, Гранин отвечал не без позы: "Сложные организмы развиваются медленно". Влюбленный в него Перелешин наделил Гранина "сочными губами, гибким голосом", но ничего этого у Гранина не было. Был он безусловно неглупым и одаренным человеком и имел все данные для того, чтобы стать хорошим поэтом, проживи он положенный ему срок. Главной его бедой был комплекс неполноценности, которым страдало немало молодых чураевцев.

Гранин полной грудью вдохнул в себя рафинированную культуру "серебряного века" русской поэзии. Он был хорошо знаком с творчеством Блока, Гумилева, Белого, Ахматовой и многих других поэтов этой плеяды. Это был "воздух", которым дышала "Чураевка", пока не появились парижане с их изысканной надломленностью и сладким ядом скептицизма. Интеллектуально Гранин не мог справиться с таким мощным эстетическим потоком. Он был слишком молод и прост, чтобы постичь всю тонкость и глубину "серебряного века", и, не имея никакой духовной опоры, оказался в некой духовной пустоте. Японская оккупация Харбина и сложная атмосфера политических интриг еще больше усложнили проблему теряющего себя Гранина.

Он часто говорил мне о своем одиночестве, и вполне возможно, что именно одиночество привело его в ряды только что образованной Русской фашистской партии, руководимой Константином Родзаевским. Юра Гранин надел фашистскую форму, опоясался портупеей, но ни взрослее, ни внутренне сильнее от этого не стал. И именно в этот момент его молодой жизни к нему пришла "великая любовь" — он "без памяти" влюбился в Ларисcу Андерсен.

Ларисса Андерсен

Ларисса Николаевна Андерсен живет во Франции, неподалеку от Парижа. Ее покойный супруг, господин Де Ля Шез, был одним из директоров французской пароходной компании Мессажери Маритим. Познакомились они в Шанхае и за свою сорокалетнюю совместную жизнь побывали во многих странах мира, куда ее муж направлялся на работу как представитель компании.

Ларисса, Лара, Ларочка — так называли ее друзья — была личностью во всех отношениях выдающейся. Красивая, умная и разнообразно-талантливая, она провела свои лучшие годы на задворках большого мира, в Харбине — "затонувшей субмарине", по образному выражению поэта Арсения Несмелова.

Многие люди, стремившиеся выбиться на поверхность жизни, там просто задыхались. Харбин, при всех своих положительных качествах: уют, русскость и относительное спокойствие, — был тупи-

ком, а с приходом японцев стал страшным тупиком, выбраться из которого было трудно.

Лариссу, с которой мы жили на одной улице, я знал почти с самого детства. В Харбине было много привлекательных девушек и женщин, но Ларисса обладала красотой особой — ее красота была высокоодухотворенной. Почти все молодые поэты были в нее влюблены, посвящали ей стихи, возводя ее на пьедестал. У темноволосой Лариссы были особенные глаза — большие и синие, с длинными ресницами, которые сравнивались поэтами с "озерами", с "осенними озерами", с "небом", с "морем", с "синим пламенем" и т. д. Я часто говорил ей о том, что, роднсь она где-нибудь в Америке, она наверняка стала бы знаменитой киноактрисой. Ларисса была талантливой поэтессой, а также прекрасно исполняла характерные танцы.

Несмотря на выдающиеся данные, которыми наделила ее природа, Ларисса была начисто лишена честолюбия. Она была исключительно скромной и никуда не "пробивалась". Признанная всеми как лучшая поэтесса "китайской группы", она предпочитала оставаться в тени. В свою бытность в Китае Ларисса Андерсен издала лишь один тоненький сборник стихов "По земным лугам".

Петр Петрович Лапикен-Лапидус

Мурочка Лапикен был сыном латышского пастора Лапикена-Лапидуса, который перешел в православие, не потеряв сана. Не знаю, кто прозвал его Мурочкой, но было видно, что это прозвище ему льстило Во всем облике Лапикена было что-то бабье: круглое лицо, писклявый голос, почти полное отсутствие растительности на щеках и подбородке. Девушки его не интересовали. Он все время вертелся в мужской компании, выбирая друзей значительно моложе себя. Мурочка был лет на пять-шесть старше большинства чураевцев и считался чураевским присяжным шутом. Стихов он не писал и выезжал на чужом творчестве, хорошо знал литературу и неплохо играл в шахматы.

Я более чем уверен, что он был несколько "не в себе". Выражалось это по-разному, например, в его странном пристрастии к

зеленому цвету, которое проявлялось во всем, что его окружало. Зеленый цвет преобладал в его одежде. Дом, где он жил с матерью, был ярко-зеленого цвета, так же как и вся обстановка в нем. Злые языки прозвали этот дом "зеленым ужасом".

Мне хорошо запомнился случай: одно время Мурочка начал играть в баскетбол в гимнастическом зале Христианского союза молодых людей, и было замечено, что Лапикен никогда не мылся под душем после тренировок. Он быстро исчезал, надев одежду прямо на потное тело. Сговорившись, мы однажды гурьбой набросились на него и намылили Лапикена с головы до ног, думая, что теперь-то он обязательно примет душ. Но не тут-то было! Проявив незаурядную силу, он раскидал насевших на него и, кое-как натянув одежду прямо на намыленное тело, убежал домой. Больше в спортивном зале он не появлялся, а мы еще долго обсуждали его странное поведение.

Мурочка Лапикен был недобрым и злопамятным человеком. Даже добрейший Алексей Алексеевич Ачаир, который никогда не говорил ни о ком плохого, называл его паскудником... В чураевской драме, о которой будет рассказано позднее, Лапикен сыграл одну из главных ролей.

Вскоре после чураевской трагедии Лапикен уехал в Шанхай, где много лет прослужил в "роте Адамовича" — русском полку, сформированном генералом Адамовичем при французской полиции. В дальнейшем Мурочка уехал в Америку и работал преподавателем русского языка в одном из калифорнийских университетов.

Мурочка Лапикен навсегда остался загадкой не только для меня, но и для многих близко знавших его людей.

Трагедия

Завязка и развязка чураевской драмы были, по существу, весьма просты, хотя заключали в себе некоторые необычные для того времени детали. События развивались следующим образом: Перелешин был влюблен в Гранина, писал ему стихи, постоянно провожал домой, кормил и поил в маленьких кабачках. Все это происходило на глазах у всей "Чураевки". Выше я уже цитировал пародию на перелешинское стихотворение, которую знали все.

Гранин был "потерянный мальчик", не способный найти себя. Для психоаналитика он мог бы стать типичным примером душевной раздвоенности. Юра Гранин нуждался во внутренней опоре, духовной базе, без которой он просто погибал. Его семья не могла ему дать того, в чем он так нуждался, поэзия была слишком зыбким мерилом ценностей жизни и, наконец, друзья-поэты просто проглядели его трагедию.

Георгий Гранин был слишком умен, чтобы избрать духовной опорой Русскую фашистскую партию. Он прекрасно понимал, что это была игра недалеких людей, заблудившихся, как и он сам, в потемках жизни. Оставалась последняя ставка — любовь. Она все поправит, все спасет, она всего сильнее! Так родилась, выросла и окрепла его любовь к Лариссе Андерсен.

Но в борьбу вступили другие силы. Николай Петерец был тоже влюблен в Лариссу, но чувства его были темны и нечисты. Приведу типичные строки его стихов, посвященных Лариссе:

Так, скептичнее Протагора,
Словно Ницше, взлохмачен, небрит,
Я несу тебе, Лара, горе
Вампирячьих моих молитв.

Образовался "любовный треугольник": Ларисса Андерсен — Николай Петерец — Георгий Гранин. Петерец, видевший в Гранине счастливого соперника, жестоко его возненавидел. Беспринципный и злой человек, он стал систематически травить Гранина, распускал о нем клеветнические слухи, писал злые эпиграммы, стараясь ударить в самое больное место — гранинский комплекс неполноценности, — издевался над его простым происхождением и настоящей фамилией:

Но ты не Гранин, а Сапрыкин,
Басок, рыкающий: "Сопри-ка..."

Тонкий и легко ранимый Гранин тяжело страдал от насмешек. Вдобавок ко всему к травле Гранина присоединились Перелешин и чураевский присяжный шут Лапикен-Лапидус. Все знали, что лишь

недавно Перелешин был "без памяти" влюблен в Гранина, а тут неожиданно его возненавидел. Что же произошло?

Гранин рассказал мне следующее: "Перелешин постоянно провожал меня домой. Однажды он пригласил меня в небольшой ресторан, где мы плотно закусили и выпили. Домой я возвращался очень усталым. Было холодно, и провожавший меня Перелешин зашел обогреться. Я сел в кресло и задремал. Проснулся я оттого, что кто-то дергал меня за одежду. Когда я открыл глаза, то увидел Перелешина, стоящего передо мной на коленях. Сперва я не понял, что происходит, а когда сообразил, то надавал ему по щекам и выгнал из дома. С тех пор он меня возненавидел".

Гранин находился на роковом перекрестке своего жизненного пути, когда его стали травить три чураевских "беса" — Петерец, Перелешин и Лапикен, причем травить безжалостно. Любовь-спасительница тоже не удалась. На его последнее письмо Ларисса вообще не ответила. Гранин начал бредить самоубийством, но внутренней силы для этого страшного шага у него не было. Он начал искать партнера, позондировал почву у многих чураевцев и, наконец, выбрал Сергина. Вполне возможно, что Гранин увлек Сергина, влюбив его в себя. Сергин тоже не знал, что делать с собой, со своей жизнью. Его женская сущность жаждала любви и близости, в то время как его религиозность, воспитание и сама атмосфера того времени это отрицали. Сергин был сильным человеком, и для Гранина этот выбор стал роковым.

В ту страшную ночь в небольшом второразрядном отеле "Нанкин", возможно, в первый и последний раз в жизни Сергин обладал объектом своей страсти. Они были найдены в постели раздетыми... Гранин был убит первым. В области сердца у него было два пулевых ранения, а у Сергина только одно. Соседи слышали два выстрела. Потом было долгое молчание. Затем, часа через два, раздался третий выстрел. Очевидно, Гранину не хватало мужества застрелиться, и его убил Сергин с его согласия. Об этом свидетельствуют найденные предсмертные записки[8].

О чем думал Сергей Сергин в холодной комнате китайского отеля над трупом своего друга, почему он не застрелился сразу же, мы не узнаем никогда.

Харбинские газеты подняли шум, создав миф о том, что

фашист Гранин был убит просоветским Сергиным. В действительности самоубийство никаких политических мотивов не имело. Главными виновниками трагедии были три чураевских "беса" — Н. Петерец, В. Перелешин и П. Лапикен, затравившие Гранина в критический момент его жизни. Сергей Сергин был только орудием — "орудием судьбы" — в сложной мозаике человеческих взаимоотношений, в которых в конечном итоге восторжествовали ревность, зависть и ненависть.

Известная доля ответственности за случившееся лежит и на друзьях Юры Гранина, не осознававших опасности и принимавших происходящее за шутку и позу. В трагический исход разыгравшейся перед ними драмы никто не верил. Возможно, это являлось следствием беспечности, столь характерной для молодости. Вина Лариссы Андерсен заключалась только в одном — она была слишком красива.

Шанхай

После происшедшей трагедии "Чураевка" прекратила свое существование. Около 1935 г. начался "великий исход" русских из Харбина в Шанхай. Те, у кого была возможность, уезжали за границу: в Америку, во Францию, в Бельгию, изредка в Германию и другие страны.

Я приехал в Шанхай, где образовалась большая русская колония, в 1937 г. Это был другой мир, другие люди. Там даже дышалось иначе. По сравнению с провинциальным Харбином Шанхай казался международной столицей! Незадолго до меня туда приехали вместе с отцом — известным присяжным поверенным — и младшим братом Александром три брата Слободчиковы — Лев, Николай и Владимир, чураевский поэт. Первые два месяца моей жизни в Шанхае я пользовался их гостеприимством. Все три взрослых брата Слободчиковы устроились работать полицейскими на французской концессии. По тем временам это была привилегированная и хорошо оплачиваемая работа. Два чураевских "беса" — Лапикен и Петерец — тоже приехали в Шанхай. Лапикен устроился в так называемую роту Адамовича — вспомогательную часть при французской полиции, а Николай Петерец "перебивался" по тре-

тьеразрядным газетам различных политических ориентаций и вскоре женился на поэтессе Юстине Крузенштерн.

Харбинские эмигранты привезли с собой в Шанхай зависть, взаимную неприязнь и недоверие друг к другу. Русская колония была раздроблена, что особенно сказалось на различных литературных группировках. Литературные кружки можно было считать по дням недели: были "Понедельники", "Вторники", "Среды", "Четверги", "Пятницы" и, если не ошибаюсь, было также литературное объединение "Суббота". Все эти кружки были в неприязненных отношениях друг с другом, а с началом войны Германии против России неприязнь эта переросла в настоящую ненависть.

В военные годы русский Шанхай жил интенсивной литературной жизнью. Устраивались литературные конкурсы, писались стихи на заданную тему, отмечались различные литературные юбилеи. В 1942 г. мне удалось выиграть конкурс на короткий рассказ на заданную тему "Письмо", а в 1944 г. — получить второй приз (первый не выиграл никто) в конкурсе на лучшее стихотворение, посвященное сорокалетию со дня смерти А. П. Чехова. В конкурсе принимали участие почти все поэты и поэтессы русского Шанхая.

Раньше многих других чураевцев переехала в Шанхай Ларисса Андерсен. Чтобы заработать на хлеб насущный, ей приходилось танцевать в китайских кинотеатрах перед началом сеансов. "В страшную летнюю жару брызги моего пота летели до третьего ряда", — так, полушутя, вспоминала она позднее.

Валерий Перелешин, бывший в то время монахом Германом, появился в Шанхае в 1943 г. Я случайно встретил его на улице. Он был одет в серую рясу и, пока мы беседовали, курил какую-то самокрутку, пуская дым в широкий рукав своего одеяния. "Чтобы не было заметно", — ответил он на мой удивленный взгляд, по обыкновению шипя и неприятно растягивая рот. Не снимая рясы, он работал в агентстве ТАСС, возможно, единственный монах за всю историю этого учреждения.

Литературный кружок "Пятница" был наиболее просоветским кружком в Шанхае. У них даже был свой "политрук". В конце войны большинство его членов уехало в СССР.

"Понедельник" собирался в квартире Валентина Присяжникова

(поэт Валь), а "Среда" — у поэтессы Александры Нилус-Паркау. Деятельное участие в его работе принимал ее муж, присяжный поверенный А. Нилус.

Второй "великий исход" русских из Китая начался в 1947-1948 гг., когда китайские коммунисты под руководством Мао Цзедуна постепенно заняли весь Китай. Руководитель китайских националистов Чан Кай Ши с остатками своих армий сумел обосноваться на острове Тайвань. Беззаботная для многих иностранцев жизнь в Китае пришла к концу.

В Шанхае в это время скопилось до 5000 русских, которым в буквальном смысле ехать было некуда. Некоторые из них обзавелись советскими паспортами, некоторые имели на руках только квитанции ("квитки") на их получение, но большинство из новоиспеченных граждан особого энтузиазма по поводу возвращения на родину не проявило. По Шанхаю ходил популярный тогда анекдот: два приятеля условились, что уехавший первым в Советский Союз пришлет оттуда снимок. Если на снимке он будет стоять, то все хорошо и ехать можно, а если будет сидеть, то ехать ни в коем случае нельзя. В скором времени из Союза пришел снимок, где уехавший не сидит и не стоит, а... лежит!

Чтобы выехать из Китая не в Советский Союз, надо было снова стать бесподданным. Для этого требовалось явиться в советское консульство и отказаться от паспорта или квитанции на его получение, что было неприятной и тяжелой процедурой.

Прекрасно помню день, когда я, мой брат и В. Перелешин пришли в китайскую полицию за разрешением на выезд. Мне и брату необходимые документы были выданы без всякого промедления, а Перелешину отказали, т. к. он не сдал советский паспорт. Он все же пытался пробраться в Америку и полгода провел в американской тюрьме, после чего был выслан обратно в Китай, где тоже попал в тюрьму. Сколько он там просидел, я не знаю, но в 1952 г. по визе, купленной его братом, он выехал в Бразилию. Совстский паспорт, как он пишет в своих мемуарах, он бросил в море на съедение акулам...

Большинство членов литературного кружка "Пятница" репатриировались в СССР. Среди них: Николай Щеголев, Варвара Иевлева, Владимир Померанцев, Лидия Хаиндрова и два ее брата. Юс-

тина Крузенштерн предпочла ехать в Америку, а Ларисса Андерсен уехала вместе с мужем во Францию.

На помощь бесподданным русским пришла Всемирная организация церквей, а Филиппины обещали дать убежище. Так, не без труда, из Шанхая было вывезено около 5000 человек в "полотняный" лагерь на острове Тюбабао. Об этом лагере писалось мало и необъективно. Эта страница истории русских в Китае еще ждет своего исследователя.

Эпилог

Прошло сто лет — и что ж осталось?
А. С. Пушкин

Ста лет со дня гибели "Чураевки" еще не прошло, но свыше пятидесяти лет уже минуло. Эпиграфом к краткому очерку о Харбине я выбрал отрывок из стихотворения Арсения Несмелова, наиболее значительного русского поэта в Китае. Теперь я хочу привести это стихотворение полностью.

Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской он рукой.

Пусть удел подобный горек —
Не опустим глаз:
Вспомяни, старик историк,
Вспомяни о нас.

Ты забытое отыщешь,
Впишешь в скорбный лист,
Да на русское кладбище
Забежит турист.

Он возьмет с собой словарик
Надписи читать...
Так погаснет наш фонарик,
Утомясь мерцать!

Каждый настоящий поэт в известной мере пророк. Но даже интуиция Несмелова не смогла предугадать полностью того, что произошло. Русский Харбин канул в Лету. Украшение и гордость русского Харбина — Свято-Николаевский собор — был разрушен до основания во время "культурной революции". Русское кладбище, перекопанное китайскими бульдозерами, стало футбольным полем...

Судьба немногих чураевцев, оставшихся в Харбине, была много печальней судьбы их собратьев в Шанхае. В 1945 г., когда Харбин был оккупирован советскими войсками, многие русские литераторы были репатриированы. Среди них: Алексей Ачаир, Арсений Несмелов, Василий Обухов, Всеволод Иванов. Пропал без вести Борис Юльский... Алексей Ачаир и Арсений Несмелов вскоре умерли. Василий Обухов сумел пробраться обратно в Харбин, где по возвращении умер. Всеволод Иванов сделал неплохую карьеру в Союзе. Его роман о сибирских землепроходцах "Черные люди" был издан большим тиражом и получил широкую известность. Остальные чураевцы были разбросаны по всему свету...

Давно замолчал ***Виктор Ветлугин*** (брат В. Перелешина).

Владимир Слободчиков живет в Москве и стихов больше не пишет; выбрав академическую карьеру, за последние тридцать лет он опубликовал целый ряд научных работ, в том числе учебники французского языка для всех классов средней школы.

Наталья Резникова живет в Нью-Йорке.

Ольга Скопиченко до последнего времени редактировала литературную страницу русской газеты в Сан-Франциско.

Ольга Софонова живет в Австралии и недавно вместе с ***Галиной Соболевой*** и ***Клавдией Пестрово*** выпустила сборник стихов "Лирная пристань"[9].

Елена Влади (Никобадзе) живет в Ташкенте[10].

Фаина Дмитриева тоже живет в СССР. Недавно в газете "Голос Родины" была опубликована подборка ее стихов.

Михаил Волин после двенадцатилетнего пребывания в Америке вернулся в Австралию и живет в Аделаиде. Недавно выпустил сборник избранных стихотворений на русском и английском языках.

Мария Визи живет в Калифорнии, в ее "активе" три сборника стихотворений.

Лариса Андерсен живет во Франции. Хоть редко, но продолжает писать стихи. Подборка ее стихов была напечатана в газете "Голос Родины".

Виктория Янковская живет в Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско. Выпустила сборник стихов "По странам рассеяния" и книгу прозы "Это было в Корее".

Ирина Лесная живет в Парагвае.

Наталья Ильина, уехавшая в Союз из Шанхая, получила большую известность своей книгой "Возвращение". Книга вызвала горячий интерес как в СССР, так и за рубежом[11].

К сожалению, нет никаких сведений о талантливом беллетристе ***Борисе Юльском***, который исчез вскоре после окончания войны. Его творчество заслуживает самого серьезного исследования, что, возможно, и будет сделано в будущем.

За последнее время в России стал проявляться интерес к "китайской группе" русских литераторов. Газета "Голос Родины" охотно печатает стихи бывших участников этой группы, что при сегодняшнем политическом "климате" может стать началом более широкого исследования творчества русских писателей в эмиграции.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Французский славист Рене Герра монографию об Арсении Несмелове не готовил, но в его издательстве "Альбатрос" должна была выйти в свет книга поэта "В затонувшей субмарине", подготовленная к печати Валерием Перелешиным. Позднее эта рукопись вошла в книгу Арсения Несмелова "Без Москвы, без России".

2. В издательстве "Антиквариат" (штат Коннектикут) в 1990 году вышла в свет книга Арсения Несмелова "Без России" (составитель и автор комментариев Э. Штейн).

3. Мемуары Валерия Перелешина "Два полустанка" опубликованы в 1987 году в Амстердаме.

4. В. Перелешин, М. Шмейсер, В. Янковская скончались. Судьба Н. Резниковой неизвестна.

5. Георгий Гребенщиков написал эпопею "Чураевы", один из томов которой называется "Братья Чураевы". Писатель эмигрировал не в Америку, а во Францию, откуда он по приглашению сибирского американского казачества приехал в США на лекционное турне в 1924 году и остался в США. Русская деревня Чураевка была создана им в шт. Коннектикут, а не в Калифорнии.

6. Валерий Перелешин, по утверждению его брата, Виктора Салатко, остался монахом в миру и расстрижен не был.

7. Действительно, в годы войны и сразу после ее окончания Николай Петерец испытывал большую тягу к красному фашизму, что нашло свое отражение в его стихах, в таких хотя бы строках:

Гордишься красною Москвой,
Как сердцем правды и свободы...
Гордишься взбодренной войной,
Возросшей мощностью заводов —
Всей нашей вольною страной.

8. Многие бывшие харбинцы утверждали, что посмертные записки Гранина и Сергина ничего не прояснили и не помогли в определении мотивов самоубийства.

9. Ольга Сафонова и Галина Соболева умерли в начале 90-х годов в Австралии.

10. Елена Влади умерла в Ташкенте в 1991 году.

11. Мария Визи, Виктория Янковская, Наталья Ильина скончались в последние годы.

Публикация и примечания Эдуарда Штейна,
Коннектикут

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Генрих Иоффе

БОЛЬШЕВИЗМ УМЕР САМ

Читая "Современные Записки" и "Новый Журнал"

"Идеже святии полощиша что, то тут и лежи".
Протопоп Аввакум

Когда Ленин выходил на "большую дорогу" политики, он заявил: "Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию. Кто знает Россию, тому понятно, на что замахнулся Ильич. Старшее поколение помнит русскую крестьянскую игрушку "ваньку-встаньку": как ни переворачивай его, он все равно займет первоначальное положение. С большим идейным смыслом была игрушка. Но Ленин, наверное, этой игрушкой не играл: он рос в дворянской, интеллигентской семье, там, скорее всего, были другие игрушки. Интеллигенция в России рано начинала политические игры. Самое главное, конечно, в том, что Ленин верил в свою идею, в себя, в свою организацию. Он считал, что все дело в *характере* организации. Необходима не обычная организация, нужна организация или партия *нового, особого* типа. В чем же должны заключаться ее новизна и особость? Она должна была стать не просто еще одной политической партией, а военно-политической партией. Ленин очень высоко ценил Клаузевица. За что? За его, по мнению Ленина, гениальный тезис: война — продолжение политики иными средствами. Раз так, то и политика — это война, пусть другими

средствами. Впрочем, не такими уж и иными. На войне, как на войне. Нравственные нормы, во всяком случае, могут быть отброшены. Война, требующая полной победы, не признает их.

Поэтому Ленин и презирал интеллигенцию, которая, по его убеждению, погрязнув в нравственных и моральных тенетах, способна только "путаться под ногами", "разъедать" сомнениями, сбивать с пути колебаниями. Ленин безжалостно отсекал таких интеллигентов от своей партии. Он был мастером раскола. Он раскалывал до того момента, покуда не считал, что вокруг него остаются только преданные бойцы. Историк М. Карпович заметил, что выражение "он ни на какие компромиссы не пойдет" было высшей оценкой политического деятеля в России. С этой точки зрения, Ленин, кажется, достиг идеала.

Ленин создавал партию, стихией которой была *борьба*. Помимо Клаузевица, он чтил Наполеона: главное ввязаться в бой, в сражение, а уже там видно будет, как действовать дальше. Но это не все. Партия, которую хотел создать и создавал Ленин, должна была иметь и еще одну особенность, которая, собственно, определялась ее характером: во главе ее должен стоять руководитель, обладающий практически полной властью — вождь. Больше всего Ленин ценил фактор воли, ведущей к действию. Что такое русская "обломовщина", по мнению Ленина? Отсутствие воли. Вождь — это и есть импульс воли. Ленин был прирожденный вождь. Он сознавал это сам, понимали и ощущали это и другие, в том числе и его противники. Писатель и историк М. Алданов был враждебен идеалам Ленина. Но эта враждебность "не доходила у него до фанатизма, и он не считал, что шарж, злобная карикатура — действенное орудие в идеологической борьбе" (см.: *А. Бахрах "Марк Алданов". "Новый Журнал", 1996, 197, с. 232*). Большевистская партия — партия вождя. В его отсутствие она теряет свою уникальность.

Побежденные Лениным политические противники хорошо понимали не только, в чем состояла сила ленинской партии, сила большевизма, но и источник ее. Этот источник — в ставке на то, что есть низменного, приземленного в душе человека. Вот почему большевизм рекрутирует сторонников в "массе", в плебейской, даже маргинальной части общества. Когда в критический момент его политической жизни, в канун Октября, заколебались многие лидеры

большевистского ЦК, Ленин сказал: "Тогда я иду к матросам". "Матросы", сначала в тельняшках, а потом и без, долго оставались ударной силой большевизма. В статье "Правда побежденных", опубликованной в 1933 г., Г. Федотов писал: большевизм "принимает зло как нечто естественное... Большевик не верит в возможность бескорыстных и благородных поступков. Везде он чует низкую подоплеку классового интереса и подлости..." И еще: большевики "виртуозно умеют играть на человеческих пороках" (*"Современные Записки". 1933, 51, сс. 378, 382*). Федотов прав. Большевизм черпал силу из стихии человеческого порока. Можно осуждать его за это, но не признавать широкого существования такой реальности в нашем грешном мире невозможно. Можно много говорить и спорить о силе зла и добра, но, увы, слишком часто мы видим торжество первого...

Буржуазный мир свиреп и беспощаден, — учил Ленин, — и истребить его можно еще большей свирепостью и беспощадностью. Он не думал: как же из зла вырастет добро?

"И за всяким большевистским делом, — писал Федотов, — за всякой мирной работой чувствуется принцип наведенной винтовки: в священника, в крестьянина, в профессора, в вольного художника, в отца, мать старой семьи, в кондовую Русь, в счастливый уют ненавистного мещанства" (*там же, с. 384*).

Беспощадная борьба — вот подлинная стихия большевизма, его среда обитания, условие существования. В борьбе, и чем ожесточенней, тем лучше, большевики не знали себе равных. Середины нет, учил Ленин, либо мы, либо они. Может быть, поэтому большевики и победили в гражданской войне. Гражданская война была их славой, их гордостью, их "звездным часом". Сколько песен пропели они о гражданской войне — самой жестокой, кровавой, братоубийственной! Сколько действительно прекрасных фильмов сняли, сколько замечательных книг написали!

На этой войне они полностью были самими собой, до конца проявили свою мощь, волю, веру, свою искренность, даже свой романтизм.

Я все равно паду на той,
На той единственной гражданской,

И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной...

Сколько обидных слов пришлось выслушать великому лирику Булату Окуджаве за этот его "ранний большевизм". Говорят, он переживал и даже страдал. И напрасно. Дух, пафос борьбы увлекает и чистую душу. Не каждому и далеко не сразу под силу понять, благородна и справедлива ли эта борьба или ее цели несбыточны и лживы. Созданный замечательным сценаристом Е. Габриловичем образ Василия Губанова (фильм "Коммунист") вполне реалистичен. Люди, "жизнь свою кладущие за други своя, в большевизме были. Я знал таких. Мало, но знал. Переживать надо было не Окуджаве, а ресторанному певцу М. Звездинскому, распевавшему в популярной песенке "Поручик Голицын" о том, как "комиссары девушек наших ведут в кабинет".

Нет, не водили тогда еще комиссары девушек в кабинет. Если бы водили, не белым пришлось бы покидать Россию и стать эмигрантами, а им — красным комиссарам. Все это пришло к ним позже и ускорило их конец.

Часто большевизм связывают с "русским национальным духом", с его стихийным размахом (Ф. Степун). Вряд ли это так. Историк А. Кизеветтер писал, что никакого "размаха" в большевизме он не видит. Напротив, большевики есть "выражение узости, прямолинейности, духовного скопчества... Это аракчеевщина, шигалевщина" (*"Новый Журнал", 1988, 172-173, с. 487*). Здесь нет противоречия. Одержимость и узость и определяли "большевистский напор"

* * *

Итак, большевики победили. Одержали полную и безраздельную победу. Настал, наконец, момент, когда можно было приступать к осуществлению давней ленинской мечты: "переворачивать Россию". Но, странное дело. Если не вдаваться в подробности внутрипартийных конфликтов, то достаточно, пожалуй, будет сказать несколько слов: растерянность, ощущение потери перспективы, неясность цели. Кончилась борьба с видимым, определенным врагом.

Он исчез, пропал из поля зрения. Военные хорошо знают, как тяжела бывает такая ситуация в боевых условиях. Запрограммированные на борьбу, большевики оказались в сходном положении. Его неплохо описал меньшевистский публицист Ст. Иванович. "Вот свершилось, — писал он в 1921 г., — "додушена" (ленинское выражение) буржуазия, интеллигенция бежала, залезла в норы и т. д. ...Стоны "додушенных" стихли. Те, кто избежал "додушивания", приспособились к тем, кто душил, а им душить некого. Сблизились..." (*Ст. Иванович "Царство социальной иллюзии" — "Современные Записки", 1921, 5, сс. 198-199*).

Что такое революционная партия в революционную эпоху? Ст. Иванович сравнивал ее со стрелой, пущенной с туго натянутой тетивы. "Траектория ее полета определена заранее факторами, не поддающимися уже изменению во время самого полета. Раз она была спущена, путь ее предопределен. Представить себе, что она вследствие охватившей ее в полете трусости вильнет направо, вильнет налево, — совершенно немыслимо" (*там же, с. 174*).

Но именно так произошло с "большевистской стрелой"! Пронзив головы противников, она потеряла темп движения и заметалась из стороны в сторону, лихорадочно ища новую цель. Вне борьбы большевизм вдруг обнаружил пустоту...

Перелистайте страницы эмигрантской публицистики. О чем идет спор? О *методе, способе* конца большевизма. Вопрос о его неминуемом конце почти не вызывает сомнений. С этим все ясно. Вопрос в том, *как* это произойдет. Добьет ли его какая-то новая внешняя сила — возродившаяся "белая армия", поддержанная интервентами, или большевики переродятся под воздействием, главным образом, внутренних факторов, действующих в России и в самой партии? Большинство, пожалуй, все-таки склонялось ко второму варианту. Так считали многие: от кадета П. Милюкова до меньшевика-интернационалиста Ю. Мартова. "Партия меньшевиков, — писал Мартов, — не желает насильственного ниспровержения большевистского режима. Она рассчитывает на эволюцию, на внутренее перерождение большевизма" (цит. по: *М. Вишняк "На родине" — "Современные Записки, 1920, 1, с. 231*).

Представляли ли свои перспективы сами большевики? Не

могли не представлять. Но положение страны после победы в гражданской войне исключало для них новую войну, за победу "мировой революции". "Мировая революция" оказалась мифом (или блефом). "Польский разгром" 1920 г. под Варшавой показал это со всей очевидностью. Подставная монархическая организация "Трест", созданная в 1922 г. ГПУ, делала все возможное, чтобы ослабить и подорвать белогвардейский "активизм". Но фактически ничто не грозило большевизму извне. Ржавчина внутреннего перерождения разъедала еще совсем недавно "стальные" большевистские бастионы. Ст. Иванович писал: "Спекуляция, казнокрадство, лихоимство и лиходательство, хищничество, подлоги, торгашество, воровство, ложь, лицемерие и притворство стали той общей почвой, на которой встретились и протянули руки друг другу все социальные и культурно-бытовые группировки в России" (*"Современные Записки", 1921, 5., сс. 198-199*). Вот если бы песня Звездинского о "комиссарах", которые вели "девочек" в кабинет, была посвящена этому времени, он был бы во многом прав. Комиссары, действительно, потянулись в "кабинеты".

НЭП, на введение которого решился Ленин, усиливал разложение режима. Полистайте последние работы Ленина. Они ясно показывают: он плохо представлял, что с этим НЭПом делать. То он уверял, что ввел его всерьез и надолго, то провозглашал, что "отступление" кончилось и пора "наступать". Куда? НЭП был "распиской" Ленина в авантюризме Октября. По свидетельству Л. Красина, Ленин теперь хорошо понимал, "куда мы залезли" (*"Новый Журнал", 1962, № 70, с. 182*).

Большевизму явно угрожало пришествие фигуры, политическое лицо которой весьма смахивало на Михаила Сергеевича Горбачева. Кто мог им стать? Бухарин, Каменев, Рыков? Да мало ли из "ленинской гвардии", тех, которые и на Октябрь в 17 году пошли лишь под мощным давлением ленинской воли. С Лениным они еще могли быть бойцами, без Ленина... То, что произошло в России в результате "перестройки" и после нее, вероятно, могло произойти еще в 20-х годах, если бы...

* * *

Если бы не Сталин. Он подошел к рулю управления партией и государством в ситуации растерянности и потери перспективы. Тогда Сталин заговорил о "построении социализма в одной стране", утверждая, что это — ленинская идея. К. Радек сказал ему: "Вы плохо читали Ленина. Ленин бы сказал, что это — щедринская идея. У Щедрина тоже один помпадур строил "либерализм в одном уезде" (*"Новый Журнал", 1946, 12, с. 164*). Но идеи мало волновали Сталина. Его волновала власть. Один из ранних соратников Ленина, потом резко разошедшийся с ним, меньшевик Ю. Мартов обладал почти пророческим даром и предсказал крах большевизма еще в дни большевистских побед. "Война, — писал он в 1920 г., — перманентно питает не только большевистский террор и мировой ореол большевизма, но и самый большевизм как противоестественную систему азиатского управления. Поэтому большевизм кровно заинтересован в том, чтобы война была перманентной, и бессознательно шарахается в сторону, когда перед ним встает возможность мира" (см.: *Ю. О. Мартов. Письма, 1916-1922. 1990, с. 49*).

Как это ни парадоксально, но мир, "нормальная", обычная жизнь, требующая решения тысячи "мелких" проблем в различных сферах этой "нормальной" жизнедеятельности, не под силу большевизму. Он "хорош" в экстремальных условиях, он — "военная партия", ему нужен бой. Сталин, если не умом, то инстинктом, понял: ленинская борьба по "переворачиванию" России, несмотря на победу в революции и гражданской войне, не привела к цели. Это был как раз тот случай, когда большевизм "потерпел победу". Но власть все-таки оставалась в руках все тех же октябрьских большевиков, вождем которых был теперь умиравший Ленин.

Когда мы подходим, по выражению Г. Федотова, к "сталинократии", мы оказываемся перед нелегкой проблемой. С Лениным все ясно. Он — цельная личность, цельная, как всякий фанатик. Его цель видна, как на ладони: "социалистическая" революция в России для разжигания мирового революционного "пожара". Он ничего не скрывает: ни цели, ни методов. Искать "потаенного Ленина" вряд ли надо: все главное им было сказано совершенно открыто. Можно

ненавидеть и резко осуждать его, но не видеть в нем политика нельзя. Он — революционный политик, пусть жестокий, бесчеловечный, но политик, возвышавшийся над своим окружением, — вождь.

А Сталин? В чем смысл его "деяний"? Где в них те грани, которые отделяют в нем революционного политика от уголовника, а уголовника от параноика? Интернационалиста от националиста? Революционера от царя? Цели и, главное, мотивы его правления как-то теряются в действиях, кажущихся то преступными, то совершенно бессмысленными, ничем не оправданными. Прежде всего вызывает недоумение его главное "действо" — уничтожение "ленинской гвардии", "октябрьского большевизма". Зачем? Разве эти "гвардейцы" (не считая Троцкого и еще нескольких) после слабого сопротивления не готовы были целовать ему сапоги?

Сталин далеко не сразу стал вождем. Он не обладал ленинским интеллектом, но у него была воля, рождающая страх. Страхом он "сломил" "ленинскую гвардию", в страхе держал свою, состоявшую, впрочем, либо из ничтожеств, либо из людей уголовного пошиба. Но так или иначе, Сталин стал вождем большевизма. Вождем, пусть не "помазанных" большевиков, а по большей части "примазавшихся" к большевизму, но все же вождем. Сталин боялся смерти не только как всякий человек. Он боялся ее, т. к. не видел вокруг себя того, кто мог бы заменить его. "Слепыми котятами" называл он своих "соратников". И, в общем, не ошибся. Со смертью Сталина и начался развал того, что все еще называлось большевизмом.

Заслуга Сталина перед большевистским режимом велика: он спас его в послеленинском глубочайшем кризисе и, по-видимому, продлил его существование на четверть века. Для этого ему пришлось сделать "немногое": продлить, а если быть точнее, — возобновить гражданскую войну, пробудив столь желанную для большевизма стихию борьбы. Против кого? Против тех, кто, по его мнению и убеждению, готов был перейти к "мирному состоянию", не понимая или не желая понимать, что в итоге — это смерть большевизма. Это было то, что впоследствии обернулось "горбачевизмом". Огнем, мечом, железом Сталин уничтожал существо-

вавший, потенциальный или мнимый, "горбачевизм". Не только его действительных и подозреваемых лидеров, но и ту почву, которая, по мнению Сталина, взращивала или могла взрастить их. Троцкий говорил о "перманентной революции", Сталин держал страну в состоянии перманентной гражданской войны. Это и называлось "построение социализма в одной стране". Для переворачивания России и создания большевистского режима Ленину потребовалось, может быть, несколько миллионов человек. Для спасения и сохранения этого режима Сталину потребовались десятки миллионов. Такое страшное кровопускание не могло пройти без последствий для большевизма и страны. Эти последствия были столь дальнодейственны, что изменили саму партию, ленинский "октябрьский" большевизм. От него мало что осталось: история мстила за насилие над собой.

"Сталинская метаморфоза" не осталась, конечно, незамеченной в российской "белой" эмиграции. Развернулся острый спор о ее характере и направлении. Многие, в том числе, например, и уже упомянутый нами Г. Федотов, считали: с социализмом в России покончено. Сталин сделал его лишь "вывеской для государственной тюрьмы". В России победила "национальная идея", и она скорее всего превратит Советский Союз в подлинное фашистское государство (см.: *Г. Федотов. "Новый идол", "Современные Записки", 1935, 57, сс. 399-400*). Далеко не все соглашались с этим. В. Руднев в тех же "Современных Записках" утверждал, что тактические ходы большевизма Федотов и некоторые другие принимают за его эволюцию, его изживание. Но это не так. Большевики и при Сталине верны своей идеологии, своим глобальным целям. Большевизм может опрокинуть только сила (*там же, с. 422*).

Думается, спор не закончен и сегодня. Хотел ли Сталин нахлобучить на свою голову "шапку Мономаха" или водрузить красный флаг над всем миром? А может быть, и то, и другое? Россия, хотя и искалеченная, оставалась "неперевернутой" даже им.

* * *

Когда большевики в октябре 1917 г. захватили власть, мало кто верил, что это не дольше, чем на несколько недель, даже сам Ленин и его окружение. Но время шло, а никто, как с удивлением говорил Ленин, не вывозил их "на тачке". Когда противники большевиков "очнулись", они, конечно, не могли не попытаться сбросить их силой. Но этим они только позволили им консолидироваться.

"Холодная война" поддерживала послесталинский режим, давала ему импульс. Трудно сказать, кто в последний период додумался до необходимости так называемой "разрядки". Думается, что идея пришла с Запада. С запозданием в 60-70 лет там наконец кто-то понял: "Советы" надо поставить не перед лицом видимого врага, а дать им возможность "спокойно" развиваться в условиях "нормальной" жизни, когда нужно кормить, одевать, просвещать, лечить и т. д., притом на уровне цивилизации второй половины XX в. Возможно, эта простая мысль могла возникнуть только в условиях ядерного противостояния, но ведь оно могло длиться еще десятки лет.

Леонид Ильич Брежнев был, пожалуй, самой подходящей фигурой для восприятия этой, как любил говорить М. С. Горбачев, "подброшенной" нам идеи. Уже по дате рождения он принадлежал к числу не "помазанных", а "примазавшихся" коммунистов, номенклатурщиков-"жизнелюбов". Своего "коммунистического" кредо он не декларировал. Ленин бредил мировой революцией, Сталин уверял, что строит "социализм в одной стране". Кредо Брежнева было понятнее: "Живи и давай жить другому". Он был ярким представителем и последовательным выразителем тех "коммунистов", которые устали от Сталина, от войны, от хрущевских "кампаний". Они хотели покоя, удовольствий, наслаждений. Они устали от борьбы, не хотели ее, страшились. Уже Хрущев не был вождем, как Ленин или Сталин. Ленина называли Ильичем, Сталина — Иосифом Виссарионовичем; Хрущева — Никитой, а то и Никиткой. В Брежневе "вождизм" был равен нулю. Он был склонен к умилению, нередко пускал слезу, напускал на себя важность, ни о ком не было так много анекдотов, как о Брежневе. Присутствие Брежнева на посту генсека свидетельствовало о закате большевизма. Разрядка достигла цели. Именно она ввергла Советский Союз в состояние,

которое потом называли застоем, но которое, как теперь кажется, для "простого человека" было, пожалуй, лучшим временем жизни. Гражданская война кончилась или кончалась. Но режим начал на глазах разлагаться. Быстро выделялся слой людей, жадно смотревших на Запад, сверкающий витринами, рекламой, яркой упаковкой всех и всяких товаров. Разрядка была предтечей перестройки — попыткой взбодрить большевизм. Ее ускорили, конечно, происходившие одна за другой смены генсеков: номенклатуре, особенно второго эшелона, требовались генсеки "длительного пользования", именно такие долгожители создавали ей режим стабильности.

Ощущение потери стабильности стало тем фактором, который окончательно подвигнул ее на горбачевскую перестройку. Слишком поздно. И большевизм был уже совсем не тот, да и Горбачев, несмотря на все свое актерское мастерство, не тянул на вождя. Он много говорил, но, видимо, плохо знал, что делает. Он напоминал Александра Федоровича Керенского. Он хотел оживить систему, реформировать ее, но вынужден был присутствовать при заколачивании покойника в гроб другим "большевиком" послесталинского призыва, Борисом Ельциным. Бессилие ГКЧП и дрожащие руки главного гекачеписта Янаева были ярким свидетельством полного маразма когда-то могучего большевизма. В октябрьские дни 1917 г. Л. Троцкий говорил, что место противников большевизма — в мусорной корзине истории. Теперь большевизм отправлялся туда сам...

Либеральная и революционная интеллигенция начала века свято верила в то, что с падением самодержавия Россия чуть ли не мгновенно преобразится в страну справедливости и свободы. Вот почему Февраль 1917 г. вызвал чуть ли не всеобщую эйфорию. Что-то похожее мнилось и советской интеллигенции "диссидентского толка": лишь бы сбросить советский режим, тогда придет освобождение и расцвет. И ликование 21 августа 1991 г. у Белого дома в Москве напоминало ликование 2 марта 1917 г. у Таврического дворца в Петрограде. Но еще перед войной Г. Федотов писал: "Нет, решительно нет никаких разумных человеческих оснований представлять себе первый день России "после большевиков" как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над Рос-

сией после кошмарной революционной ночи, будет скорее туманное, "седое утро", которое пророчил умирающий Блок.

И каким же другим может быть утро после убийства, после титанических потуг и великого идейного дурмана, которым убийца пытался заглушить свою совесть? Утро расплаты, тоски, первых угрызений... У разбитого корыта бедности, отсталости, рабства, может быть, национального унижения. Седое утро..." (*Г. Федотов "Завтрашний день". "Современные Записки", 1938, 66, с. 362*).

Закончу эпизодом, который, на первый взгляд, представляется не связанным с темой статьи.

Слова "перевернуть", "перепахать" и т. п., кажется, были любимыми у Ленина. Вспоминая о влиянии, которое на него в юности оказал Н. Чернышевский, Ленин говорил: — "он меня всего "перепахал", т. е. в корне изменил его мысли, указал путь жизни и борьбы. Чернышевский в молодости, как и Ленин, считал себя "орудием истории", человеком, призванным ее изменить для блага человечества.

В 1936 г. "Современные Записки" опубликовали интересные воспоминания писателя Е. Чирикова, в частности, о его встречах с Чернышевским, когда тот был уже освобожден из многолетней ссылки и жил в Астрахани. В редакции местной газеты Чириков не раз встречался и беседовал со стариком Чернышевским, которого все еще осаждали интеллигенты, приставая с вопросом: а что же теперь делать интеллигенции? Что делать с Россией? Не удержался от такого вопроса и Чириков. В ответ Чернышевский рассказал ему об одном эпизоде из своей жизни, когда он еще молодым жил в Петербурге. Рассказ напоминал притчу. Чернышевский поднимался по крутой лестнице к себе на 5-ый этаж. Впереди с вязанкой дров на спине шел мужик, чтобы растопить кому-то из жильцов печь. Чернышевский видел его и раньше, но обычно, погруженный в свои думы, не обращал на него внимания. Теперь он заметил, что вязанка на спине мужика плохо держится и вроде бы рассыпается. Чернышевский решил помочь, ухватился за вязанку и... поленья полетели вниз.

Мужик обложил Чернышевского матом. Оправдываясь, тот стал говорить, что ведь хотел помочь, подсобить.

"— Ах ты, так тебя перетак, — ругался мужик, — да кто тебя просил помочь?.. Не лезь, когда тебя не просят! Не смыслишь в этом деле, так нечего и соваться..."

"Как часто, — заканчивал Чириков свои воспоминания, — потом вспоминалась мне эта мудрая притча Н. Г. Чернышевского. И каким зловещим пророчеством звучит она для нас теперь..." (*"Современные Записки", 1936, 60*).

Дорого заплатила Россия за многочисленные попытки ее "переворачивания": огромной братской могилой. В этой могиле, писал Георгий Иванов историку Михаилу Карповичу, "вперемежку лежит вся ее суть от Пушкина до царской семьи, вперемежку с Леонтьевым и Желябовым, Анненским и Надсоном, Чаадаевым и тем подполковником, который, когда царскую семью привезли в Екатеринбург, стал с утра перед забором дома и простоял под дождем навытяжку, с рукой у козырька, несколько часов, пока не прогнали прикладом..." (См.: *"Новый Журнал", 1996, 203-204, с. 181*).

Канада

Григорий Свирский

АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО

Сахаров после Сахарова

Оттого ли, что у каждого было свое устоявшееся годами восприятие "неординарного" академика Сахарова и подвига его жизни, отношение вдовы к памяти ее мужа не вызвало всплеска общественного интереса. Скорбь Елены Георгиевны Боннэр была естественна, постижима и без ее новейших страниц. Книга Боннэр "Звонит колокол" (1991), по сути, осталась незамеченной. А жаль! Она бросает необычный свет и на заминированную судьбу неуправляемого академика — личности исторической не только для России, и на конвульсию власти, пытавшейся помешать ему создать и выпустить в свет неподцензурное изложение сахаровских мыслей. Страх властителей перед сахаровским словом может сравниться разве что со страхом убийцы, обнаружившего, что выходят на его след...

Вот как все это выглядит в самом кратком изложении.

Летом 1978 года Андрей Сахаров начал писать свою книгу, известную ныне всему миру. К осени готовы первые главы. В октябре из его квартиры на улице Чкалова рукопись исчезла. А с ней и немыслимо старая куртка Андрея Дмитриевича и поношенный халат — немудреный маскировочный маневр службы госбезопасности.

Началась старинная игра в полицейские и воры, только в этом случае и воры, и полицейские были в одном лице, справедливо и язвительно замечает Елена Боннэр. Теперь первые экземпляры складываются в сумку, которую Елена Георгиевна, выходя из дома,

неизменно прибинтовывает к себе, что в жару невыносимо, вроде бы на твоем теле согревающий компресс. Но... приходится терпеть.

В марте 1981-го в зубоврачебной поликлинике Горького Сахаров на минуту отвлекся — сумки с рукописью и со всеми дневниками и документами как не бывало... "Вечером 13 марта 1981 года он встречал меня на вокзале в Горьком, — вспоминает Елена Боннэр. — Какой-то растерянный, с запавшими глазами, осунувшийся. Первые слова его были: "Люсенька, ее украли..." Он казался мне больным физически от этой утраты, и в первый день я не решилась ему возражать, когда он сказал, что больше писать не будет, что нам КГБ не перебороть. Но через день я написала на бумаге (Сахаровых подслушивали. — *Г. С.*), что он должен восстановить утраченное. Андрей ничего не написал в ответ, а только покачал головой. Я взорвалась и, забыв всякую конспирацию, стала кричать, что он опять идет на поводу у КГБ и, что, пока я жива, этого не будет" (сс. 98-99).

Власть, записывавшая новейшей американской аппаратурой каждый вздох в сахаровском доме, мимо таких "подарков" себе, естественно, не проходила. И пришла к твердому убеждению, что это Елена Георгиевна "сбила с толку" законопослушного ранее ученого и вообще стала в их семье лидером неповиновения, политическим "мотором".

На самом деле, это было не так. Когда на Западе появилась провокационная статья журналиста Виктора Луи о том, что взрыв в московском метро, когда погибли люди, в основном дети, произвели диссиденты, Андрей Дмитриевич тут же стал писать ответ провокатору.

"...Я испугалась, — откровенно сообщает Елена Боннэр. — Такой замах на КГБ при отсутствии каких-либо доказательств казался мне очень рискованным... Эта организация все "заносит на скрижали". Знает ли об этом Андрей?

— Да, конечно, — был лаконичный ответ".

И Елена Боннэр, и их друг Софья Каллистратова, храбрейшая из московских адвокатов, защитник диссидентов, пытались Андрея Дмитриевича отговорить.

— Люсенька, это необходимо, — тихо сказал Андрей Сахаров жене и поступил по-своему. Не в первый раз и не в последний...

Но КГБ не отвлекался на мелочи. "Где книга Сахарова?" — спрашивал министр госбезопасности Юрий Андропов у генерала Бобкова, многолетнего охотника на диссидентов, и от вкрадчивого голоса министра у того холодела спина.

Одиннадцатого октября 1982 года, когда Сахаров сидел в машине, разбили стекло кабины и сунули Андрею Дмитриевичу в лицо какой-то ядовитый спрей, и он потерял сознание.

Об этом упоминается и в трудах самого Сахарова, однако без записок Елены Боннэр мы никогда не узнали бы ни о внутреннем конфликте в его семье, которую государство решило затравить, ни о психологическом стрессе Андрея Сахарова, обескураженного очередной кражей. Без этих воспоминаний самые животрепещущие, полнокровные страницы духовной истории современной России остались бы неизвестными. По счастью, они не пропали.

"...Он шел от машины ко мне навстречу, вытянув вперед руки, как бы неся их перед собой, и с них капала кровь. Лицо его было совершенно белым. Я подбежала и схватила его за руки. Несколько мгновений он ничего не мог ответить на мои вопросы, будто он не совсем в сознании и не все понимает. Потом он заговорил, но не мог точно вспомнить, как все произошло. Мы пошли в милицию... Нас допрашивали в разных комнатах... Иногда Андрей как бы отключался. Сказал, что его подташнивает... Потом его вырвало... Он опять говорил, что с книгой ничего не выйдет, а на третий день — так плотно засел за работу, что исписывал иногда по 30-35 страниц в день... шутил, что злость — болезнь инфекционная, что я его заразила своей злостью, и он становится графоманом..."

В декабре того же года Елену Георгиевну обшаривали в поезде Горький—Москва как воровку. Опять пропала треть книги. Ордер на обыск, предъявленный в вагоне поезда Боннер, означал, что впереди может быть и арест..

Снова отчаяние и снова, сжав зубы, работа.

"Черновой экземпляр книги с восстановлением части украденного Андрей закончил в начале 1983 года, — взволнованно сообщает Елена Георгиевна... — И тут у меня случился инфаркт, меня привезли домой на "скорой", в сопровождении медсестры, предварительно взяв расписку, что они за меня не отвечают".

В больнице, дома, на улице Елена Георгиевна не расстается с сумкой. Наконец, "в ночь на 20 мая, — сообщает она языком опытного конспиратора, — мне удалось "оторваться"... от полицейского ворья. Успела передать рукопись друзьям. И 21 мая я узнала, что рукопись улетела...

А утром 20-го (видно, что-то чувствовали мои преследователи, но проморгали) у моей двери появился круглосуточный милицейский пост".

И торжествующая запись: "Так вот и было в жизни. И книга, все-таки осуществленная, вопреки всему выжившая "всем чертям назло".

Нет пророка в своем отечестве. Его забрасывают каменьями. Россия не стала исключением... Плата Андрею Дмитриевичу за подвиг — ранняя смерть, — в ночь на 14 декабря 1989 года, после его резкой критики в Кремле руководства страны ("Оно ведет страну к катастрофе!") и истерического окрика Горбачева, отключившего во время выступления Сахарова микрофон.

Елена Георгиевна слегла... с тремя инфарктами.

Но, едва при помощи американских хирургов выкарабкалась, выяснилось, что силы ее сопротивления произволу не ослабли. Лишь двойная нагрузка легла на плечи. Статьи Боннэр этого времени пронзительны, как отчаяние. "Московские куранты" под ее пером звучат набатом: "Преступники прячутся за спины друг друга. Пуго не знает, Крючков не ведает, а Горбачев сообщает, что он лишь на другой день узнал о трагедии Тбилиси".

Знакомство с книгой Елены Боннэр заставило меня как бы заново пережить свои шестидесятые годы. Рискованные схватки с властью, в конце концов изгнавшей писателя из страны: как сообщил тогда министр КГБ Андропов в своем секретном представлении в ЦК КПСС, оставлять Григория Свирского в России "нецелесообразно..." Снова и снова размышлять в своем канадском затворничестве о том, что повторяется регулярно и что не увидеть просто нельзя: когда Россия вляпывается, по глупости или подлости правителей, в очередную кровавую "разборку" с собственным народом или войну с мирным соседом, немедленно, из года в год, звучат мужественные голоса, противостоящие власти. Со временем

обнаруживаешь, что чаще всего это одни и те же голоса. Они звучат неизменно, иногда в ущерб самим протестующим, их благосостоянию, карьере. Дополняя, порой могуче, на весь мир, рискованно смелый голос Елены Георгиевны...

Депутат Российской Думы Сергей Ковалев вырывается в Чечню, под бомбы российской авиации, чтобы спасти от бессмысленной палаческой расправы мирное население.

Валерия Новодворская истово, вслед за Боннэр, клянет Горбачева, не прощая ему расстрелов в Баку, Вильнюсе. Уличает его, как свидетельствуют ныне рассекреченные документы, справедливо. Молодую женщину заталкивают в Лефортовскую тюрьму, из которой ее освобождает лишь падение Горбачева. Она не унимается и сегодня, предупреждая сограждан: либо они похоронят Ленина по христианскому обычаю, либо воспрявшие большевики их самих быстренько похоронят по обычаю сталинскому... На фоне всеобщего и постыдного молчания "инфантильной московской интеллигенции" (выражение Елены Боннэр) все те же самые трое совестливых и храбрых людей — из года в год — требуют от власти честности, открытости, клеймят ее в своих гневных филиппиках за пролитую кровь невинных людей. Фигурально выражаясь, они поддерживают нравственное небо. Хоть это и может прозвучать выспренно, они, по сути, современные атланты...

Все чаще я ловил себя на желании отложить все дела и написать о них, исступленных российских атлантах, без которых России в совести и мире не жить.

Попав в Москву по своим издательским делам, я принялся заодно и за свой замысел.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Елена Боннэр больна. Сергей Ковалев — депутат Думы, его секретарь не отвечает.

Валерия Новодворская в отъезде, когда вернется, не знает даже ее мама...

За неделю до моего возвращения в Канаду отозвалась Елена Георгиевна Боннэр. Голос больной. Не кашляет, а бухает.

— Писатель Свирский... Свирский... Что я читала Свирского?

— Не знаю. Я был изъят из всех советских библиотек в 1968 году.

— А! Так это вас упоминает Сахаров в своих "Размышлениях о прогрессе"?

Я вздохнул обнадеженно.

Закашлялась — побухала, завершила категорично:

— Вначале сходите в наш музей. Земляной вал, 57. Расскажете о своем ощущении. Пока все!

1. САХАРОВСКИЙ ЦЕНТР

Стеклянные витрины с парадами, голосованиями, детскими восторгами вокруг любимого вождя и учителя — на фоне тюремной, до потолка, стены из красного кирпича. Стена доминирует. Что на ее фоне хрупкий стеклянный, вчерашний фанфарно-газетный мир?!

Увы, не так он хрупок и ломок, этот вчерашний мир, как хотелось бы устроителям!..

Вторая стена (второй неф, как значится в описании) разделена на секции, внутри каждой — небольшая, из тюремного дела, фотография расстрелянного, краткое описание судьбы невинной жертвы государственного бандитизма. Впечатляет, но, пожалуй, слабее, чем тюремная стена (первый неф): секции-"камеры", на мой взгляд, не столь наглядны: тут нет бросающихся в глаза полос-запоров из грубого железа или, скажем, замочных скважин (хотя бы в одной из "камер"), поэтому леденящего душу ощущения одиночек для смертников, задуманных художником, поначалу, без объяснительного чтения, не возникает; секционные полки, к тому же из крашеного дерева, напоминают, скорее, стенку в большом книжном хранилище.

Последний неф посвящен Андрею Сахарову, его гражданскому подвигу и ранней смерти. А о высоком чувстве любви к Андрею Дмитриевичу Сахарову, выраженном всесторонне, и карандашом художника, и документом, и говорить не приходится.

Еще раз окинул взглядом полупустой зал. Надо бы радоваться, а на душе почему-то тяжко. Не сразу понял, отчего такое? Лишь когда вышел, оглянулся на добротный двухэтажный особняк Саха-

ровского центра, постиг, отчего помрачнел: да оттого лишь, что все это — музей. Была эпоха крушения диктатур. Эпоха надежд, планов на быстрое исцеление России. Одними эпоха называлась горбачевской, другими — сахаровской. А теперь Сахаров — музей. Вроде музея курганных раскопок. Недавнее-давнее прошлое. Обидно!

Вид Елены Георгиевны Боннэр оптимизма не добавил. Немолодая женщина с опущенными усталыми плечами. Рука вялая. "Укатали сивку крутые горки", — подумал я печально. К тому же ничего нового она от писателя из Канады, скорее всего, не ждет, да и утомил ее нескончаемый, как Млечный Путь, многолетний поток диссертантов, политологов, писателей, и местных, и заезжих.

— Я уже все сама рассказала, — сообщила тихо. — Катя, — окликнула она служащую сахаровского архива, — дайте писателю мои последние книги. "Дочки-матери" и "Звонит колокол"... "Колокол" читали? Тут все есть... Как вам наш Центр?

Я отвечаю, она отрицательно машет головой.

— Школьникам секции-камеры не кажутся книжным хранилищем. Впрочем, спросите Юру Самодурова, он исполнительный директор Центра... Я стараюсь уйти от конкретной текучки. Устала и... других дел вагон. Занята дневниками и письмами Сахарова... Конечно, не изучены! — едва о Сахарове заговорили, голос ее стал живее. Зазвучал едва ли не молодо. Куда немощь испарилась? То была уже порывистая, ироничная, знакомая по "огнепальным" статьям Елена Боннэр...

Стала рассказывать о "своем Андрее" и — будто возродилась. "Птица Феникс", — подумал я, слушая, как она восклицает, — энергично, категорически:

— Нет, никого допустить к документам Сахарова не могу. Только и только сама... Почему? Когда умер Андрей Дмитриевич, была образована, извините за расхожий канцеляризм, общественная Комиссия по увековечению памяти. Да Сахарова, Сахарова! Государство и тут не шелохнулось... К чему это государственным мужам! Они уже все свершили, — усмехнулась саркастически. — Год национального примирения у нас уже идет, Год национальной идеи идет. Теперь у нас Год прав человека... Катя, а как смотрят на

это Алексеева, Касатонов, Пташкин — комиссия по человеским правам?

— Их никто не спрашивал!

— Вот-вот! — в голосе ее появились нотки брезгливости. — Президент Ельцин и прочие казенные инстанции к Комиссии по увековечению памяти академика Сахарова отношения не имели. Никакого. Вот так! — И тише, домашнее: — Комиссия возникла на эмоциональной основе. Пришли те, кто любил Сахарова. Понимали его значение для России. Мы выработали свой устав. Долго добивались формального признания. Вначале нас отправили в Моссовет, это-де, его дело. Зарегистрировались там. Но тут разогнали Моссовет, сказали, надо еще где-то. Затем разогнали и это "где-то". Появился указ, что все общественные организации будут регистрироваться в Министерстве юстиции... Наконец-то! Поступили, как требовал указ. Добились признания, как мы считали по своему легкомыслию.

Оказалось, тут только все и началось. Мы намеревались заявить о себе государству такими, какими являемся на самом деле — организацией международной. Общественная комиссия "Фонд Сахарова" существует и в Москве, и в Нью-Йорке. Чиновники от юстиции мялись, разводили руками: дело это для них новое... К тому же необходимо было скоординировать наш Устав с американским законом о бесприбыльных организациях (non-profit organization). Началась многолетняя волынка. Наконец, все печати в Минюсте были поставлены, можно было хлопотать и о помещении... Наши мытарства носили отнюдь не личный характер. Это были сложности общего становления гражданского общества, его формального признания властью, которая семьдесят лет подряд это общество стреляла без суда — на Лубянке, Соловках, Беломорканале. Началась новая эра. Уже не требовалось прорываться в мир полуподпольными "Новостями из СССР". Кстати, они издавались здесь, в моей квартире. Алеша Смирнов, Володя Тольц, Иван Ковалев, сын Сергея Ковалева... Лживую тишь да гладь государства взрывали их новости...

Кто-то постучал в дверь, заглянул высокий интеллигентный очкарик, сообщил, что в Сахаровский центр приехал из Томска представитель местного "Мемориала". С видеокамерой.

Вошел бочком, робко плотный, борцовского сложения сибиряк, пошуршал видеокамерой, направленной на Елену Боннэр, сказал извиняющимся тоном:

— Не ожидал, что застану вас сегодня. Спасибо. От всех. От нашего Центра по правам человека... Сколько нас? Трое. — и попятился к выходу.

"И тут музей", — мелькнуло у меня не без досады. Летит в Сибирь портрет вдовы основоположника. А про дело ни слова. Все в прошлом?

Представлявший томича высокий интеллигентный очкарик сморщился, будто собрался чихнуть, сказал с едва уловимой иронией, что президент снова указ обнародовал...

— Какой президент? — в тон ему спросила Елена Георгиевна — Я тоже президент... А, тот, за которого я не голосовала... Нет, не голосовала, — повторила она в ответ на мое вытянутое в недоумении лицо. — Ни я, ни Сергей Ковалев... Из трех, интересующих вас как писателя лиц за Ельцина билась лишь неугомонная Валерия Новодворская. "Даешь Ельцина, Бог с ним, что он ни к черту не годится!" Я же большой разницы между чумой и холерой не вижу...

— Холера холерой, — вырвалось у меня, — но она все же вас как-то финансирует, эта холера! Особняк для Сахаровского центра, зарплата архивистам. Новое правительство...

— Новое правительство... со старыми заплатками, — горьковато усмехнулась Елена Георгиевна. — Навстречу нам пошли лишь московские правители. Квартиру для архива дал бывший мэр Гавриил Попов. Землю и особняк под Сахаровский центр выделил в свое время Лужков, спасибо им. Но все остальное — до последнего гвоздя — мы должны были добывать, что называется, где хошь... Все средства достаем на Западе, правительство России не дало ни одного рубля.

— А вы что ж, не просили? — вырвалось у меня.

— У Ельцина — нет! — резко сказала, непримиримо. Почти воскликнула.

— Елена Георгиевна, вы порвали с Ельциным и его людьми из-за Чечни?

— Полностью — да! Но, по сути, раскол произошел раньше. В

1992 году в обществе крепла идея Учредительного собрания. Для формирования самого важнейшего — конституции страны. Правительство и президент Ельцин сумели нашу политическую и интеллектуальную элиту обмануть. Подменили долгожданную и правомочную "Учредилку", как ее в давние годы называли, бесправным Конституционным совещанием. Говорильней. Обман был явный, хотя матрос-партизан Железняк с его исторической сентенцией: "Караул устал..." на этот раз не присутствовал... Тем не менее, ни один делегат, удостоенный мандата творца конституции, и не пикнул. "Ведь обмануть меня нетрудно, — предсказано классиком, — я сам обманываться рад...". Никто не знает, кто и где "дорабатывал", как правило, дельные предложения участников Совещания — юристов, социологов, ученых. В результате, и сшили конституцию под Ельцина. Широкий, не стесняющий его движений кафтан — с обстоятельной декларативной частью и... без всяких механизмов исполнения.

— Тому есть известный прецедент, — заметил я. — Была у нас прекрасно изложенная конституция — сталинская 1936 года. На Западе советологи читали научные лекции: "1937 год был пиком развития демократии..." На одну такую лекцию — профессора Торонтского университета — угораздило попасть и меня. Помнится, напечатал об этом статью в "Новом русском слове". Под названием "Бойтесь советологов". До сих пор торонтские советологи не могут спокойно слышать моего имени...

Елена Георгиевна усмехнулась краем губ и несколько секунд так сидела — с застывшей усмешкой: видно, фраза "не могут спокойно слышать моего имени" вызвала у нее свои ассоциации. Что сразу и подтвердилось:

— Я уже подумывала уйти от руководства Сахаровским центром. Чтоб ребятам выжить.. — и вздохнула тяжко. — Чего я боюсь, — продолжила она, — прорвется в коллектив Центра чуждый по духу человек...

— Такой тут не уживется, — бодро возразил я, — у вас коллектив энтузиастов.

Она снова вздохнула:

— Боюсь.

Тут только я начал понимать, что такие попытки уже делались.

И, может быть, не однажды. Могла ли государева служба, годами привыкшая к своеволию, не попытаться "обезвредить" столь известного и на Руси, и на Западе человека, шагавшего с ельцинскими ястребами "не в ногу"?

Повела плечами, словно освобождаясь от невидимого груза, продолжила тихо:

— Когда возникло противостояние Верховного Совета с администрацией Ельцина, приходилось — хочешь не хочешь — принимать всерьез этот наскоро сшитый законодательный кафтан "под Ельцина". Для меня это было сложным рубежом... Я понимала, что именно тогда, в дни вынужденной "всенародной поддержки" Ельцина как наименьшего зла, мы предали идею конституционного государства. Мы все виноваты в том, что Россия докатилась до Чечни...

Осознавать это и находиться в ельцинской упряжке противоестественно. Я публично порвала с Президентом своим открытым письмом от 29 декабря 1994 года. Тогда же вышла из правительственной Комиссии по правам человека. И больше никогда не имела с ними дела. Хватит!

— Допустим, Елена Георгиевна, сахаровские идеи, как и сам общественный Центр им. Сахарова властям был в дни Чечни хуже горькой редьки, ну, а люди независимые, скажем, известные наши скоробогатеи-меценаты? Банкиры, бизнесмены? Они не понимали значения такого Центра? Не слыхали об академике Сахарове?

— Наш исполнительный директор обил пороги всех российских банков. Увы!.. Если бы не зарубежные фонды... наверное, сели б на мель. Тем более, дел у нас все больше и больше. На днях ждали из Минска Василя Быкова. Обсудить проблемы Белоруссии, нарушения там прав человека. Болен Василь Быков, попросил передвинуть дату. Приедет Алексиевич... Кроме того, существует в Минске Колледж имени Сахарова, который впервые в мире выпускает специалистов по радиологической безопасности. Мы создали в свое время большой патронажный комитет — совместно с японцами, французами, американцами. И начали новое дело на минской базе, когда у власти был Шушкевич. Студенты пришли, как правило, из районов, затронутых Чернобылем. Учатся пять лет, первый набор

был из третьекурсников физфака. Сейчас идет уже обычный прием. Колледж существует в ужасных условиях. Как легко понять, новый глава Белоруссии им не озабочен... Конечно, там бывают ученые из московского ФИАНа и, естественно, наш Юра... Кстати, этот парень — родоначальник одной из величайших идей современности. Идею "Мемориала" породил он. Его фамилия Самодуров. Юра Самодуров. Идея "Мемориала" была вынесена им на люди, кажется, в 1987-м. Весной 1988-го уже "сбилась" первая группа энтузиастов "Мемориала". И провела свою первую встречу. Там и Сахаров был. Я рвалась туда, но не попала. Смешно сказать, снова милиционер помешал, на этот раз из ОРУДа. Поорал на нас: машину у здания не ставить, тут же угоним! Пришлось ждать Андрея на улице, за рулем. В 1988 году к несанкционированным сборищам относились неодобрительно. Настороженно. А к Сахарову тем более. Только-только был ссыльным... "Законники" помягчели лишь после выступления Сахарова в Верховном Совете; к тому заседанию я летела из Штатов, умчавшись домой в час назначенной мне операции на сердце... Теперь не летаю. Какое! Я уже не очень живая. Скорее, мертвая, чем живая... Счастье, сахаровские птенцы оперились. Правда, с "Мемориалом" они едва не наломали дров, переругались. Юра даже меморандум к ним послал, де, к вам ни шагу. Впрочем, сам расскажет, каково в России человеку с новыми идеями.

2. ЮРА САМОДУРОВ — ОТЕЦ "МЕМОРИАЛА"

— Я никогда не был правозащитником, — поправил меня Юра с мягкой, не обидной собеседнику настойчивостью, когда мы уединились в одной из комнат Сахаровского центра и меня угораздило похвалить его как многолетнего правозащитника. — Да и сейчас не правозащитник. Я как бы вовсе не знал людей их круга, когда начинал "Мемориал". Я родился в Москве в 1951 году... — и строго поглядел на меня сквозь свои большие "профессорские окуляры", смягчавшие ощущение незащищенности его мальчишески-припухлого лица потомственного интеллигента.

"Так, — мелькнуло у меня. — Чужая слава не греет и... надоело ему быть мальчишкой? Даже при уважаемой Елене Георгиевне".

— Я потомственный геолог, — настойчивее продолжал он. — Родители мои геологи. И жена геолог. Вся моя родня — русская техническая интеллигенция. Тем не менее, я из геологии ушел. По двум причинам... Первая. Из всех видов геологии мне ближе всего история геологии. А быть холодным сапожником не хотелось... Вторая причина не менее основательная. Меня живо интересовала судьба моих бабушек и дедушек. Одна из бабушкиных сестер Ольга Львовна Адамова-Слиозберг едва выжила на Колыме и написала об этом книгу. Ее вспоминает Солженицын в своем "Архипелаге", Маршак хвалил...

Мой дед, Бондарев Петр Петрович, считалось, звезд с неба не хватал, был в заштатном городке Сызрани школьным учителем труда. Больше всего на свете любил охоту и свободу. В 1941-м его арестовали как японского шпиона. А может быть, английского. Он строил, в драном ватнике и деревянных котах, железную дорогу Самара—Москва. А бабушку рвали немецкие овчарки, когда она пыталась сунуть ему хлеб и табак через колючую ограду...

Мне и года не было, когда мать-геолог увезла меня в Сызрань, к бабушке, и я жил там до пяти лет. И потом, пока старики были живы, я каждое лето туда ездил. Я — сызранский! — и посмотрел на меня внимательно: понял ли я, что он, Юра Самодуров, не "номенклатурный" сынок-легкарик, не столичный "бульвардье", как говорят французы, а — сызранский...

Я еще был школяром, когда вокруг моих стариков собирались бывшие колымчане, — продолжил он свой рассказ. — Мне был интересен этот круг. Мне хотелось с ними общаться... Я не мог изменить судьбу моих бабушек и дедушек, но не желал, чтобы тот же путь повторили когда-нибудь мои дети. Словом, хотел изменить жизнь к лучшему. Геология же в России, и научная, и полевая, как я понимаю, на жизнь простого человека серьезным образом не влияет, на общественную тем более...

Обстоятельность и четкость Юры мне нравились, я взглянул на него с улыбкой; он помолчал настороженно, продолжил неторопливо, с прежней степенностью:

— И вот эти жизненные обстоятельства, эта моя привязанность к российской глубинке, у которой всегда были свои насущные кровные заботы, обострили мой интерес к жизни внутренней...

Когда он принялся перечислять по пунктам "жизненные обстоятельства" глубинки, чуть пристукивая белыми пальцами по столу, я уже почти любил его: "подробник" и невыносимый логик. Обо всем, что не относилось к выводам безусловным, математически выверенным, он добавлял свое неизменное "как бы":

— В институте я уже стал, по душевному влечению, как бы политологом.

В тот день, когда вернули из ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова, я решил, что Бернамский лес двинулся. Началась новая эра. Идея "Мемориала" возникла у меня намного ранее и совершенно естественно. Такова, как вы знаете, жизнь нашей семьи. Возвращение Сахарова помогло мне сформулировать эту идею четко: невозможна перестройка без памяти об уничтоженном, порушенном. Я набросал тезисы своей идеи, отправился к редакторам, о которых было известно, что они люди безусловно честные. Помнится, фамилия одного из них Шевелев. Редактора сказали, что в моей работе все правильно, но напечатать еще ничего нельзя.

"Все правильно!" Я ушел счастливый. Для начала этого было для меня вполне достаточно.

5 мая 1987 года появилась статья Гавриила Петровича Попова "Административно-хозяйственная система и жизнь". Для меня это как глоток свежего воздуха. Не власть долдонит о перестройке, топчась на месте. Уважаемый человек говорит — профессор, известный экономист. В клубе "Новатор" на Академическом проспекте, клубе перестройки, как его называли, объявили обсуждение статьи Попова. До этого дня здесь собиралось человек 50-60. Впервые был полный зал. На ступеньках сидели, в проходах. Выступали с необычной откровенностью. И в зале уже не переглядывались боязливо. Спасибо Гавриилу Попову, начал оттаивать народ. Стал размышлять. Но к идее "Мемориала" были еще глухи.

Когда рассказал там же о своей идее, тишина будто сгустилась. Оглядываются люди по сторонам, как бы опасаясь чего-то. Но смеха нет. Иронических реплик тоже. Объявляю громко, что сижу сбоку, у стены, кто хочет подписаться под наказом, — прошу. Никто не подошел.

Однако к лету все же наметился в обществе перелом. 19-21 ав-

густа в том же знаменитом клубе собрались представители пятидесяти общественных организаций. Готовился выступать перед ними с ночи. В четыре утра кончил обзванивать друзей, обговаривать формулировки, сел за окончательный текст меморандума. В девять утра завершил... Один экземпляр меморандума наклеил на картон. Повесил на всеобщее обозрение. Второй не выпускал из рук. Понимал — либо тут объявлю, либо умрет идея.

Записался для выступления, жду своей очереди. Первый раз в жизни собираюсь вынести на столь ответственный сбор самое свое дорогое. Так разволновался, что заплакал. Мне на трибуну идти, устроители зовут, ищут взглядом, а я заливаюсь слезами. Приятель выручил. Миша Малютин. Он читал, а я всхлипывал.

Так или иначе, мы огласили свои идеи. Число наших сторонников разрасталось в геометрической прогрессии. И вот, наконец, собралось учредительное собрание долгожданного "Мемориала". 29 января 1989 года приехали по этому случаю люди из разных городов. Социологи, университетские политологи, доктора наук. В задних рядах дети и внуки погибших в лагерях. Таких бурных схваток, такого взаимного ожесточения в жизни не видывал. Одни требовали люстрации, как в Чехии. Чтоб партийный функционер КПСС не подпускался ни к одной государственной должности и на пушечный выстрел. Другие предвещали в этом случае гражданскую войну. Я опасался, что крайности погубят "Мемориал", власти испугаются его и не признают. Просил в общем документе оставить лишь то, что приемлемо для всех. Какое!

Заострили текст настолько, что учредители в конце концов не решились послать его в Верховный Совет. Наш корабль на полном ходу врезался в камни, притонул; я покинул это потерявшее разум сборище и на другой день отправил им письмо, что из "Мемориала" выхожу. "Мемориал", как я его замыслил, и в самом деле рухнул, мы не добились главного — чтобы государство его признало.

"Боже, как все на свете повторяется, — мелькнуло у меня тоскливо. — Что ныне, что в давние сталинские времена... Вначале изобретателя считают идиотом, "тронутым" или даже вредителем. Затем, когда идея побеждает и ее даже представляют, скажем, на высокую премию, автором идеи оказывается кто угодно... кроме

бывшего "тронутого", который вообще не при чем..." Потом я выспрашивал об авторе "Мемориала" многих своих московских приятелей. Все называли имена самые разные...

— Конечно, идея "Мемориала" умереть не могла, — воскликнул Юра удовлетворенно. — Он существует. Во многих городах. Посланцы, вы сами видели, приезжают к Боннэр, в Сахаровский центр. Но государство к нам лицом не повернулось. Оно и о живых-то не заботится, по полгода не платит ни зарплаты, ни пенсий. Что ему память об убиенных! Естественно, Сахаровский центр продолжает то, что должен был бы по замыслу и по праву делать "Мемориал"...

— Я мерзавец! — внезапно воскликнул он, вскакивая на ноги. — К девяти утра я должен закончить заявку в международный фонд (он назвал имя фонда). О финансировании. А я тут распространяюсь о своих заслугах. — Он схватил телефонную трубку, твердо пообещал кому-то к девяти утра, кровь из носу! принести бумагу...

— У нас деньги на исходе, — объяснил он мне таким тоном, словно был в этом виноват.

— Денежки на музей? — спросил я, пряча свой магнитофончик в чемодан и выходя вслед за Юрой.

— Не только, — он остановился в дверях. — У нас довольно бурная общественная жизнь. Каждый день что-то происходит... Разве Елена Георгиевна вам об этом не говорила?.. Если бы вы видели, как по-разному просыпается периферия! — и, уже выскакивая на лестницу: — Вы послезавтра еще в Москве? Приходите на вечер мордвы.

— Мордвы?!

— Мордвы. Почему вы так удивились?

3. ВЕЧЕР МОРДВЫ

Знал ли я что-нибудь о мордве? Что оживило в памяти это слово? *Мордовские лагеря*. Это словосочетание повторялось постоянно. Стало окаменелым эпитетом мордовской земли. Мои друзья и знакомые возили туда передачи, рассказывали, что вся земля там в

лагерях, как в нарывах. Едешь поездом, видно из окна — кончаются сторожевые вышки одного лагеря, начинаются вышки другого. Нищета неописуемая.

Я был в Башкирии в начале шестьдесят восьмого, заезжал в мордовские деревни, чтобы защитить крестьян от секретаря Бирского райкома партии — прохвоста, отнявшего у селян все до последней копейки (об этом мой рассказ "Башкирский мед", запрещенный цензурой и увидевший свет... лишь через двадцать лет*).

Мордовская деревня вымирала. Старик-животновод, ожидавший от московского корреспондента чуда, обошел полдеревни, наконец принес мне крошечный кусочек жесткой, как резина, солонины: другой еды в деревне не оказалось... Одичавших от голода людей безнаказанно разлагали, превращая в помощников лагерной ВОХРы — солдат охраны и надзирателей: за поимку беглеца награждали полпудом муки.

На первом этаже Сахаровского центра репетировала какая-то самодеятельность. Из приоткрытых дверей комнат звучали резкие звуки "татарской гармоники", притоптывания танцоров. Неведомый певец пробовал свой хрипловатый голос. По коридору носились дети в национальных мордовских одеждах, позвякивая сверкавшей от яркого света жестью ожерелий и сережек. Все это напоминало бы начало театрального действа или детского праздника, если бы не необычный зал на втором этаже, к которому меня провели. Зал наполнялся тихими неулыбчивыми людьми. Он к этому нервическому веселью самодеятельности, видимо, никакого отношения не имел. Перед любой премьерой или детским праздником зрители негромко переговариваются с соседями, здороваются со знакомыми. Зал "звучит". Этот зал был беззвучен, хотя свободных мест уже не оказалось, откуда-то несли и несли стулья. Лица подходивших зрителей строги, часто горестны. Нигде ни слова. Несколько первых рядов заполняли, как бросил мне на ходу Юра, бабушки и дедушки мордовского народа, выжившие в лагерях. Или дети невыживших.

В коридоре, беспокойно поглядывая сквозь приоткрытую дверь

---

* Библиотечка "Огонька", № 41, 1990.

в зал, ждала начала высокая крупная женщина в нарядном вечернем платье. Она переминалась с ноги на ногу, полные губы ее подрагивали. Женщина явно волновалась. "Это основной докладчик, — шепнул мне Юра. — Элеонора Тимофеевна Кузнецова". "Основной докладчик" чувств своих и не скрывала.

— Как же не нервничать, — сказала она, когда мы познакомились. — Тут сидят и недоброжелатели. Бывшие доносчики, "ученые", сделавшие карьеру на чужих диссертациях. Им правда не нужна... Нет, я не полический деятель. Просто бывшая учительница, российская журналистка. Член мордовского общества культуры "Мастер ава". По-русски "Мать земля". Вы — американец?.. Из Канады? Ну, вам, американцам, нашей хворобы не понять. Да и некогда. — Я пытался возразить. Она посчитала мои слова обычной вежливостью, отвела их взмахом руки: — Что тут самое главное? Сегодня, сейчас. У вас бывают смерчи. Я видела по телевизору разрушенные дома. Но таких смерчей, как у нас, в Америке нет. Мы и в этом добились приоритета. Так вот. Невиданный смерч пронесся у нас в ночь 23-24 мая 1937 года. Смерч, устрашивший Мордовию от мала до велика, унес всю культурную элиту нашего народа. Лучших людей Саранска, нашей столицы. Вы можете это понять? Конечно, он затронул не только Саранск. Но у всех народов вырастали затем новые художники, новые ученые. У нас же был такой гигантский разрыв между небольшим культурным слоем и остальным малоразвитым мордовским людом, что восполнить потери не смогли. Когда культурный слой срезали, мордовский народ оказался на дне цивилизации. Мордовия стала землей беды... Сегодняшний вечер, надеюсь, станет началом возрождения мордовской национальной культуры... если его не сорвут. Этого опасаюсь! Мы стучались во многие двери. А открылись только сахаровские... Ой, кажется, начали! — она ринулась в зал, как в атаку. Я остался в дверях, выискивая взглядом свободное место и прислушиваясь к звучному дикторскому голосу "подробника" Юры, открывавшего вечер. Юра, как всегда, был четок в изложении, всесторонне информирован и потому заслуживает цитирования:

— У Общественного центра имени Андрея Дмитриевича Сахарова две главных задачи. Первая. Сохранение памяти о мил-

лионах людей, уничтоженных нашим государством. Вторая — развитие и укрепление гражданского общества... Годы свободы стали для всех нас неимоверно трудными: мы должны сами выбирать и устраивать свою жизнь. А это у нас еще плохо получается... Такой вечер, как сегодня, — первый со дня открытия нашего Центра. Первый за год. Необычность его в том, что он не был запланирован Центром, не был предложен сегодняшним участникам. Он состоялся исключительно по сердечному порыву людей, которые, думаю, впервые говорят в Москве о жертвах своего мовшанского и эрзянского народа в годы террора. Несколько молодых и средних лет мордвинов приходили сюда каждый вечер, готовя этот вечер возрождения своего народа, и Елена Георгиевна Боннэр почувствовала, что это для них крайне, жизненно важно. Особая благодарность Виктору Черненко из московского "Мемориала", который помог мордве найти дорогу к нам.

Безмолвный угрюмый зал не только не похлопал, но даже не шевельнулся, точно замороженный. К микрофону шагнул высокий, худющий, с ввалившимися щеками мордвин лет сорока, похожий и своей доброй улыбкой, и неторопливыми жестами на учителя, объясняющего нелегкую тему.

— Антон Васильевич Булдаев, — представил его Юра, отдавая микрофон, — председатель правления общества "Мастер ава".

К тому, что я узнал от Элеоноры Кузнецовой, глава "Мастер ава" добавил объяснение крайне важное: уничтоженные властью деятели культуры были не только творческими личностями, но и защитниками прав народа. Защитников не стало — все школы на мордовском языке были тут же закрыты. Национальная библиотека упразднена. Дом культуры отдан под канцелярию и склад. Начавшись внезапными арестами и огнем расстрельного взвода НКВД, набирал силу безумный неостановимый процесс культурного геноцида.

— Мы, мордвины, осиротевший, заброшенный народ, так и не дождались закона о национально-культурной автономии, — завершил он тихо, — не дождались ни в царское, ни в советское время...

Я выглядывал Элеонору Кузнецову, "основного докладчика", но выступали совсем другие люди: многоречивая чиновница из го-

родской мэрии, обновившая в нашей памяти цитаты из Маркса и Энгельса: "крот истории роет незаметно", затем еще из какой-то организации, название которой мой магнитофончик не ухватил. Все подчеркивали законность происходящего, возвращаясь к этой мысли столь настойчиво, что я стал нетерпеливо ерзать на стуле. Не сразу понял важности чиновных заклинаний. Да ведь недавнее время породило сентенцию, ставшую аксиомой большевизма: ЛЮБАЯ ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА. А здесь сегодня каждое слово без санкции власти, все — по влечению сердца.

Элеонора Кузнецова присела возле стола президиума, сбоку, поджав губы, уставясь на что-то отрешенным взглядом. Наконец, вскочила и, подойдя широкими шагами к микрофону, сказала, что она будет говорить сегодня о "наших юбилярах" и о счастье юбилеев.

"Вот те раз, — мелькнуло у меня в досаде. — Поменяла тему? Боится?.. Страх куда не заведет..."

— Мордовская культура и государственность никогда не праздновала своих юбилеев, — начала она громко, с вызовом. — Сегодня — день возрождения и долгожданных юбилеев. Замечательный ученый и первый мордовский Президент Николай Григорьевич Сурдин родился в 1897 году. Накануне двадцатого века. Ныне мы накануне двадцать первого. Пора подвести итоги. Николай Григорьевич окончил Кембридж и даже не смог приблизиться к своему пятидесятилетию. Этой круглой даты любившая его Мордовия так и не дождалась. Мы празднуем его юбилей сегодня. В Москве, в приютившем нас Сахаровском центре. СТОЛЕТНИЙ...

Я встречалась с его женой. Она провела двадцать лет в лагерях и ныне находится в инвалидном доме. Невыносимо тяжко было смотреть на ее погасшие глаза...

Не менее известен и ученый-полиглот Анатолий Павлович Рябов, принятый в свое время в университет по трехпроцентной норме как инородец. Он знал и классические древние языки, и китайский, и угро-финские. Его обвинили в том, что он-де эмиссар великой Финляндии... Целый век прождал Анатолий Павлович своего законного юбилея, своего возвращения в историографию мордовской и мировой культуры...

Иван Семенович Кудюков, прославленный командир гражданской войны, в его подчинении была дивизия Чапаева. Говорят, что он расстрелян в Москве. Если это так, я найду его могилу.

Призакрыв блестевшие от слез глаза, Элеонора Кузнецова читает стихи мордовского поэта Дмитрия Малышева (Бабышева). Стихи о матери поэта, оставшейся по другую сторону лагерной "колючки".

— Наш национальный поэт окончил московский Литинститут, писал стихи по-мордовски, переводил на мордовский Пушкина, Некрасова — этого было достаточно, чтобы он исчез.

На крупном белом лице Элеоноры поплыли ресницы. Оглядевшись, я увидел, что мордовские дедушки и бабушки прикрыли лица платками. Вот уже почти весь зал плачет. О своей судьбе.

— Я — дочь мордовского народа, — спокойнее, без прежнего вызова продолжила Элеонора. — Низко кланяюсь тем, кто положил первые камни мордовской культуры и государственности. Они стояли у истоков восстановления истории мордовского народа, возрождения наших национальных традиций, нашего уклада... Насильственная русификация не привела нас к взлету культуры. Не привела к счастью... Мордва — древний народ. В летописи 1103 года прямо сказано о народе по имени "мордва". Мы не нуждались в подачках. Никогда мордва не знала неравноправия женщины. Ни у кого из нас и мысли не могло возникнуть, что девушку можно насильно выдать замуж за нелюбимого человека. Русская пословица "Курица не птица, баба не человек" аналога в мордовском языке не имела...

Я благодарю русскую школу, которая стала для меня новым миром. И пусть палачи не прячутся за Пушкина, который, благодаря усилиям расстрелянных поэтов, стал и нашим поэтом. Мордва не против Пушкина и русской культуры. Мордва против лубянских палачей, русификаторов... Наша жизнь, полная страха и приспособленчества, привела к тому, что многие потеряли чувство гражданственности, ответственности, человеческого достоинства. "Подлинная демократия начинается с терпимости", — сказал выдающийся ученый Гехтер. Терпимости и к инакомыслию, и к непривычным обрядам древнего народа.

В Финляндии высится памятник красноармейцу, погибшему в боях на финской земле. "Сынам отечества — скорбящая Россия", — гласит надпись на нем... В Саранске воздвигнут памятник знаменитому мордвину, гениальному скульптору Эрзе. Он умер в своей постели лишь потому, что жил вдали от своей несчастной родины.

...Мы хотим знать, где могилы расстрелянных? Это стало бы началом воскрешения высоких нравственных основ нашего народа. У наших мучеников нет памятников. Почему так? Я спрашиваю это не у бывших правителей России, а у нынешних, демократических? Омара Хайяма, поэта одиннадцатого века, мы знаем, а своих мудрецов — нет. Их имена унес смерч... Мы жаждем возрождения своей страны. Мы верим, что мудрейший ученый Лотман прав: слабая беспомощная культура сильнее тоталитарной власти. И долговечнее. Разрушители уйдут, затоптанные посевы взойдут... Но самое первое, что мы обязаны сделать, — поставить нашим сегодняшним юбилярам-мученикам, нашей национальной гордости памятники. И приводить к ним наших детей и внуков.

Затем негромко, с мукой в голосе, говорили дети уничтоженных. Исподволь возникла музыка, пронзительная, настораживающая. Она прозвучала в первые минуты, как начало дождя. Звенят первые крупные капли. Вот уже каскады капель рвутся, нарастают шорохом, приглушенным воем, криком. И нет ливню конца... Тихий голос вплетает в этот нарастающий музыкальный поток фамилии расстрелянных. Мужские, женские. Сто фамилий...

Омертвело молчит зал. В глубине слышится хрипловатый бас:

— Сказали, нет денег для постройки памятника жертвам террора. Тогда надо пойти дешевым путем: заклеить стены Кремля портретами уничтоженных Кремлем людей.

И вдруг зал впервые за этот вечер зааплодировал: из дверей выскочили в национальных одеждах, гремя блестевшими под лампами жестяными украшениями, дети. Закружилась, затанцевала под гармонику мордовская самодеятельность.

Я покинул зал ошеломленным. Такого вечера, вечера воскрешения из мертвых, не видел никогда. Он был, несомненно, уникальным. "Как по-разному пробуждается периферия", — говорил мне Юра, первый помощник Елены Боннэр. Действительно, по-

разному. От Чечни до Мордовии — у каждого народа свой почерк. "Я не живая, я, скорее, мертвая", — вдруг вспомнился мне голос Елены Боннэр, утомленной нашим разговором.

Вот уж нет! — мысленно вскричал я. — Мертва и все еще мертвит Россию власть, не желающая расстаться со своей державной спесью и обрекшая Россию на нищету, — она-то и есть музей... восковых фигур. Фигуры внемлют лишь звукам выстрелов и, не думая, стреляют в ответ. В Вильнюсе, Фергане, Оше, Нагорном Карабахе. А здесь живая жизнь, о которой Елена Георгиевна, не нужная нынешним правителям, думает постоянно. Мыслит, как все живое и разумное. Потому к ней тянутся. Но только тогда и выясняется, что в сегодняшней России в оружии нет никакой необходимости.

Канада

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Марина Ледковская

ЗАБЫТЫЙ ПОЭТ

Кирилл Владимирович Набоков

Не многие современники, занимающиеся зарубежной литературой, помнят Кирилла Владимировича Набокова, младшего брата прославленного писателя. Не вошло его имя в список литераторов-эмигрантов в книге Глеба Струве, хотя он упомянут в пражском "Словаре зарубежных писателей", составленном Валентином Федоровичем Булгаковым. В недавней интереснейшей статье Игоря Золотусского "Путешествие к Набокову" ("Новый мир", 1996, № 12) Кирилл даже не упоминается, когда говорится о жизни Набоковых в Праге. Знаменитый старший брат посвящает младшему брату и своему крестнику всего лишь несколько задушевных строк во втором издании своей автобиографии на английском языке (*Speak Memory*, сс. 256-257), уже после кончины Кирилла в 1964 г. Судя по сдержанному, но теплому тону, Владимир Набоков высоко ценил чувство юмора Кирилла и его любовь к литературе, особенно к русской поэзии. Между тем Кирилл Набоков был одаренным поэтом, печатался не часто, но в лучших зарубежных журналах и, по-видимому, подготовил сборник своих произведений к публикации[1]. Скоропостижная смерть не позволила этому намерению осуществиться.

Кирилл Владимирович Набоков родился 15 июня 1912 г.[2] в родовом имении Выра к югу от Петербурга, расположенном на берегу реки Оредеж. В апреле 1919 г. его семья покинула отечество, разделив горькую участь изгнанников с сотнями тысяч лучших сынов

России. В эмиграции Кирилл посещал школы в Лондоне и в Берлине, где его отец, Владимир Димитриевич, продолжал свою политическую и публицистическую деятельность. После гибели отца 28 марта 1922 г. в Берлине[3] семья переехала в гостеприимную Прагу, где Кирилл после окончания курса русской гимназии поступил в пражский немецкий университет, но больше предавался своей страсти к поэзии, по-видимому, не очень заботясь о хлебе насущном. Кратковременно он работал в Амстердаме, а в 1935 г. был принят в университет в Louvain и уехал в Бельгию. Однако и здесь он скоро бросил учение и перебивался кое-как в поисках работы. Все годы, последовавшие за убийством отца, Владимир Владимирович отечески заботился об участи младшего брата. Его беспокоила неустроенность и юношеская беспечность Кирилла и удручала его собственная невозможность помочь наладить быт семьи в Праге, будучи связанным со скудным заработком в Берлине. В Бельгии он поручал Кирилла, "очаровательного юношу, но... ребяческого, беспечного и ужасно неопытного", опеке брюссельских родственников и друзей[4]. Однако при редких встречах в Праге, а позже в Бельгии, Вл. Вл. неизменно радовался общению с братом Кириллом, его начитанности, остроумию, элегантной внешности. Кирилл владел в совершенстве пятью языками и некоторое время работал переводчиком для американской армии в Германии. Вскоре после окончания второй мировой войны он нашел брата-писателя по публикации его рассказа в журнале *New Yorker*[5]. Кирилл женился на бельгийке, Gilberte Barbanson, и вместе с женой открыл туристическую контору в Брюсселе, благодаря чему ему стало легче в материальном отношении. В январе 1964 г. Кирилл получил предложение работать на радио "Свобода" и уехал на год в Мюнхен. Жена оставалась в Брюсселе и собиралась поехать к нему, но судьба решила иначе. Как раз когда Кирилл готовил большую передачу о брате-писателе, его настигла смерть от инфаркта за письменным столом 6 апреля 1964 г. Три года спустя, 22 мая 1967 г., овдовевшая Gilberte трагически погибла во время пожара в Grand Magasin de L'Innovation в Брюсселе[6].

В воспоминаниях Николая Алексеевича Раевского, большого друга семьи с начала 30-х годов, содержатся некоторые значительные подробности о безвременной кончине Кирилла Владимировича[7]. Раевский называет эту кончину, "неожиданную и пе-

чальную, с точки зрения здравого смысла, нелепую, все-таки смертью поэта". Оказывается, Кирилл с большим волнением готовился к очередному приезду из Америки своей давней, единственной "настоящей" любви, которой посвящена вся его любовная лирика[8]. Каждый ее приезд Кирилл ожидал с радостным нетерпением. В этот раз трепет перед близкой встречей с его музой в соединении с перегрузкой по службе оказался смертельным.



Кирилл Владимирович увлекался поэзией с гимназической скамьи. Она была главным делом его жизни[9]. Он очень рано начал писать стихи. Участвовал в литературном объединении молодежи "Скит" под руководством знаменитого литературоведа Альфреда Людвиговича Бема, зверски убитого большевиками в 1945 году при взятии Праги. Стихотворения Кирилла вошли в два сборника этой группы ("Скит", Прага, 1933 и 1937 гг.), а также печатались в других периодических изданиях ("Руль", Берлин; "Воля России", Прага; "Современные записки", Париж). Он читал свои стихи дру-

зьям, на встречах "Скита" и редко приезжавшему брату. "Когда он читал стихи, — вспоминает Морковин, — то совершенно отрешался от мира, заражая слушателей силой вкладываемого в чтение чувства". Морковин считает, что "в своих стихах он подражал немецкому романтику Гёльдерлину, этим объясняется имя Диотимы, в них встречающееся". Но что, "впрочем, равным образом на него влиял и Пастернак"[10]. Приводимое ниже стихотворение в какой-то мере подтверждает наблюдения Морковина.

IN MEMORIAM HOELDERLIN

Диотима, вернись... я сгораю, падая в тьму;
ты сквозь жизнь прорастала огромною тенью,
ты зимою цвела, ты, сияя мне одному,
а зима отвечала горячею розой и пеньем.

Ты помнишь ту жизнь, Диотима? Тогда
все ночи и звезды сквозь нас восходили —
и бились в дремоте, в зеркальных тенетах пруда,
а в небе шумели орлиные крылья,

и черные клювы мерцали в ночи;
любовь поднималась, как клекот на скалы...
Но крылья затихли... и солнца лучи
текут и пронзают, холодные тонкие жала.

Все в ночь обращается... слышишь, все в ночь...
И в солнце безсолнечном, в темные годы,
я вижу тебя отступающей в ночь,
в пустые пространства жестокой и спящей природы.

(*"Скит" III, 1935*)

Элегии Гёльдерлина, обращенные к его большой любви Susette Gontard, называемой Диотимой, пронизаны мрачной тональностью, уводящей во тьму небытия. Для Гёльдерлина, поклонника греческой мифологии, его Диотима являлась воплощением духа античной Греции. Но она была для него недосягаемой (Susette была за-

мужем), как и для Кирилла его большая любовь оставалась навеки мечтой. Запомнились Н. А. Раевскому нигде не напечатанные стихи юного Кирилла к его недостижимой любви:

Тебе, чужой, холодной, дальней,
Всю нежность сердца отдаю.
И все смиренней, все печальней
Тебя, любимая, пою.

Раевский справедливо замечает, что "эти строки напоминают элегии Ленского", но все же юный поэт чутко предвидел свою долю, что сердце его всегда будет принадлежать той "чужой, холодной, дальней"[11].

За поэтическими порывами младшего брата зорко следил к тому времени уже широко известный Сирин. В одно из своих посещений семьи в Праге он сообщает оставшейся в Берлине жене, Вере Евсеевне: "Кирилл читает вслух (свои стихи), а я навожу критику"[12]. Критика была благожелательная, но, разумеется, строгая. В двух изданных письмах к Кириллу 1930 г. Вл. Вл. наставляет брата в правилах стихосложения, объясняет схемы размеров, настаивает на новых "своих" рифмах и словах и убедительно просит избегать общих мест, шаблона[13]. В беседе с Раевским Набоков-старший отрицал наличие у брата поэтического таланта, говорил, что "Кирилл грамотный стихослагатель, и только..." Раевский придерживался другого мнения и считал, что "огромный авторитет Вл. Вл. не позволил должным образом развиться несомненному таланту его брата. Сверкающая звезда затмила скромную пока звездочку"[14]. Морковин же утверждает в своих воспоминаниях, что "несомненно, его брат Кирилл — как поэт — был гораздо значительнее Сирина... Он был приверженцем поэзии усложненной, требующей медленного, созерцательного чтения"[15]. Все же интерес к творчеству Кирилла у Вл. Вл. не угасал. Он спрашивает его в письме от 12 марта 1955 г., пишет ли он еще стихи, и добавляет: "Когда-то ты писал неплохо". А в письме, датированном 29 февраля 1956 г., вспоминает, что в ноябре предыдущего года в обмене мнений на страницах "Нового русского слова", включающем Яновского, Марка Сло-

нима и Кускову, он был упомянут как один из одаренных поэтов пражской группы, и опять задает вопрос — написал ли он что-нибудь за последнее время. В этом же письме Вл. Вл. сообщает брату, что его замечания по поводу Лолиты самые умные и художественные из всего до тех пор сказанного об этом бедном ребенке[16]. Но Кирилл Владимирович писал, по-видимому, мало и не любил распространяться ни о своем творчестве, ни о своей сложной внутренней жизни. Его доступное нам поэтическое наследие указывает на вдумчивого, философски настроенного художника слова.

В его стихах вырисовываются три основные темы: тайна любви, творчества и бытия. Все стихотворения мистически окрашены. Главная дань отдана тайне любви, часто причудливо переплетенной с тайной человеческого бытия и тайной творчества. В стихотворении "Любовь" (из неопубликованного сборника "Дальние пути") поэт говорит с горькой усмешкой о столь воспетом чувстве любви, неизбежно приводящем к Лете.

ЛЮБОВЬ

Что нам любовь? — Лишь кукла в пышном платье,
забава праздности и баловень глупца,
ошибка нежная и долгое объятье,
улыбка дряблая смущенного лица.

Что нам любовь? Что счастье, страсть и горе?
— Дороги жизни все приводят в Рим,
все повторится, все уйдет, и вскоре
мы на Летейском пламени сгорим.

Мы будем прах. Там, где любовь пылала,
где билось сердце, лишь червяк ползет.

В огнях и в танце, в шуме Карнавала
глупец влюбленный с розою идет.

Январь 1931 г.

В ранее опубликованном стихотворении "Творчество" поэт обнажает процесс назревающего в глубине души поэтического слова.

ТВОРЧЕСТВО

Темно и трудно зрел напев.
Я ждал, когда наступит время
и синяя волна, вскипев,
все нарастающее бремя
еще несозданных стихов
с моей души легко поднимет
и в мир живых и ясных слов,
как на зеркальный берег, кинет.

(*"Руль", Берлин, 9 июня 1930, № 2922*)

И как бы в продолжение этого таинственного нарастания "живых и ясных слов" следуют запомнившиеся Н. А. Раевскому строки:

И с ними отправляюсь я туда
Искателем чудес,
Колумбом нездешних америк,
Быть может, средь иных небес
Причалю на желанный берег[17].

Потустороннее в видении поэта является главным желанным пристанищем для души, страдающей в нестройном "двойном мире жуткого вращения". Непонятное двойственное бытие человеческое под навесом звездной ночи и дневным, раздирающим душу, механизированным шумом становится вызовом, требующим ответа:

Ночь падает тяжелой гроздью звезд,
а день гудками и стальным стенаньем,
и вянет мир веселых, нежных роз
от электрического тусклого сиянья.

Как двойственный понять союз,
двойного мира жуткое вращенье,
по небу черному бегущее виденье,
и плач, и смех, и шепот муз?..

(*"Воля России", 1931, №52*)

Но ответа быть не может, и в другом стихотворении из цикла "Дальние пути" поэт вместе с равными ему, поверившими неземным снам, отказывается от земных благ и мелочей. Творческие души, ощутившие в себе "звучащее пенье неземных отголосок времен, [и] просторов космических тени", стремятся радостно к освобождению от уз земных:

Богатства земного не надо
неземным поверившим снам,
в чьих душах струящийся ладан
возносится к небесам.

В чьих душах звучащее пенье
неземных отголосок времен,
просторов космических тени,
порывистый творческий сон.

Нам противны житейские мелочи, —
в голубую возносимся твердь, —
мы хотим быть простыми и смелыми
и приветствовать радостно смерть.

Декабрь 29 г.

Сохранилось стихотворение Кирилла Вл., написанное в Женеве в 1963 г. (вероятно, последнее), когда он навещал сестру Елену Владимировну Сикорскую. Елена Вл. нашла его, разбирая архив Кирилла в Брюсселе[18]. Содержание стихотворения "La nuit dernière, à Marienbad" ("Последняя ночь, в Мариенбаде") указывает на навязчивый сон "все лишь о ней", той единственной любви и музе, которой он был безнадежно, но вечно предан.

LA NUIT DERNIERE, A MARIENBAD

Мариенбады будут сниться,
как снились мне вчера
пролеты, статуи гостиниц
и представленья до утра,

ступени лестницы, ведущей
и уводящей в никуда, —
в стрелковый зал, туда, где лучше
забыть надежду навсегда, —

в ту комнату, в тот свет слепящий,
где на мгновение она
была живою, настоящей,
как фотография из сна.

1963

В этом стихотворении подводится итог жизни поэта. В нем соединяются те темы, которые занимали его поэзию смолоду — темы любви, творчества и бытия: его творческий сон воспроизводит на мгновение облик любимой, но также приводит его в "стрелковый зал", находящийся в Праге, где "лучше забыть надежду навсегда". Эта дантовская цитата указывает на ад в душе поэта, некогда испытанный в этом зале. Лестница сна ведет поэта и уходит с ним в никуда, где все же таинственно "будут сниться Мариенбады" и, возможно, на миг будет появляться "она" в слепящем свете дня. Это последнее стихотворение пронизано мистическим предвестием скорого ухода в мир иной.

Уже после кончины Кирилла Вл. его старший брат отметил, что стихи его отражают влияние Гумилева и Ходасевича[19]. Это замечание до́лжно считать высокой оценкой творчества Кирилла, принимая во внимание глубоко почтительное отношение Набокова-старшего к этим двум незаурядным поэтам нашего века.

Автор этого сообщения выражает глубокую признательность Елене Владимировне Сикорской и Зинаиде Давыдовне Партис за предоставление архивных материалов и личных сведений, касающихся жизни и творчества Кирилла Набокова. Автор также благодарит Stacy Schiff, Сергея Глебова, Вадима Старка и Ивана Толстого за некоторые ценные указания.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кирилл Набоков "Дальние пути. Цикл". Неопубликованный сборник стихотворений находится в Женеве, в архиве Елены Владимировны Сикорской, урожд. Набоковой.

2. Елена Владимировна Сикорская настаивает на этой дате, хотя во всех мне доступных материалах указана другая: 4/17 июня 1911 г.

3. Владимир Димитриевич Набоков, известный российский государственный деятель, был убит во время террористического покушения на П. Н. Милюкова, которого он заслонил "от пули двух темных негодяев, и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был смертельно ранен выстрелом в спину" ("Другие берега", Ardis, reprint of the first edition [1954], 1978, с. 177).

4. Bryan Boyd. *Vladimir Nabokov. The Russian Years* (Princeton: Princeton University Press, 1990), 422, 432; Зинаида Шаховская "В поисках Набокова" (Paris, La Press Libre, 1979), сс. 15, 23. Зинаида Шаховская пишет: "В Брюсселе у нас часто бывал, одно время даже жил, младший брат В., Кирилл, молодой поэт, безнадежно затерянный в сложности быта и которого В. — его крестный отец — отечески опекал" (с. 15). "В. безустанно заботился о своей матери, о брате Кирилле" (с. 23).

5. Simon Karlinsky, ed. *The Nabokov—Wilson Letters*. Harper Colophon Books, 1980, 156.

6. Дата кончины Кирилла Владимировича указана по сообщению Е. В. Сикорской. В других источниках указано 16 апреля 1964 г. Jacques Ferrand. *Les Nabokov. Essai Généalogique*. Paris, 1982, 55; Boyd. *V. N. The American Years* (Princeton: Princeton University Press, 1971), 483; Елена Сикорская, письма к М. Ледковской, личный архив; "Воспоминания Вадима Морковина" (публ. Д. В. Базановой). "Русская литература", № 1, 1993, сс. 211-212.

Вадим Владимирович Морковин (1906, Москва — 1973, Чехословакия) — поэт, литературовед, критик, участник объединения "Скит". Опубликовал отдельным изданием письма М. Цветаевой к Анне Тесковой (Прага, 1969).

7. Николай Алексеевич Раевский (1894-1989?) "Воспоминания о Владимире Набокове", "Простор", № 2, февраль 1989, сс. 112-117. Раевский, пушкинист, беллетрист, поэт и энтомолог, пишет в своей статье следующее: "С пражскими Набоковыми я поддерживал тесную связь вплоть до моего возвращения на Родину в 1945 г. Письменную связь с Влад. Влад. я поддерживал до самой его кончины, с Еленой Влад., проживающей в Женеве, переписываюсь до сих пор" (с. 114). Вероят-но, имеется в виду 1988 г., т. к. имя Раевского объявлено в траурной рамке при публикации указанной статьи. По устному сообщению Елены Влад. (27 июля 1997 г.), Раевский был арестован большевиками при занятии Праги в 1945 г. и сразу же

отправлен в концентрационный лагерь. Несколько лет он провел в лагере, а потом в ссылке. Место появления его статьи (Алма-Ата) указывает на все еще продолжающееся положение "ссыльного", а эвфемизм "возвращения на Родину" подтверждает неизбывную оглядку на "бдительные органы" даже при так называемой перестройке и гласности.

8. Кирилл Набоков всю свою жизнь любил только одну женщину, однолетку-соседку по гимназической парте — Ирину Вергун. Ирина была хорошим другом, но не отвечала взаимностью на любовные чувства Кирилла. Она еще до войны уехала в США, вышла замуж, обзавелась детьми; время от времени наезжала в Европу (Раевский, с. 114; Елена Влад. Сикорская, письма к М. Л.).

9. Владимир Набоков пишет в *Speak Memory* (256): "His one great reality in life was literature, especially Russian poetry".

10. Морковин, 222-224.

11. Раевский, сс. 113, 114.

12. Boyd, *V. N. T. R. Y.*, 354 (обратный перевод с цитируемой по-английски выдержки из письма к В. Е., май 1930 г.).

13. Владимир Набоков, "Переписка с сестрой". Ann Arbor: Ardis, 1985, 118-121; eds. Dmitri Nabokov and Matthew J. Bruccoli. *Vladimir Nabokov. Selected Letters*. San Diego—New York—London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989, 8-11.

14. Раевский, сс. 113-114.

15. Морковин, 212, 223.

16. Переписка, сс. 123, 124; *Selected Letters*, 183.

17. Раевский, с. 113.

18. Сикорская, письма к М. Л.

19. *Speak Memory*, 256.

Фрипорт, шт. Нью-Йорк

Лев Вершинин

ЕЛИЗАВЕТА ПЕШКОВА ЛЮБОВЬ И ГУЛАГ

И вот наконец учеба моя в Военном институте иностранных языков завершилась. Оценки по всем предметам были высокие, и преподаватели рекомендовали лейтенанта Вершинина в аспирантуру. Но отдел кадров в науку меня не допустил. Шел 1948 год, кампания по борьбе с космополитизмом набирала силу, а у меня мама еврейка. Да и отец, хоть и Вершинин, но половинка.

По этим причинам получил я назначение в Севастополь, где мне предстояло служить военным переводчиком в радиоотряде. В Главном штабе военно-морских сил меня поздравили, доходчиво объяснив, сколь почетно проходить службу в городе-герое. Так-то оно так, да вот покидать родную Москву, родных и друзей не хотелось. Однако приказы, как известно, не обсуждаются. Собрал я свои немудреные пожитки и... угодил в военный госпиталь с острым приступом грыжи. А наутро уже лежал на операционном столе. Сама операция вроде бы прошла успешно, но на второй день температура поднялась до сорока. С каждым часом мне становилось все хуже — я то терял сознание, то ненадолго приходил в себя.

В одно непрекрасное утро я очнулся после очередного обморока, открыл глаза... и решил, что начался предсмертный бред. Возле моей кровати стоял отец и моя недавняя преподавательница итальянского языка Елизавета Зиновьевна Маркова-Пешкова.

...Когда нам, курсантам, на третьем курсе объявили, что разговорный итальянский будет вести Маркова-Пешкова, мы сразу подумали, а не родственница ли она великого писателя Алексея

Максимовича Горького. А если родственница, то, верно, древняя старуха.

В аудиторию вошла стройная, молодая, очень красивая женщина с прекрасным матовым лицом и пухлыми, чувственными губами. Она сразу же предупредила группу, что говорить с нами будет только на итальянском языке. Новшество пришлось нам не по вкусу. Но после нескольких уроков на языке Данте и Боккаччо выяснилось, что синьора Маркова-Пешкова родилась и провела свою юность в Италии и русским языком владеет неважно. Оттого-то она и предпочитала вести занятия на родном и куда более близком ей итальянском. Вскоре мы с этим смирились. К тому же уроки она вела живо и отличалась редким обаянием.

Со временем, правда, появились у нее любимчики — три "красавца-гренадера". Но к остальным она относилась с одинаковой спокойной доброжелательностью. Однажды на большой перемене Елизавета Зиновьевна сильно закашлялась. Когда же кашель прекратился, она тихим голоском объяснила, что у нее болит горло и, похоже, начинается ангина. Тут я возьми и брякни, что моя мать — врач-отоларинголог и, верно, могла бы ей помочь.

Тем же вечером Елизавета Зиновьевна явилась в нашу коммунальную квартиру в Настасьинском переулке. Вошла в комнату, царственно уселась в единственное наше кресло и с первой минуты повела себя так, будто была с моей матерью знакома давным-давно. К моему изумлению, мама, воспитанная в пуританском духе, сдержанная и даже замкнутая, быстро подружилась с Лизочкой, как вскоре стала ее звать.

Кокетливая, переменчивая, лишенная каких-либо предрассудков в сфере любовной, Лизочка была полной противоположностью моей матери с ее чрезмерным ригоризмом. Месяца через три они стали прямо-таки закадычными подругами. Частица света от этой дружбы пролилась и на меня.

Жила Лиза Пешкова вместе с двумя сыновьями, десяти и семи лет, в трехэтажном кирпичном доме во дворе нашего института. Как-то раз она пригласила меня к себе на день рождения младшего сына Алеши. Признаться, я испытывал неловкость — как-никак она — мой преподаватель, а я — ее студент. Но и отказаться было неудобно. Словом, купил я торт и пошел в гости.

Обстановка в двухкомнатной квартире была бедная — старый шкаф, потертый диван, но на ночном столике из красного дерева лежало кольцо с бриллиантом, как я догадался, несмотря на малую свою "ювелирную" опытность, очень дорогим. Поразило меня, однако, вовсе не это, а портрет пожилого благообразного мужчины с густой бородой и усами. Был он в ермолке.

— Кто это? — вырвалось у меня.

— Мой дедушка, Михаил Израилевич Свердлов.

Я невольно вздрогнул.

— Да, да, отец Якова Михайловича Свердлова и его старшего брата, Зиновия Свердлова, — моего отца, — спокойно добавила Лиза.

Я растерянно молчал, переводя взгляд с портрета на хозяйку квартиры, не находя в ней никаких семейных черт, разве что глаза миндалевидные.

— Но откуда тогда фамилия Пешкова?

Легко разгадав мои мысли, Елизавета Зиновьевна объяснила:

— Моего отца усыновил Алексей Максимович Горький, — и она лукаво улыбнулась, обнажив верхний ряд почти сплошь золотых зубов.

— Какие у вас красивые зубы! — воскликнул я, пытаясь за этим дурацким комплиментом скрыть свое смятение.

— Если только нижние, — с прежней невозмутимостью сказала Лиза. — Верхние мне выбили в 38-м при допросе.

Здесь уж меня и вовсе пот прошиб.

"Угораздило меня придти сюда", — с тоской подумал я. От растерянности я невольно сел на диван.

— Я еще дешево отделалась, — продолжила свой рассказ Лиза. — Эти подонки энкаведешники могли и все до единого зуба выбить и еще руки-ноги переломать.

За такие откровения в те недобрые времена рассказчику полагалось не меньше пятнадцати лет лагерей, да и слушатель за недоносительство свои десять лет уж точно бы схлопотал.

Веселенькое, однако, положеньице. А Елизавета Зиновьевна как ни в чем не бывало ровным, тихим голосом продолжала. Тогда-то я и узнал, что ее дед, Михаил Израилевич Свердлов жил, как и Горький, в Нижнем Новгороде, где имел граверную мастерскую.

Там он и познакомился с Горьким, который как-то заказал ему визитные карточки. Со временем он стал частым гостем в доме писателя и нередко приводил с собой обоих сыновей, младшего, не по годам серьезного и начитанного Якова, и шустрого, непоседливого Зиновия. Не прошло и года, как Зиновий, который пришелся по душе Горькому неистощимой веселостью и врожденной артистичностью, сделался своим человеком в семье писателя. Горький и посоветовал в 1902 году Зиновию Свердлову поступить в школу-студию при МХТ. Зиновию как еврею жить в Москве не разрешалось. Впрочем, для восемнадцатилетнего юноши уже тогда не существовало никаких преград, и он не был обременен предрассудками. Он задумал креститься, а Горький это его решение одобрил, предложил стать крестным отцом и дать ему свою фамилию. Так Золомон Свердлов превратился в православного Зиновия Алексеевича Пешкова и уехал в Москву, где вскоре поступил в театральную студию.

Но ему предстояло еще и отслужить в царской армии, от чего он по идейным соображениям отказался. В спешном порядке эмигрировал в Канаду. Промаялся там без работы и приличного жилья три года, не выдержал и перебрался в Италию, на остров Капри, с надеждой, что знаменитый писатель поможет своему усыновленному страдальцу. И надежды его сбылись — Алексей Максимович сделал Зиновия своим секретарем и переводчиком.

Сам Зиновий обладал редкими языковыми способностями. Вслед за английским он за несколько месяцев вполне сносно овладел итальянским, хотя и говорил на нем с неистребимым нижегородским акцентом. Остроумный, находчивый, неутомимый танцор, заядлый спортсмен, этот молодой человек вскоре стал душой общества в русской колонии на Капри. Его неудержимо тянуло к дамам из аристократических семей. Женился же он в 1910 году неожиданно для всех на дочери вовсе не именитого казачьего офицера Лидии Бураго. Красотой и здоровьем Бог ее не обидел, а вот на доброе сердце и ум, похоже, поскупился. Возможно, еще и оттого семейная ее жизнь с Зиновием не заладилась. После пяти лет житейских перипетий они расстались.

С началом мировой войны авантюрный по складу характера Зиновий Пешков уехал во Францию и там вступил в Иностранный

Легион. Ну, а Лидия Бураго осталась на Капри с четырехлетней дочкой Лизой Пешковой.

Горький, к людям достаточно снисходительный, отзывался о жене крестного сына не слишком лестно. Екатерине Павловне он писал в Москву: "Поздравление твое передал. Зиновий тронут, кланяется. Сказать что-либо о его жене трудно. Девица высокого роста, недурно сложена, много смеется, не очень интеллигентна, видимо..."

И Зиновию, и Лидии нравилось жить на широкую ногу, хорошо одеваться и вкусно поесть, желательно в ресторане. Увы, это и оказалось тем немногим, что их объединяло. После развода Лидии Бураго пришлось на Капри нелегко, хотя бывший муж регулярно присылал из Франции деньги ей и дочке.

В поисках работы Лидия Петровна вскоре переехала в Рим, где у нее были друзья, готовые ей помочь

Видимо, от родных Лиза Пешкова наследовала любовь к изысканно-экстравагантной одежде и к вечерам в лучших ресторанах. Воздыхателей у молодой красивой девушки, живой, быстрой на шутку, незлой розыгрыш, было пруд-пруди. Будоражило ум и фантазию и ее экзотическое происхождение — русская девушка, владевшая итальянским языком куда лучше, чем русским, врожденное изящество в сочетании со славянским простодушием.

Елизавету Пешкову, как некогда ее отца, влекло к людям высшего света, к славе, к блеску салонов. Замуж она вышла в 1934 году за второго секретаря советского посольства в Риме, где сама Лиза работала переводчицей. Ее муж, Иван Марков, — скромный молодой человек, не слишком начитанный и не обладавший светским лоском, по свидетельству близко знавших его людей, подкупал своей честностью, искренностью и бескорыстием. Он отнюдь не был занудой и домоседом, тоже любил потанцевать, отужинать в ресторане и легко сходился даже с чопорными князьями, графами и виконтами. Для советских дипломатов, до предела зажатых, словно бы замороженных, это было большой редкостью.

Семейная жизнь двадцатитрехлетней Лизы Пешковой и двадцативосьмилетнего Ивана Маркова складывалась счастливо. В 1935 году у них родился первенец, а в конце 1937 года Ивана Маркова

вместе с семьей вызвали в Москву, где его ждало повышение по службе.

Новый, 1938 год они встретили уже в московской квартире. Собралось много гостей, стол отличался обилием. Пели, беззлобно подшучивали друг над другом и "высоким начальством" — товарищем Марковым. Правда, сам Ваня был мрачен и на поздравления отвечал вымученной улыбкой, — вспоминала Елизавета Зиновьевна. Он словно предчувствовал, что новый год принесет ему больше неприятностей, чем радостей.

Реальность превзошла все его невеселые ожидания. Третьего апреля того же 1938 года Ивана Маркова арестовали, а спустя два месяца, после закрытого процесса-фарса, расстреляли как агента итальянской разведки ОВРА.

В конце апреля арестовали и Елизавету Зиновьевну как жену врага народа. Следователь предложил ей написать донос на мужа, этого двурушника и ренегата, подрывную деятельность которого она всем сердцем осуждает, и еще она навсегда от него отказывается и просит изменить ее фамилию Маркова-Пешкова на Пешкова. В случае ее согласия приговор гласил бы: "за потерю политической бдительности" и был бы значительно мягче. От мужа она не отреклась и донос не подписала, за что ей и выбили половину зубов, а затем отправили на десять лет в лагерь.

Не знаю, спасет ли красота мир, но вот Елизавете Зиновьевне ее красота, женское обаяние и душевная теплота жизнь спасли дважды.

В нее влюбился начальник лагеря, влюбился так безоглядно, что отважился на неслыханный по тем временам поступок. Уже через три года пребывания Лизы в лагере он отправил ее на поселение, а затем и вовсе добился ее освобождения. Произошло это маленькое чудо сразу после войны. В ту пору дальновидный палач Лаврентий Берия уговорил Сталина задобрить союзников по недавней антигитлеровской коалиции. Ради этого надо всего-навсего выпустить из лагерей и тюрем несколько тысяч из трех-четырех миллионов узников ГУЛага. В число немногих счастливчиков стараниями начальника лагеря попала и Елизавета Зиновьевна. Больше того, он "выправил" своей возлюбленной чистый паспорт с правом возвращения в Москву. Вот только к кому ехать, если ее

никто не ждет, квартира конфискована, а на руках двое малышей — второй сын родился вскоре после ее ареста, уже в лагере.

И тут судьба вновь пригрела Лизу. Московские друзья устроили ей встречу с генералом Биязи, начальником нашего института. До войны Николай Николаевич Биязи был в Риме советским военным атташе и хорошо знал своего коллегу Ивана Маркова, мужа Лизы. Сам Биязи получил в молодости отменное образование и был человеком многоопытным. Он в совершенстве владел итальянским и греческим языками, почти все его друзья были из "бывших". Особенно тесная, давняя дружба связывала его с генералом Игнатьевым. Как и граф Игнатьев, наш Николай Николаевич не верил ни одному слову официальной пропаганды. Уж кто-кто, а он знал истинную цену всем этим показательным процессам. Да и сама плебейская, презиравшая и попиравшая интеллигенцию советская власть не вызывала у него больших симпатий.

Немолодой, низкорослый, уже начавший полнеть генерал Биязи держался столь величественно, что в нашей памяти он остался могучим и сказочно-великодушным. Все равно, он вряд ли решился бы принять на работу в закрытый военный институт жену врага народа — слишком велик был риск. К счастью, наш генерал, уцелевший осколок прежней русской интеллигенции, обладал добрым сердцем и проникся к Елизавете Зиновьевне не только "классовой солидарностью", но и живейшей симпатией. С юных лет влекла его неотразимо женская красота, и втайне он всегда сострадал обездоленным. Нежные чувства к молодой, обаятельной женщине, вопреки всему пережитому полной достоинства, взяли верх над страхом. Остается только удивляться, сколько людей сумело сохранить в себе, несмотря на тяжкие испытания, простое человеческое благородство. Да, и при сталинщине далеко не все превращались в приспособленцев и трусов.

Биязи оказался человеком чести и рыцарской отваги. Своей властью он назначил Елизавету Зиновьевну преподавателем итальянского языка. Да еще выделил ей двухкомнатную квартиру, что для нее, матери двух мальчишек, было поистине манной небесной. А мы таким вот образом получили в 1945 году новую "училку".

К несчастью, генерал Биязи в своем стемлении облегчить Елизавете Зиновьевне жизнь перестарался. В начале 1948 года он

порекомендовал ее еще и на работу в ТАСС. На Лизину беду, в отделе кадров сидели люди бдительные. Они-то и раскопали "преступное" прошлое Марковой-Пешковой. По этой причине, когда я, лежа на больничной койке, с трудом открыл глаза, то увидел стоявшую у моего изголовья Лизу. Она не таясь плакала, а отец гладил ее по плечу и ласково уговаривал:

— Ну, зачем вы так, милая. Может, все еще обойдется.

Здесь уж я окончательно пришел в себя и подумал: "И правда, чего это она плачет, я ведь еще не умер. Авось как-нибудь выкарабкаюсь". Слабым голосом поздоровался с Лизой и сказал:

— Спасибо, что навестила. Но как ты узнала про мою болезнь и про госпиталь?

— Зашла к Маше, — это к матери моей, — от нее и узнала. Только я не думала, что тебе так плохо, — вздохнула, вытерла платком слезы и кокетливо улыбнулась отцу.

— Ты с Кобуловым часто видишься? — вдруг спросила она.

— До госпиталя на футбол нередко вместе ходили, а что?

И тут Лиза рассказала, что накануне ее вызвали в районное отделение милиции и велели захватить с собой паспорт. Вежливо объяснили — для перерегистрации. Отправилась она туда безо всякой боязни, ведь милиция не МГБ. Встретили ее вполне приветливо, взяли серпастый-молоткастый и минут через десять вернули. С одним, правда, маленьким дополнением — "минус сто" и записью "Без права проживания во всех районных и областных центрах страны". А "минус сто" означало, что Марковой-Пешковой запрещалось селиться в любом городе, расположенном ближе ста километров от Москвы. Из столицы же ей приказали убраться в течение двух суток.

Да, но при чем здесь Кобулов? Такой вопрос мог бы задать лишь тот, кто не жил тогда в Стране Советов. Каждый знал, что генерал Богдан Кобулов — заместитель министра грозной Государственной Безопасности. Его сын Виктор Кобулов был слушателем ВИИЯКа и изучал итальянский язык. Елизавета Зиновьевна — пребывание в лагере многому ее научило, развив необыкновенное чувство самосохранения, — ублажала Кобулова-младшего как могла.

Рвением в учебе он не отличался. Нудным урокам предпочитал вино, острые ресторанные блюда и обильную закуску. За что и был институтским начальством наказан? Ничуть не бывало. Итальянка наша, Маркова-Пешкова, перед экзаменами и зачетами заранее разучивала с ним не только контрольные работы, но и ответы на вопросы в билетах. Кутила и картежник, Виктор к концу учебы знал итальянский не намного лучше, чем я неведомый мне турецкий. Разумеется, это не помешало ему получить на выпускном экзамене вполне приличные оценки. Иными словами, своей преподавательнице Марковой-Пешковой он был обязан дипломом целиком и полностью. Ну, а дальше его ждала блестящая дипломатическая карьера.

Первым, к кому прямо из милиции помчалась Елизавета Зиновьевна, был Виктор Кобулов, ее недавний ученик. Принял он свою благодетельницу сухо, а когда узнал о цели визита, выставил за дверь. Он, мол, всякими там паспортными делами не занимается. С тем Лизочка и ушла.

Нас же с Виктором связывала общая любовь к московской футбольной команде "Динамо". Оба мы были ярыми болельщиками и порой вместе отправлялись на стадион поддержать свою команду дружным ревом и криками "Вася (Карцев), давай жми!"

Конечно, Лизочка приехала в госпиталь не столько меня проведать, сколько узнать, не могу ли я встретиться с Кобуловым-младшим. Может, мне все-таки удастся уговорить Виктора вступиться за нее.

Наивная женщина. Да Витюша и за родную мать не вступился бы, попади она в немилость к грозному МГБ. А я даже позвонить Виктору не был в состоянии — с каждым часом мне становилось хуже.

Вся в слезах, Лиза ушла из госпиталя, чтобы назавтра навсегда покинуть Москву. Тем же вечером я снова очутился на операционном столе, а через месяц был дома, удачно заштопанный и подлеченный. Две недели отдыха, и, собрав единственный свой чемоданчик, я покатил на поезде к месту службы, в город-герой Севастополь. Путь же бывшей моей преподавательницы итальянского языка лежал на Кубань, где ее ждала давняя подруга.

Но поистине Лизочка родилась в сорочке. В эту самую станицу заглянул в гости к матери директор одного из лучших санаториев Сочи. Дальше все развивалось по схеме: "директор увидел Лизу"... и через пять дней она работала кастеляншей в сочинском санатории. По мановению волшебной палочки у нее вновь появился чистый паспорт без страшного "минус сто".

Что же до Кобулова младшего, то,когда его отца в 1953 году вместе с другими приспешниками Берии суд приговорил к расстрелу, самого Виктора мгновенно уволили из армии. Тут-то ему впервые в жизни пришлось близко познакомиться с нудными паспортными делами. Он быстренько сменил фамилию отца на материнскую и удрал подальше от Москвы. В разгар репрессий и постыдных процессов Сталин изрек, что "сыновья за отцов не отвечают". Но уж кто как не сын прежде всесильного заместителя министра госбезопасности знал, насколько сия красивая фраза лжива. Поэтому он предпочел без промедления уехать в самую глухомань и там отсидеться до лучших времен. И это ему удалось.

Сама же Елизавета Зиновьевна Маркова-Пешкова умерла в Сочи семь лет назад, всего год не дожив до восьмидесяти.

Своим новым друзьям она говорила, что Сочи стал ей родным и близким. Ведь ночными, в пол неба, фейерверками и бурной гульбой отдыхающих этот город-курорт напоминал ей, женщине поразительной жизнестойкости, другой город ее столь далекой счастливой юности — шалый и знойный Неаполь.

Нью-Йорк

БИБЛИОГРАФИЯ

Э. Радзинский. "Сталин", М., "Вагриус", 1997, 638 сс.

Тема не может не задеть всякого, кто пережил "сталинскую эпоху". В былые времена о Сталине знали только по его ублюдочной "Краткой биографии". Но уже после знаменитого доклада Н. Хрущева на XX съезде партии, а потом в перестроечные и постперестроечные годы о Сталине написали, кажется, все, что было возможно. Проникновение Радзинского в Президентский и другие закрытые и полузакрытые архивы мало что прибавило к уже рассказанному о самом Сталине, больше о его семье, ближайшем окружении и т. п. Радзинский — талантливый драматург, беллетрист, и книга читается с интересом, увлекает. Анонимный рецензент из "Книжного обозрения" (1997, № 19) остроумно заметил, что Радзинский создал некий новый жанр — "лит-шоу" и в этом жанре написал своего "Сталина". Получилось "Сталин-шоу". Тем более важно, как в этом "шоу", предназначенном для массового читателя, представлен Сталин.

Радзинский — весьма чуткий "радар" спроса на рынке общественных настроений. Несколько лет назад, когда началась прямо-таки безоглядная реабилитация большевистского прошлого и вдруг пробудились монархические чувства, он предложил читателям свой бестселлер о последнем царе. А Сталин? Горбачевско-ельцинская демократия обернулась таким развалом, что тоска по твердой руке все сильнее проникает в души. И тут уж без воспоминаний о "человеке с трубкой" не обходится. Хотя многие по-прежнему проклинают его, ностальгия по нему растет. В "исполнении" Радзинского Сталин, на первый взгляд, в равной степени может быть принят как антисталинистами, так и сталинистами. Секрет прост: Радзинский "объективен". Сталин — великий политический игрок, умевший разыгрывать длинные шахматные партии с жертвой ферзя, в которых противники запутывались и сдавались. Он — создатель великой империи. Но он и коварный злодей, холодный убийца. В целом же он — тайна, никем не разгаданная, не открытая. И мы так и не получаем ответа на самый важ-

ный в сталинской теме вопрос: как и почему могло случиться, что в финале гигантского российского разлома первой четверти нашего века триумфатором оказался низкорослый кавказец Сосо-Коба с рябым лицом, косноязычной речью, "мудростью" уголовника? А ведь это вопрос вопросов.

Поразительно, что появление "сталиных" в наши дни нередко обосновывается понятием "закономерность". Некоторые историки утверждают, что тоталитарные режимы — ответ на "потребности различных слоев в социально-экономической и социально-политической модернизации общества" ("*Тоталитаризм в Европе в XX в.*", М., 1997). Есть публицисты, которые считают, что тоталитаризм, в том числе и сталинизм, — "проявление национального духа", "жестокое, насильственное средство спасения" страны в моменты кризиса ("Независимая газета", 22 мая 1997 г., Exlibris, НГ). Но кто-то мудро сказал: "Необходимость — отговорка тиранов и предмет веры рабов".

650-страничный том Э. Радзинского посвящен, как сказано в издательской аннотации, анализу личностных качеств "красного царя", созданию "объемной фигуры человека со всеми его достоинствами и недостатками". Исторического фона в книге практически нет. А он как раз и мог бы прояснить, что Сосо-Коба не один раз мог сгинуть в сибирских ссылках или зачахнуть на полатях в квартире какой-нибудь Матрены Кузаковой, у которой он когда-то жил в Сольвычегодске. Такой фон вряд ли оставил бы сомнения в том, что Коба превратился в "Хозяина" только благодаря политиканству "ленинской гвардии", после смерти Ленина искавшей себе новую "спину", и ничтожеству "сталинской гвардии".

Поистине замечательные характеристики находим у Радзинского. Жданов — "горький пьяница и холуй", Маленков — "жирная, вялая, жестокая жаба". Можно продолжить список. Калинин — старый сластолюбец, Каганович — биндюжник, Ежов — половой извращенец. Хороша компания! Где здесь место "различных общественных слоев", как говорил Горбачев, "замордованного народа" (лучшее из всего, что он сказал)? И странно читать, что окруженный такими людьми Хозяин все свое царствование на самом деле играл самую "длинную шахматную партию", конечной целью которой было осуществление Великой Мечты — мирового коммунизма. С этим можно согласиться, если считать сталинский ГУЛаг социализмом. Еще накануне войны Г. Федотов писал: "Думают, что если тиран душит Россию, то обязательно в интересах Интернационала. Думают так единственно потому, что могут представить себе радикальное зло только в образе Интернационала и не догадываются, что служение Интернационалу тоже требует самоотвержения, жертвенности — тех добродетелей, на которые Сталин не способен... Всякий бандит, овладев-

ший государством, перестает отделять интересы государства от своих собственных. Сталин, как немецкие императоры в Петербурге XVIII в., прежде всего хозяин России. Но хозяин хищнический, варвар, головотяп, который ради своих капризов или своей тупости губит землю, истощает ее силы. К естественному варварству прибавьте страх. Борьба за личную безопасность, за сохранение власти заслоняют все... В этом весь Сталин" ("Звезда", 1996, № 10). Сталин — знак перерождения и полного вырождения большевизма как идейного течения; знак "большевизма у власти", способного сохранить себя лишь методами крайнего насилия.

Сегодня Радзинский имеет в России реноме чуть ли не "главного историка". Тем более досадны промахи и домыслы, к которым он прибегает при отсутствии фактов. Вот лишь несколько. Вступить "в контакт с полицией" Кобе "было предписано Вождем", т. е. Лениным. Где доказательство? Коба знал, что "Ленин вернется в Россию с большими (германскими. — *Г. И.*) деньгами". Откуда он мог знать это? Вообще попытка Радзинского "вплотную" приблизить Кобу к Ленину уже в дореволюционный период (да и позже) несостоятельна. Она — дань конъюнктуре. Троцкий у Радзинского создает при Совете орган — ВРК. Это элементарно неверно. Знаменитую Марию Бочкареву (женский "батальон смерти") Радзинский переделал в Бочарникову и "расстрелял" в гражданскую войну. Где приказ Ленина Зиновьеву о расстреле великого князя Николая Михайловича (с. 169)? Если бы Деникин рассчитывал соединиться с Колчаком, он бы "не повел свои войска на Москву". Деникина как раз и обвиняли в том, что его "московская директива" не позволила белым, сражавшимся на юге, соединиться с Колчаком. Не "Трест" заманил Б. Савинкова в Советскую Россию. Для этого ГПУ была создана другая "подставная" организация — "Синдикат-2". Перечень такого рода просчетов можно было бы продолжить. И все-таки дело, конечно, не в них.

Закрываешь книгу с ощущением, что, проведя Сосо-Кобу-Сталина через все перипетии, изложенные в книге, Радзинский все-таки оставляет своего героя на пьедестале. На последней странице он цитирует библейского пророка Исайю: "Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога". "Эти слова Святой Книги, — пишет Радзинский, — должен был хорошо знать ученику духовной семинарии, маленький Сосо Джугашвили, вошедший в мировую историю под именем Сталина".

Хочется закончить другими словами Исайи: "Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки" (Исайя, 40, 19). Проблема большевизма и сталинизма уже

давно требует научного освещения, свободного как от политической конъюнктуры, так и от влияния рынка.

Генрих Иоффе,
Канада

Виктор Суворов. "Последняя республика", М., 1996.
Игорь Бунич. "Лабиринты безумия". СПб., 1995.

Виктор Резун, взявший себе псевдоним Суворов (так его прозвали за въедливость на занятиях по военной истории еще в Суворовском училище), одержал внушительную победу. Даже бóльшую, чем на том же поприще другой автор — Игорь Бунич. Бунич наплодил много книг — на темы о правительстве ранних большевиков-ленинцев, о золоте партии, о Николае II, о таллиннском переходе флота, о "втором октябрьском мятеже 1993 года", о 500-летней войне на самоистребление, ведущейся в России... Книги Суворов и Бунич пишут по методу, в чем-то напоминающему метод Валентина Пикуля: масса достоверных фактов, несколько оригинальных поворотов мысли (почему, например, Красная Армия первоначально терпела поражения) и процентов 10-15 элегантных фантазий, но так смешанных с фактами, что возникает иллюзия достоверности.

Бестселлер на историческую тему так ведь и должен изготавливаться: берется всем известный факт или вывод и с помощью той самой пропорции 10 процентов хитрых выдумок заменяются на противоположный. Гитлер напал на СССР, а мы вот будем доказывать, что, наоборот, Сталин собирался напасть на Германию, а Гитлер вынужден был нанести превентивный удар. Принято считать, что СССР вместе с союзниками выиграл войну, а вот Суворов уже подзаголовок к своей книге "Последняя республика"(М.,1996) дает в такой форме: "Почему Советский Союз проиграл вторую мировую войну". Сразу сделана заявка на сенсационность — СССР войну проиграл, а не выиграл, как до сих пор думали глупые историки и их наивные читатели.

Подзаголовок книги Бунича на тему войны "Лабиринты безумия" выполнен более тонко — он гласит: "Историко-художественное исследование". Всегда можно сказать — а чего вы хотите, это художественный прием. Например, в случае документального опровержения якобы существовавшего военного заговора "матерых троцкистов Баранова и Сергеева, возглавлявших в 30-х годах советские ВВС". В рамках этого заговора летчик Николай Благин, сопровождавший на истребителе И-5

семимоторный "Максим Горький", специально врезался 18 мая 1935 года в гиганта, считая, что в нем находятся Сталин и другие члены Политбюро. Не знаю, какие нужны документы для опровержения этого сочинения, мне достаточно того, что в тридцатые годы "матерые троцкисты" возглавлять ничего не могли. Самое большое — бригаду на лесоповале в северных лагерях. Кстати сказать, Благин похоронен на Новодевичьем, там же, где и остальные жертвы той катастрофы. Через страницу Бунич сообщает, что и заговор Тухачевского имел место. Оказывается, заговорщики собирались бомбить Кремль. Так что прав был Сталин, ликвидируя изменников, прав...

Бунич приводит два письма Гитлера, доставленные "Юнкерсом" на Тушинский аэродром прямо Сталину перед самым началом войны. В письмах Гитлер объясняет концентрацию войск на границе с СССР хитрым маневром одурачивания англичан и просит Сталина приказать своим генералам, чтобы они не поддавались ни на какие провокации. Письма уверили Сталина в правильности его собственных построений: дать Гитлеру начать высадку на Британских островах и тут же нанести по Германии сокрушительный удар. И — Европа советская! И опять-таки — столь важные, просто сенсационные личные письма Гитлера Сталину — и никакой ссылки на источник, на архивы или хотя бы монографии. А были ли письма? Почему их нет ни в одном сборнике документов? Они ничего не меняют в общей расстановке сил и замыслов того периода, и все-таки — откуда их Бунич взял?

Виктор Суворов бурит и бурит одну скважину и добыл уже много чего. Четыре книги и неисчислимое количество статей и интервью — и все про одно: Сталин готовил нападение на Германию 6 июля 1941 года. Число 6 июля никак не обосновывается. Бунич, между прочим, называет другую "точную дату" нападения: через три дня после начала высадки немцев на Британские острова, планировавшейся якобы на 15-20 июля.

Суворов и Бунич предлагают следующую концепцию: для нападения на Германию Сталин создал самую большую армию, оснащенную по последнему слову техники. Техника эта, особенно танки, превосходила все созданное в других странах качеством, не говоря о количестве. По танкам СССР превосходил Германию в семь с половиной раз! На начало войны только новейших средних (Т-34) и тяжелых (КВ-1, КВ-2) было 2000! А у Германии всего на Восточном фронте — 3500, среди них мелкие пакости вроде Т-1 и Т-2, которые и танками-то считать нельзя. И по самолетам СССР превосходил в четыре раза, причем среди них были уже и новейшие МИГ-3, Як-1, ЛАГГ-3! По артиллерии (включая реактивные "Катюши") и вовсе имелось восьмикратное превосходство.

Сталин собирался одним броском очутиться в Берлине, планировал таким образом осуществить мировую революцию. В Берлине он побывал, пусть и с некоторой задержкой, но... Все равно (на это особенно напирает Суворов) во второй мировой войне Сталин потерпел поражение, ибо конечная цель — мировая революция и распространение своей власти на весь мир (или хотя бы на Европу) не состоялась.

В игру, затеянную Суворовым, включились многие — от отставников до солидных историков (в том числе и покойный Д. Волкогонов). Все стали опровергать Суворова, говоря: нет, не была готова Красная армия к войне. Она имела меньше танков и самолетов, притом худшего качества. Именно поэтому, а также из-за вероломной внезапности Гитлер одерживал первоначальные победы, поэтому и дошел до Москвы.

Суворов же объясняет первоначальные успехи Гитлера тем, что Красная Армия изготовилась к прыжку на Германию, а ее опередили. Армии, развернутые для атаки, не были готовы к обороне — вот и побежали, несмотря на невероятное преимущество в силе.

Мистификация Суворова достигла цели! В слабости Красную Армию как раз обвинял, пишет Суворов, Гитлер, который говорил, что СССР — "колосс на глиняных ногах". Стало быть все, кто пишет о неподготовленности Красной Армии к войне, есть последыши гитлеровско-геббельсовской пропаганды. Они не патриоты. Они восхваляют германскую технику и хают свою. Суворов же становится в позу истинного патриота и пишет о невероятной мощи Красной Армии.

В результате возникла затяжная дискуссия, которая только увеличивала успех книг Суворова и позволяла ему писать все новые — он откликался на критику и в язвительной манере побивал своих оппонентов. Да и как их не бить, если генерал-лейтенант Гареев пишет, что в вермахте на вооружении находились 35- и 38-тонные танки, подобных которым и близко не было в СССР. А Суворов с фактами в руках показывает, что цифры 35 и 38 вовсе не тонны, а годы начала выпуска. И были эти хилые создания в 9,5 и 10,5 тонн настолько слабы, что после мороза не могли оторвать гусеницы от почвы.

Масса таких деталей, хороший язык, ирония и сарказм по отношению к своим противникам, привлекают к Суворову (и Буничу) читательские массы. Поздравим их с литературным и финансовым успехом. Но... Давайте непредвзято подойдем к теме. Хотел ли Сталин войны? Готовился ли к ней? Вне всякого сомнения. Он был вождем агрессивного государства и руководствовался агрессивной идеологией непременного торжества коммунизма во всем мире, что есть не более чем иносказание теории мирового господства. Сомнений никаких не может

быть по поводу стратегических намерений Сталина. Так почему же он не напал на Германию в благоприятное для себя время — летом 1940 года, когда почти все войска Гитлера находились во Франции? По мнению всех военных специалистов, он тогда марш-броском, имея подавляющее превосходство в танках (да и Т-34 уже имелись), был бы в Берлине за неделю! А потому не напал, что был, говоря словами Бухарина, гениальным дозировщиком. То есть — перестраховщиком.

Сталин почувствовал, что перебрал с отстрелом командного состава. Все-таки 40 тысяч, вплоть до командиров батальонов. Идти на противника, который перед этим за две недели смял и уничтожил отнюдь не такую уж маленькую польскую армию, он не рисковал. Хотя бы года два на подготовку командиров среднего звена — и тогда можно. А это значит — не раньше 1942 года.

Расстреливать маршалов да комдивов — дело хорошее. Как говаривал Сталин, читая "Государя" Макиавелли: "Правильно пишет этот флорентиец, что страх важнее любви и что дело государя — не добиваться любви подданных, а сделать так, чтобы государя боялись. Но он не понимает и не знает диалектики. Страх перед государем должен быть таков, чтобы от этого возникла любовь. Любовь через страх — вот настоящая диалектика!" Любовь к товарищу Сталину к 1940 году уже была очень сильна. А вот управление войсками, не в пример любви, было слабым. Одно дело петь "От тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней", другое — организовать взаимодействие родов войск.

Жуков в "Воспоминаниях" пишет, что в декабре 1940 — январе 1941 гг. под руководством наркома обороны Тимошенко были проведены игры с "западным" противником. Западными (синими) командовал Жуков, пользующийся принципами ведения войны вермахта, и они с блеском победили. Второй раз Жуков командовал красными, пользуясь советскими наработками и наличными командными ресурсами — и результат оказался неясным, но, вроде бы, снова в пользу синих. Сталин был разгневан, снял начальника генштаба Мерецкова, который за год до того был выпущен из застенков и после пыток всего боялся, а Жукова назначил на его место. Мерецкова арестовали второй раз, снова били и мочились в лицо (два самых свирепых следователя — Шварцман и Родос, расстрелянные при Хрущеве), он оговорил многих — Штерна, Локтионова, Рычагова и других как заговорщиков. Мерецкова, Ванникова, Батова Сталин выпустил в сентябре. Остальных расстреляли.

Еще большой вопрос, какой инициативы можно ожидать от офицеров и генералов, которых пытали, или от тех, которые знают об этом и панически боятся подобной судьбы. Офицеры, которые боятся своего

вождя больше, чем неприятельского фюрера! Вот и действуй после этого "по обстановке". Здесь никакая любовь к своему вождю не поможет.

Сталин в своем отношении к армии был в чем-то похож на тиранозавра: огромная многотонная гора мышц, полуметровые когти, чудовищные клыки и очень мало смысла. На все это боевое великолепие приходилось всего полкилограмма маленького плохо организованного мозга. На гору танков (24 тысячи на начало войны), на армады самолетов, на восьмикратное превосходство в артиллерии приходилось очень слабое обеспечение средствами связи. Чрезвычайно мало было полевых и штабных раций. Связь, информация — это что-то эфемерное. Товарищ Сталин любил наглядность: видишь танк в 50 тонн и ощущаешь — это вещь. Кроме того, рации — устройства антисоветские. Можно слушать вражеские голоса, можно неподконтрольно переговариваться между собой, можно передавать шпионские сведения. Проводная связь, полевые телефоны надежнее. Здесь товарищ Сталин полностью следовал своему изобретению радиоточек, которыми он по всей стране заменил опасные всеволновые радиоприемники. Это было то изобретение, которому завидовал Гитлер.

Пренебрежение информацией проявлялось у Сталина и в полном недоверии к достоверным источникам. Пренебрежение проявлялось в том, что сведениям, которые совпадали с его желаниями, он доверял, а которые не совпадали — нет. Гитлер дезинформировал вождя мирового пролетариата по разным каналам. Самое распространенное объяснение концентрации германских войск на границе — это необходимость тайного сбора дивизий для последующего броска на Англию. Так сказать, ура крикнем на востоке, а наступать начнем на западе.

Была и еще одна "деза". Гитлер использовал агента по кличке Лицеист. Летом прошлого года в Москве вышла книга "Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и контрразведка о подготовке германской агрессии против СССР, март-июнь 1941 (документы из Центрального архива ФСБ России)". Составители и авторы примечаний и предисловия: В. К. Виноградов и др. В этой книге опубликованы донесения агента-провокатора Лицеиста (латыш Орест Берлинкс, 1913-1978), доставившего Сталину сообщение, что в конце июня Германия внезапно предъявит Советскому Союзу трудно выполнимые экономико-политические требования. Для подкрепления этих требований, дескать, на границе с СССР и концентрируются германские войска. Одно из соображений, которое теперь высказывается разными авторами, — Сталин больше поверил этой "дезе", чем официальному объяснению Гитлера о его хитром обмане англичан. Дескать, пусть Гитлер собирает свои дивизии у границ

СССР, пусть англичане думают, что Гитлер и впрямь собирается напасть на СССР. Пока Гитлер предъявит свои экономические требования, пока мы будем вести переговоры, я, Сталин, сам нанесу по Германии мощный удар — и при этом буду смотреться в глазах Запада их же защитником. Вот так коммунизм и восторжествует в Европе под радостные крики самих европейцев. Вывод составителей книги таков: "Дезинформация немцев оказалась результативной", поскольку "Сталин, видимо, был психологически расположен к таким сообщениям".

Но неужели Гитлер не знал о таком явном преимуществе СССР в танках-самолетах, артиллерии, в живой силе? О несоизмеримости запасов сырья и ресурсов СССР и Германии? Конечно, Германия — почти классический тоталитаризм (почти — потому что не успели довести его до блеска), и потому там тоже к информации было отношение негативное. Настолько, что Гитлер после сильных поражений запрещал сообщать ему неблагоприятную информацию. Равно как и Сталин, запрещавший, например, сообщать сведения о скоплении немецких войск у границы СССР. Однако в 1941 году маразм боязни нежелательных сведений в Германии не зашел еще так далеко. И Гитлер имел сведения о явном превосходстве Сталина. Вот строки из книги гитлеровского генерала Курта Типпельскирха "История второй мировой войны": "Было известно, что вооружение стрелковых дивизий, с которыми предполагалось встретиться в первую очередь, отвечает современным требованиям; знали и то, что в отличие от немецких пехотных дивизий они имеют в своем составе танковые батальоны. У русских было, видимо, много танков — вероятно, раза в 4 больше, чем у немцев. Однако русские еще отставали в организации крупных подвижных соединений, предназначенных для решения оперативных задач. Русская авиация справедливо считалась слабее немецкой, хотя количество ее самолетов могло быть в несколько раз больше". Аналогичные вещи о превосходстве Красной Армии (особенно в танках) писал в своих "Воспоминаниях солдата" Гудериан.

Насчет танков-артиллерии гитлеровские генералы не сомневались: у Сталина они сильнее. Но не слабее была и русская авиация, в которой уже были новейшие истребители ЯКи да МИГи, а на подходе — штурмовики ИЛ-2. И в количественном отношении у Типпельскирха данные занижены в полтора раза. Хоть и командовал он квартирмейстерским управлением, но ранее занимался разведкой. В любом случае — знали немцы о превосходстве русских. Но еще лучше знали обстановку не квартирмейстеры-разведчики, а думающие генералы с аналитическим умом. Среди них выделялся Людвиг Бек, до 1935 года возглавлявший

германский генштаб. Затем он не сработался с фюрером и ушел в отставку (его заменил Гальдер), но был очень обеспокоен будущей судьбой Германии. Бек просто-таки засыпал Гитлера записками, от которых тот отмахивался, как от мух. Главная идея Бека была показать: сырьевые запасы и мобилизационные резервы России (а также США и Британской империи) таковы, что Германии и думать нечего выиграть затяжную войну, а на блицкриг тоже рассчитывать не приходится при явном превосходстве в вооружениях у СССР и в связи с океанами-морями между Германией и Англией-США.

Вот маленький кусочек из его меморандума от середины сентября 1939 года: "В настоящее время Германия стоит в начале мировой войны, разгром Польши ничего не изменит в этой констатации. Отстаивавшаяся иногда еще перед первой мировой войной теория, что в современной обстановке война может быть заменена одним калькулированием войны и блефами, уже однажды показала свою полную несостоятельность.

Разгром Польши следует рассматривать как начальный эпизод. То, что немецко-польская война так неудачно сложилась для Антанты, воспринято последней несомненно с неудовольствием. Но по опыту первой мировой войны эта неудача будет лишь способствовать усилению упорства Антанты... Полный разгром Польши вызвал активное выступление на арене новой державы — России. О ее дальнейших действиях пока еще нельзя ничего сказать. Но уже сейчас Россия обременяет с востока свободу стратегических действий Германии, и не исключено, что в лице России Германия в последующем ходе войны встретит серьезную, а при определенных обстоятельствах — смертельную опасность".

Изучив архивы разведки, проф. Р. Д. Мюллер (Центр изучения военной истории Бундесвера ФРГ) в своем докладе на конференции "Начало войны и СССР. 1939-41" в Институте всеобщей истории РАН (31 января — 3 февраля 1995 г.) подтвердил вывод: Гитлер был убежден, что Красная Армия не нападет первой ни в 1941 году, ни в ближайшие годы.

Гитлер и слышать не хотел о затяжной войне. Только блицкриг. Месяц на Францию, две недели на Польшу, по неделе на Норвегию, Грецию, Югославию. На Россию он, расщедрившись, отпустил пять месяцев. Кинжальными ударами рассечь коммуникации между армиями, окружить, частично уничтожить, частично пленить. Война началась с простой вещи: в пограничные округа были заброшены диверсанты в форме Красной Армии, которые перерезали проводную связь. После этого управление войсками было тут же потеряно — особенно на Западном фронте, которым командовал расстрелянный вскоре Павлов. Где какие дивизии, корпуса, полки — уже никто не знал. Потеря управления вой-

сками — самое страшное, что может с ними произойти. После этого армии нет — есть металлолом, сброд, который только и может сдаваться в плен.

Игорь Бунич в книге "Лабиринты безумия" выдвигает свежую идею: поражение Красной Армии в первые полгода войны объясняется тем, что она не сопротивлялась. Она, дескать, фактически подняла восстание против сталинской деспотии, и дивизии сдавались в плен, цитирую, "под звуки дивизионных оркестров". Дословно: "События лета 1941 года можно без всяких преувеличений назвать стихийным восстанием армии против сталинской деспотии". Он даже намекает, что Власов не просто так попал в плен, а был заслан группой генералов-заговорщиков, чтобы вместе с немцами свергнуть Сталина. Красиво. Но неправдоподобно. Тысячи фактов опровергают эту "теорию". Зато не просто правдоподобно, но несомненно, что армия, потерявшая управление, став стадом, не может сопротивляться как единое целое. Именно по этой причине тысячная толпа пленных велась, бывало, всего десятком конвоиров. В этой толпе не было внутренней субординации, не было структуры и потому она не могла согласованно наброситься на конвоиров, разоружить их и бежать.

Пользуясь аналогией с тиранозавром, можно сказать, что Гитлер намеревался точным выстрелом поразить его хилый мозг, после чего вся огромная туша только заскребет ногами в агонии. И ему это почти удалось! Приграничные фронты рухнули и исчезли в клешах сравнительно слабых танковых колонн Гудериана, Гота, Геппнера и Клейста. Что толку в превосходных Т-34 и КВ-2, к которым из-за отсутствия связи не подвезли горючее и снаряды?

Да, почти удался Гитлеру парализующий укол в мозг. Но именно лишь почти. Советы стали судорожно демонтировать оборудование заводов и в рекордные сроки (были случаи демонтажа крупных турбин за 8 часов) их перебросили на восток. Промышленность в большой мере сохранили. А из Сибири и Дальнего Востока все шли и шли дивизии, заменявшие исчезнувшие в пламени начальных сражений. Плюс всеобщая мобилизация и ополчение. Вот тут сказалось преимущество в промышленном потенциале и мобилизационных возможностях.

Как только выяснилось, что после пяти месяцев войны ничего близкого к полному развалу Красной Армии (и в целом СССР) нет, наиболее толковые генералы поняли: это конец. Не только Бек, но и его сменщик на посту, Гальдер, что и видно из его дневников. Потому и он в 1942 году вынужден был покинуть свой пост. А Бек уже давно не писал своих грозных предупреждений, а занялся подготовкой покушения на Гитлера.

Но вернемся к Суворову. Он, как мы помним, обвиняет генералов и историков в русофобском преклонении перед немецкой техникой и очернением своей собственной. Пусть не в таких сильных выражениях, но с ним можно согласиться. Но главное в том, что эти историки и генералы не видят главной причины поражений — забвения важности циркуляции информации в армейском организме, вообще недоучет управления и координации войск. Вопрос этот не только технический, но скорее политический, ибо нужно было бы четко сказать, что в СССР иначе дело обстоять и не могло. А на такой вывод пойти никто до 90-х годов не мог. Позднее возникла инерция и сила авторитета маршалов, написавших горы воспоминаний, в которых все повторялось и повторялось: неготовность армии, мало танков-самолетов, плохого качества, горели как спички... На этой территории у Суворова спор не выиграешь. Он прав: была Красная Армия готова к войне, имела преимущество в технике (кроме связи! — о чем, между прочим, Суворов не пишет). Но вот что поразительно: обвиняя своих оппонентов в непатриотизме, в следовании идеям Гитлера-Геббельса о слабости Красной Армии, он сам полностью повторяет главную идею Гитлера о необходимости превентивного удара по СССР! Вот документ — строки из объявления войны, которые прочитал посол Германии в Москве граф Шуленбург потерянному Молотову:

"Риббентроп, Берлин — Шуленбургу 21 июня 1941 года

1. По получении этой телеграммы весь шифрованный материал, находящийся там, подлежит уничтожению. Радиостанцию надо привести в негодность.

Уведомьте, пожалуйста, тотчас же Молотова, что вы должны сделать ему срочное сообщение и поэтому хотели бы немедленно видеть его. Затем сделайте ему следующее заявление:

"Правительство Германии заявляет, что Советское правительство вопреки взятым на себя обязательствам

1) не только продолжает, но даже усилило свои подрывные действия в отношении Германии и Европы;

2) проводит все более антигерманскую внешнюю политику;

3) сосредоточило все свои силы в состоянии готовности на германской границе.

Тем самым Советское правительство нарушило свои договоры с Германией и собирается напасть с тыла на Германию, ведущую борьбу за существование. Поэтому фюрер приказал германским вооруженным силам отразить эту угрозу всеми средствами, имеющимися в их распоряжении.

Прошу не вступать ни в какое обсуждение данного заявления. Пра-

вительство Советской России обязано обеспечить безопасность сотрудников посольства».

Молотов, выслушав, лишь прогнусил упавшим голосом: "Вы считаете, что мы заслужили это?" (цит. по У. Черчилль "Вторая мировая война", М., 1991, т. 2). А Шуленбург в ответ заплакал — он-то знал, к чему это приведет. Потому и стал участником заговора против Гитлера, за что был казнен в 1944 году.

Сталин все делал ради сохранения мира: и офицеров сажал за антигерманские настроения (М. Галлай в книге "Испытано в небе" сообщает, что его друга, классного летчика-испытателя, посадили на 10 лет за шутку о немцах "наши заклятые друзья" прямо за день до начала войны, и он продолжал еще сидеть с этой формулировкой, когда немцы уже были под Москвой), и разведчиков, сообщающих точную дату нападения Германии, расстреливал и закрывал глаза на то, что Германия срывает поставки оборудования, за которое давно заплачено сырьем. И продолжал, и продолжал гнать сырье своему другу. Вот документ — циркуляр германского министерства иностранных дел, направленный Гитлеру накануне вторжения: "Советский Союз поставил все обещанное. По многим пунктам он поставил даже сверх того, о чем первоначально было договорено. Вызывает законное восхищение то, как Советский Союз организовал отгрузку гигантского количества товаров. В настоящий момент торговые и транспортные каналы работают бесперебойно".

Да что говорить! Гитлер был по-своему последовательным. Писал в "Майн кампф", что необходимо окончательное решение еврейского вопроса, и действительно решал его. Даже использовал для этой цели "Циклон Б" — инсектицид, что до сих пор является главным аргументом для тех, кто пересматривает вопрос о Холокосте — дескать, "Циклон Б" завозили в Освенцим для борьбы со вшами, а евреев вовсе не уничтожали специально в газовых камерах, они просто немножко поумирали от тифа. Это все равно, как если бы человека, убившего кого-то молотком, оправдывали на том основании, что молоток не предназначен для битья по голове.

Гитлер еще в 1923 году написал в "Майн кампф": "Когда мы говорим о новых территориях в Европе, мы имеем в виду, главным образом, Россию и зависимые от нее приграничные государства. Сама судьба указывает нам этот путь". В 1936 г. он повторил это еще раз в публичной речи: "Если бы мы имели в нашем распоряжении Урал с его неисчислимыми запасами сырья, леса Сибири и если бы бескрайние поля Украины лежали в пределах Германии, страна утонула бы в изобилии". В июле 1940 года Гитлер в узком кругу генералов уже говорил, что сле-

дующая цель — Россия. Гальдер в "Дневниках" от 3 июля пишет, что "Восточная проблема стала главенствующей. Основным содержанием последней является: как нанести решающий удар по России". 31 августа Гитлер на совещании в ставке вермахта уже говорит широким генеральским массам: "Если Россия будет разбита, у Англии пропадет последняя надежда". И сразу же развернулась практическая подготовка к нападению. Начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодль 6 сентября издает директиву по маскировке и введению противника в заблуждение: "Из наших перегруппировок у России ни в коем случае не должно сложиться впечатление, что мы подготавливаем наступление на Восток" (цит. по У. Ширер "Взлет и падение третьего рейха", М. 1991. Это лучшая книга о нацизме и Гитлере — автор, американский журналист, все эти годы жил в Германии, лично знал нацистских бонз).

Наконец, 18 декабря была подписана окончательная директива № 21 (план "Барбаросса") о нападении на СССР. Стало быть, идея нападения на Россию начала осуществляться задолго (с июля 1940 г.) до тех разговоров и выступлений Сталина (например, на выпускном вечере офицеров 5 мая 1941 года), которые Суворов интерпретирует как сигнал к атаке на Германию.

Из экономии места не буду приводить множества документов, из коих наиболее показательными являются доклады генерала Томаса, начальника военно-экономического штаба ОКВ, который все время подчеркивал, что Германия не имеет собственных ресурсов для ведения затяжных войн и не имеет валюты, чтобы покупать сырье (особенно он напирал на нефть, медную руду, каучук), и потому нужно срочно захватить все это у других. Притом — быстро, ибо медленно просто не получится.

Имеется меморандум группы немецких экономистов, которые с цифрами в руках доказали, что при таком диком росте военного производства (с 1933 по 1939 год оно выросло в 12 (!) раз, а потом еще в пять раз, то есть всего в 60 (!!!) раз — см. "Банкротство стратегии...") германская экономика окончательно развалится к 1945 году. Поразительное предсказание! Мне приходилось видеть этот меморандум только в одной книге — в работе Л. А. Безыменского "Немецкие генералы с Гитлером и без него". Трудно сказать, почему он не привлекает внимание историков. Наверное, из-за нелюбви к экономистам. Именно этот меморандум, помимо общих расово-теоретических воззрений о неполноценности славян и вредоносности евреев, и подвиг Гитлера на скорое нападение на СССР, совершенно безотносительно к будущим планам

Сталина. Поэтому, когда ему совали записки Бека, выкладки Томаса и предостережения Гальдера о неготовности Германии к большой войне, он вопил, что генералы не владеют той полнотой информации, которая есть у него.

Битва над Англией оказалась проигранной еще летом 1940 года: англичане имели радары и ЭВМ, соединенные с зенитками. Радары позволяли с земли управлять истребителями, так что те лупили немецкие самолеты в хвост и в гриву. При превосходстве англичан на море Гитлеру и думать нечего было соваться со своим "Зее леве" на Британские острова. Гитлер справедливо усматривал сопротивляемость Англии в надеждах ее политиков на то, что Сталин в конце концов нападет на Германию. Вот тут Гитлер и решил, что для окончательного сокрушения Англии нужны все ресурсы России, а не только те, которые Сталин и так посылал в качестве обмена по торговым операциям. Мысль, что Англию можно поставить на колени только после покорения России, он высказывал многократно. Приняв решение о скором нападении на СССР, Гитлер пишет Муссолини: "Я скажу тебе еще одну вещь, Дуче. Впервые с тех пор, как передо мной встала необходимость принять это трудное решение, я чувствую себя внутренне свободным. Сотрудничество с Советским Союзом я рассматривал как измену самому себе, моим идеям, моим прежним обязательствам. Теперь я счастлив, что свободен от этих внутренних терзаний" (Аллан Буллок. "Гитлер и Сталин", Смоленск, 1994, т. 2).

На совещании в ставке вермахта 9 января 1941 года Гитлер уже совсем ясно говорил: "Англичан поддерживает надежда на возможность вмешательства русских. Они лишь тогда откажутся от сопротивления, когда будет разгромлена эта их последняя континентальная надежда" ("Банкротство стратегии...", т. 2).

У Сталина, как уже было сказано, была глобальная идея броска на Запад. Но плана конкретного нападения еще не было. Документ МП-41, на который любят ссылаться Бунич и Суворов, вовсе не есть такой план. Это обычный мобилизационный план (МП), который разрабатывался на каждый год (в данном случае — 1941 г.). Игорь Бунич дает ссылку на архивную единицу хранения этого плана ("Лабиринты безумия") только для того, чтобы придать достоверность плану нападения на Германию "Гроза", ссылку на архивный номер хранения которого Бунич благоразумно не дает, ибо такового не существует. Ведь что делает этот блестящий автор? Он пишет о документе МП-41, цитирует его, а затем подключает разговоры о плане "Гроза" как якобы совсем другом плане нападения на Германию! На самом же деле слово "Гроза" — всего лишь

пароль по введению в действие МП-41, именуемого на случай войны с Германией "План стратегического развертывания сил Советского Союза на предмет войны с Германией и ее союзниками". Любопытно, что некоторые историки, подпавшие под мистификацию двух талантливых людей — Суворова и Бунича, оперируют несуществующими документами как полной реальностью и уже начинают путать МП-41 с мифическим планом "Гроза", то есть рассматривать их как одно целое.

Историку должна быть ясна разница между идеей напасть и планом нападения. Идея напасть на Россию у Гитлера была еще в 1923 году. Была такая идея и у Сталина. Только Гитлер довел эту идею до плана "Барбаросса", а Сталин до соответствующего плана — нет. Не успел.

Гитлеровский выстрел в мозг сталинскому тиранозавру оказался для него несмертельным. Да и у самого германского тиранозаврика тоже оказался мозг не лучше. Даже, пожалуй, хуже. Так что он заскреб когтистыми лапами раньше.

P. S. 23 июня 1997 г. я имел часовую дискуссию с Суворовым на открытой линии русского радио WMNB. В ее рамках он ссылался на "документы, опубликованные моим последователем Игорем Буничем и подтверждающие мою идею об имеющемся плане Сталина нападения на Германию". Я ему сказал, что представляют собой эти документы (МП-41 и вымышленный план "Гроза"), а также о том, что вновь найденные документы, которые принципиально меняют концепцию войны, не вводятся в научный оборот в бестселлерах с подзаголовком "Художественно-историческое исследование", о том, что желание что-то иметь — одно, а план по захвату — совсем другое. Суворов ответил, что, дескать, он не отвечает за Бунича и не ссылается на его документы. Если же, по его словам, выяснится, что Сталин не собирался нападать на Германию 6 июля, а, скажем, разница будет составлять месяц или более, то "история меня оправдает".

Полагаю, что Суворова оправдает что-нибудь другое А история?

Не думаю.

Валерий Лебедев,
Массачусетс

The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literature. Including Non-Russian and Emigré Literatures [MERSL]. Т. 1-9. Под редакцией Harry B. Weber (тт. 1-8), George J. Gutschke (т. 9).

Продолжение: *The Modern Encyclopedia of East Slavic and Eurasian Literatures. т. 10. Под редакцией Peter Rollberg. Gulf Breeze, FL: Academic International Press, 1977-1989, 1996.*

В 1977 году в Соединенных Штатах был выпущен первый том литературной энциклопедии, которая не ограничивалась русской литературой, но включала также статьи о национальных литературах СССР. Термин "русская и советская литература" отличался от привычного определения "многонациональная советская литература". Включалась вся русская литература предыдущих веков и современная, не признанная советской властью, и запрещенные авторы. После выпуска в 1989 году девятого тома, оканчивающегося на "Но", дальнейшие тома не издавались. И вот теперь вышел в свет очередной том под редакцией Питера Роллберга, слависта из Лейпцига, после воссоединения Германий приглашенного на работу в университет им. Джорджа Вашингтона (George Washington University). Исходя из того, что одиннадцатый том должен начинаться с буквы "К", можно предположить, что энциклопедия будет насчитывать около 30 томов, примерно по 250 страниц каждый. Название издания изменено в соответствии с политическими преобразованиями. Каждый из томов энциклопедии содержит превосходные объемные статьи, необычные для энциклопедий и справочников по истории русской литературы и других литератур.

Энциклопедия содержит статьи о деятелях литературы, тематические статьи, включающие информативную библиографию. Выбор имен и тем для энциклопедии всегда связан с трудностями, решение принимается в конечном счете лично редактором энциклопедии, который всегда может стать объектом критики. В первых восьми томах, изданных Хэрри Вебером (University of Iowa), можно особенно отметить тот факт, что он включил в число авторов таких в те времена мало известных эмигрантов, как Владимир Диксон, а также литературоведов, например, Е. Эткинда и Д. Чижевского. Однако в первом томе пропущены, например, Ахмадулина, Айги, Астафьев, Ананьев. Уже в середине семидесятых годов эта энциклопедия следовала принципу единства русской литературы, и этим MERSL противопоставлялась не только контролируемой идеологией руссистике, но и многим справочникам, изданным на Западе. Благодаря этому принципу в недавно выпущенный десятый том включен советский лирик Михаил Исаковский наряду с представителем первой волны Вячеславом Ивановым и поэтессой третьей волны эмиграции Еленой Игнатовой.

До настоящего времени в работе над энциклопедией, в общей сложности, приняли участие 197 литературоведов, в основном американцы, нередко ученые, общепризнанные эксперты по определенному автору. Так, например, статья об Алданове была написана C. N. Lee, о Белом — G. Janecek, о Битове — P. Meyer, о Газданове — L. Dienes, о Гоголе — B. Сечкаревым. В новом томе более широко представлены украинские писатели. Об украинских авторах еще в более ранних томах писал Arnold B. McMillin. В первых томах, помимо солидных статей, встречаются и устаревшие, и односторонне освещающие тему. В тех случаях, когда не удавалось найти специалиста по определенному автору или теме, статья заимствовалась из Краткой Литературной Энциклопедии (КЛЭ). С годами эта практика применялась все реже. Если в первом томе еще 45% текста было переводом из советских источников, то, начиная с четвертого тома, число страниц заимствованного текста уменьшилось в среднем до 10%. Роллберг же начинает помещать только статьи, специально написанные для этой энциклопедии, многие статьи он пишет сам. Собственные статьи он иногда подписывает своим именем или оставляет их неподписанными как редакционные статьи, если его вклад в исследование был менее значительным. Подобные энциклопедии всегда стараются придерживаться принципа соответствия объема статьи значимости автора, но полностью это никогда не удается. Как продуктивность автора, так и объем исследовательских работ играют роль. В десятом томе Егор Исаев, бездарный советский литературный чиновник и стихотворец, занимает три страницы, в то время как Олег Ильинский представлен только одной страницей, хотя он — чрезвычайно одаренный поэт. Он учился в Германии у Федора Степуна, позднее написал диссертацию в Нью-Йорке, живет в настоящее время в Richmond Hill, N. Y. Но оценки Роллберга в обоих случаях являются меткими: отчетливо критические по отношению к секретарю Союза писателей и с заслуженным признанием о поэте-эмигранте. Каждый хороший словарь содержит, помимо традиционного, десятилетиями повторяющегося материала, и свои открытия. В десятом томе одно из таких открытий — первая энциклопедическая статья о Нине Юрьевне Искренко (1951-1995). Перестройка открыла ее стихам двери русских журналов, и ее первый сборник — отрывочная, провоцирующая, контрастная, экспериментальная лирика — вышел в свет только в 1991 году. Эта книга — поиск опоры в сегодняшнем российском хаосе. Виталий Чернецкий, автор этой статьи, впервые указал на эту поэтессу в 1994 году (Slavic and European Journal).

Каждый том этой энциклопедии содержит выдающиеся тематические статьи. Из ранних томов остается актуальным обзор русской эмигрантской литературы (Emigré Literature, Russian), который был распределен между профессорами L. Dienes, Л. Ржевским и Л. Лосевым. Также очерк о детской литературе (Children's Literature) был более подробным, чем в других энциклопедиях. Неожиданным подарком стала статья Philip E. Frantz о старых русских и новых советских энциклопедиях с точки зрения русской литературы. В десятом томе под буквой "I" были помещены тематические статьи о журнале "Иностранная литература", об институтах Академии Наук по литературам мира и русской литературе, а также об имажинизме. Эта статья соответствует новейшему уровню исследований. Обогатить энциклопедию могла бы статья об иллюстрациях, каковая была включена редакторами КЛЭ. Церковная тематика представлена двумя уникальными для литературных энциклопедий статьями: одной уравновешенной статьей "Священный Синод и литература" (Holy Synod and Literature) и второй статьей — о Святом Иоанне Кронштадтском, содержащей, к сожалению, несколько ошибок. Выигрышно было бы помещение в десятом томе также статьи о журнале "Иллюстрированная Россия", 1245 номеров которого были выпущены с 1924 по 1939 гг. в Париже и который, пользуясь популярностью среди эмигрантов за свою политическую независимость, печатал также небольшие тексты знаменитых писателей. Но энциклопедии должны друг друга дополнять, и в этой связи можно сослаться на составленную А. Николюкиным "Литературную энциклопедию русского зарубежья".

Когда статьи о таких литературах, как литовская, армянская, башкирская и многие другие, собраны вместе в одну книгу, то такая книга обращается к совершенно различным ученым. Тому, кто работает в одном из представленных здесь направлений, следует искать соответствующие статьи в этой энциклопедии. Он может найти стоящую информацию.

Вольфганг Казак,
гор. Мух, Германия

Русская эмиграция в Югославии. М., изд. "Индрик", 1996, 351 сс.

"Русская эмиграция в Югославии" представляет собой сокращенный перевод двухтомника "Руска емиграција у српској култури XX века",

изданного в Белграде в 1994 г. В аннотации сказано: "Сборник статей югославских и российских исследователей посвящен описанию научной, педагогической, культурной и хозяйственной деятельности представителей русской послеоктябрьской эмиграции в Югославии. В него вошли статьи, освещающие различные аспекты феномена русской диаспоры в Югославии: общие статистические данные, сведения о прибытии и размещении беженцев, жизнь эмиграции в рамках созданных ею общественных организаций, культурные связи с местной интеллигенцией, вклад ряда видных представителей эмиграции в экономику, науку и искусство Югославии. В сборнике помещена избранная библиография книг и статей на общие темы жизни и деятельности русской эмиграции в Югославии, включающая 416 названий".

В редакционную коллегию вошли инж. Алексей Борисович Арсеньев, кандидат филологических наук Ольга Леонидовна Кириллова (ей же принадлежит перевод) и д-р филологических наук Миодраг Сибинович. Издатели — Институт славяноведения и балканистики РАН и Белградский университет.

"Русская эмиграция в Югославии", как и книга В. Маевского "Русские в Югославии", не является историей эмиграции в Югославии, однако дает богатый материал для будущего историка. Большое значение в этом отношении имеет, конечно, обширная библиография, составленная А. Арсеньевым.

В сербском сборнике было 54 статьи, в то время как в русском переводе их 23, зато библиография, как сказано в предисловии, публикуется "впервые в столь большом объеме".

В основу сербского двухтомника положены материалы симпозиума "Вклад русской эмиграции в развитие сербской культуры XX века", который прошел в Белграде в апреле 1993 г. под руководством М. Сибиновича, а русский перевод был сделан по почину того же М. Сибиновича и научного сотрудника Института славяноведения и балканистики РАН О. Кирилловой.

Из 21 автора — 15 сербов из Белграда, А. Арсеньев, русский из Нового Сада (Югославия) и 5 москвичей.

В предисловии "От редколлегии" говорится: "Ни в одной из западных стран не было столь благоприятного сочетания факторов, облегчавших жизнь русской диаспоры, как в Югославии. Исключительность югославской ситуации объясняется прежде всего традиционными историческими, религиозными, культурными связями России и Сербии. Кроме того, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев отдавало дань признательности

России за союзническую поддержку в Первой мировой войне. . Отношение югославских властей и общества к беженцам из России определялось и практическими интересами. Стране, разоренной мировой войной, утратившей большую часть своей интеллигенции, имевшей 79,5% неграмотного населения (в Сербии), были жизненно необходимы культурные люди, высококвалифицированные специалисты, лояльно настроенные и готовые довольствоваться относительно скромными условиями жизни".

Русский перевод начинается со статьи М. Сибиновича "Значение русской эмиграции в сербской культуре XX века — границы и перспективы исследования". Эта статья является главной в сборнике, и все остальные только расширяют или дополняют эту тему. М. Сибинович пишет: "Российский исход сыграл важную роль в истории сербской культуры. Русская эмиграция принесла с собой широкую культуру, развитую науку и оказала неоценимую всестороннюю помощь близкому славянскому народу.. Напомним, что в Белградском и других сербских и югославских университетах работало много российских ученых, которые вырастили учеников и обогатили науку своими трудами". Далее автор, ссылаясь на труд В. Прца-Йовановича "Университет в Белграде, 1838-1988 гг.", приводит число русских преподавателей и процентное соотношение по факультетам за 1922/1923 гг. философский — 7 (14,2%), юридический — 5 (21,7%), технический — 13 (30,9%), сельскохозяйственный — 6 (37,5%), богословский — 3 (25%). В последующие годы число русских профессоров оставалось почти тем же, но процентное соотношение заметно уменьшалось из-за притока молодых кадров, состоящих из учеников русской профессуры.

М. Сибинович пишет: "Тема вклада русской эмиграции в развитие сербской культуры практически не изучена.. Эта тема имеет важное значение и для истории литературы, живописи, пластических, музыкальных, музыкально-сценических искусств, драматического театра, архитектуры и строительства, транспорта, образования, религии, науки и научных учреждений".

Перечисляя отдельные труды в этих областях, появившиеся между 1968 г. и 1993 г., автор отмечает, что "в этих работах рассматривались частные вопросы, причем деятельности русских эмигрантов в сербской культуре отводилась второстепенная роль". Это были годы безграничной власти коммунистов, когда о белой русской эмиграции ничего хорошего нельзя было писать.

М. Сибинович упоминает журнальные статьи примерно того же времени: А. Арсеньева "Жизнь, культурная и издательская деятельность

русских эмигрантов в Новом Саде" и слависта Ирены Лукшич "Русские эмигранты в Югославии между двумя войнами. Белград и Загреб как центры организации культурной жизни". Обе статьи, смело и объективно описывавшие русскую белую эмиграцию в Югославии, были напечатаны в загребском журнале "Književna smotra" № 65-66 в 1987 г., но это были лишь небольшие журнальные статьи.

Другое дело упомянутая М. Сибиновичем книга доктора литературоведения Остои Джурича "Руска Литературна Србија 1920-1941", которую он справедливо назвал "первым современным систематическим исследованием". В основу книги положена докторская диссертация, которую Джурич защищал в 1987 г., но книгу смог выпустить только в 1990 г., после случившихся перемен в общественно-политической жизни страны. М. Сибинович с похвалой упоминает и магистерскую диссертацию кандидата исторических наук Мирослава Йовановича "Переселение русских беженцев в Королевство СХС, 1919-1924 гг.", защищенную в 1993 г. и появившуюся под тем же названием в виде книги в 1997 г. в Белграде.

Вторая статья и в сербском сборнике, и в русском переводе — работа М. Йовановича "Россия в изгнании. Границы, масштабы и основные проблемы исследования". Эта статья, как легко догадаться, является частью диссертации. М. Йованович пишет, что к числу новых государств, появившихся в Европе в результате Первой мировой войны, "лишь редкие авторы в свободной интерпретации добавляли.. еще одну страну — "Зарубежную Россию". Ссылаясь на книгу проф. Петра Евграфовича Ковалевского (1901-1978) "Зарубежная Россия" (Париж, 1971), М Йованович пишет: "Она не значилась ни на одной географической карте. Однако за пределами Советской России жило более 8.000.000 человек, которые, согласно различным переписям, называли себя русскими". С легкой руки П. Ковалевского эта фантастическая цифра повторяется у многих авторов. Одни не могут ее проверить, другие не проверяют, полагаясь на авторитет П. Ковалевского. В книге "Зарубежная Россия" даны цифровые данные по странам рассеяния. Я тоже не смог все проверить, но в этом и нет особенной надобности. Достаточно проверить три самые крупные цифры.

П. Ковалевский пишет: "Русское население Бессарабии, объявившее себя таковым при переписи 1920 г., — 742 тысячи на общее население области 2.686.000, в Польше — 5 миллионов 250 тысяч, согласно переписи 30 сентября 1921 г., при общем населении страны в 27 миллионов 177 тысяч, Угорской и Пряшевской Руси — 550 тысяч".

В Малой Советской Энциклопедии (М., 1933, т. I, с. 882) про Бес-

сарабию сказано: "2.848,7 т. ж. (1930), русских — 8,2%". Следовательно, либо 214.252, либо 233.618. Эти цифры тоже могут быть неточными, но цифра П. Ковалевского кажется определенно сомнительной.

В МСЭ (М., 1935, т. IV, с. 398) в статье "Закарпатская Украина" говорится: "725 т. ж. (1931). Преобладают украинцы (65%), около 15% венгров, 15% евреев". Здесь надо отметить, что среди людей, которых МСЭ назвала украинцами, причислявших себя к украинцам было не очень много. Большинство считало себя русинами, считая зачастую, что русин и русский это одно и то же, и посылало своих детей в русские гимназии, где преподавание было более или менее на русском литературном языке. Пряшевская Русь не была частью Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины, по советской терминологии), а входила в состав Словакии. Там в конце 1930-х годов, как мне помнится, 86% русинов проголосовало за преподавание в школах на русском литературном языке. Русинов, считавших себя русскими, теперь принято называть русофилами. Их было много, но вряд ли 550 тысяч.

В Нью-Йоркской публичной библиотеке мне удалось достать польскую "Ilustrowana encyklopedia" (Варшава, 1927) с результатами упомянутой переписи: "Всего жителей 27.192.674, из них поляков 69,2%, русинов — 14,3% и прочих — 1%. Из дальнейшего текста было видно, что в числе "прочих" было 0,7% русских. Следовательно, русинов было 4.622.754, а они были не русскими, а украинцами, которых поляки называли "русинами", а русских — только 190.348. Возможно, что многих русских, проживавших в Западной Украине и Западной Белоруссии, во время переписи записывали в украинцы (русины) или белоруссы, но смею утверждать, что русских в Польше было меньше миллиона.

Впрочем, М. Йованович знает, что точных данных о численности русских за рубежом нет, и потому часть своей статьи так и назвал — "Обманчивость цифр". Проф. Марк Раев в своей книге "Россия за рубежом" (Москва, 1994) указывает общую численность русских эмигрантов по данным немецкого историка Ханса фон Римша — 2.935.00 и по данным американского Красного Креста — 1.965.500. Я думаю, что Зарубежная Россия, состоявшая из эмигрантов, беженцев и других меньшинств, могла в 1920-е годы насчитывать от трех до четырех миллионов душ, но никак не восемь-десять миллионов.

Третья статья — "Русская диаспора в Югославии" — написана историком русской эмиграции в Югославии А. Арсеньевым. Она была приготовлена для семинара "Русская культура XX века: метрополия и диаспора" Тартуского университета (Эстония), состоявшегося в октябре 1994 г., и

включена в сборник вместе с переводом статьи "Русская интеллигенция в Воеводине".

Хочется выделить статьи доктора исторических наук Любодрага Димича "Русские школы в королевстве Югославии 1920-1941 гг." и доктора исторических наук Бронислава Глигориевича "Русская православная церковь в период между двумя войнами". Все прочие, не менее ценные статьи, посвящены более узким темам.

Сегодня Югославия в области изучения истории русской эмиграции занимает первое место в мире. После успешного международного симпозиума о русской эмиграции в сербской культуре XX века в Белграде прошел второй международный симпозиум, на этот раз охвативший роль русской эмиграции не только в сербской, но и в других славянских культурах. Это объясняется тем, что ни в одной стране русская эмиграция не оставила столь глубокий след своего пребывания, как в братской Югославии.

Ростислав Полчанинов, Нью-Йорк

Мирослав Јованович. Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС,, 1919-1924. "Стубови културе", Београд, 1996.

Возникшее недавно белградское издательство "Столпы культуры" выпустило в свет свою первую книгу — монографию историка Мирослава Йовановича, ассистента на кафедре общей современной истории философского факультета в Белграде: "Переселение русских беженцев в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, 1919-1924".

В предисловии автор разъясняет, почему он сосредоточился на исследовании определенной общественной группы (русских беженцев) и отмечает, что неоднородная масса одиночек (возможно, со схожими мотивами, побудившими их покинуть родину) постепенно сливается в некое единство. Одновременно в рамках этого единства изменяется социальное положение беженцев, их материальный статус, политическое влияние и пр. Переселение как процесс неисчерпаемо богатством содержания и резко отличается от предшествующего периода в жизни людей.

Сама тема дает автору возможность отображения целостного исторического процесса — начиная с его общих аспектов (дипломатического, военного), вскрытия его характерных особенностей, вплоть до уровня так называемой истории "обыкновенных" людей. Изучение процессов высе-

ления/поселения как следствия общественных потрясений (революций, гражданских войн) помогает узнать изнанку борьбы за социальную справедливость.

В своем стремлении создать картину "целостной истории", которая и обязывала, и вдохновляла автора, М. Йованович отмечает, что в своем исследовании он сочетал несколько историографических школ — традиционную и современные (генетическо-структуралистскую, историю повседневной жизни и др.). Автор изучил все более или менее серьезные работы о русской эмиграции, опубликованные за три четверти века на четырех континентах. Он обследовал государственные архивы Франции, Австрии, России, югославских республик (до 1991 г.), столичную и провинциальную периодику 20-х гг., статистические справочники, частные коллекции и семейные собрания. Особенную ценность представляют использованные автором документы, непосредственно относящиеся к его узкой теме, — это всегда удачный подбор свидетельств, преимущественно из воспоминаний, всесторонне прокомментированных.

Исследование предваряют "шесть очерков": 1. Подступы к теме; 2. Политическая эмиграция; 3. Терминологическая дилемма — беженцы или эмигранты; 4. Обманчивая игра цифр; 5. Зарубежная Россия; 6. Русские в Королевстве СХС — обозримые границы исследования. В кратком "Прологе" автор излагает исторические события на Юге России с весны 1919 по осень 1920 г. — поражение Русской армии и исход под командованием ген. Врангеля.

Первый раздел — "Государство и вопрос беженцев из России; Королевство СХС и российские государственные субъекты" — охватывает две стадии: переговоры и решения вопроса о приеме беженцев; размещение и поселение.

Стенограммы заседаний Скупщины и Совета министров в Белграде, телеграммы военных агентов Королевства Сербии с Юга России (при Деникине) и из Салоник, югославских посланников в Лондоне и Константинополе, годовые отчеты посольств Великобритании и Германии, документы Двора Королевства СХС, Русско-сербского клуба, протоколы Русско-югославянского комитета, переписка министерств, личные документы беженцев (удостоверения, анкеты, пропуска, паспорта) — дают возможность в разных ракурсах увидеть картину участи беженцев. На этом монументальном полотне свои подписи оставили дипломаты, генералы, чиновники, монархи, зарождающиеся международные организации, политики (националисты, реваншисты, сепаратисты)... Эта глава помогает осознать глобальность явления, его многоликость и непредсказуемость.

Во втором разделе ("Приезд") даже читатель, считающий себя осведомленным, обнаружит обилие неизвестных ему фактов вместе с оригинальной авторской схемой прибытия в страну всех крупных групп русских беженцев. М. Йованович именует их "иммиграционными волнами", систематизирует, исследует численность гражданских и военных лиц.

Перед тем как первая иммиграционная волна захлестнула страну, в Королевстве СХС уже находилось несколько сот россиян — австрийских военнопленных и добровольцев Салоникского фронта, а также одиночек, покинувших Россию после 1914 г. Прибывшие с первой волной (нач. мая — кон. ноября 1919), около 1600 душ, были беженцами так называемой 1-ой "французской" эвакуации из Одессы. С мая 1919 г. в распределительном пункте в Белграде о них заботился Русско-югославянский комитет со своими филиалами по всей стране.

Вторую волну, порожденную "англо-французской" эвакуацией из Одессы (январь 1920) и "английской эвакуацией" из Новороссийска (март 1920), связанную с переговорами ген. Деникина и Милана Ненадича, начальника дипломатической миссии Королевства СХС, составляло 7-8 тысяч беженцев, прибывавших партиями по ж/д из Салоник или Софии. С 24 февраля 1920 г. действовал Государственный комитет по устройству русских беженцев. Главным распределительным центром являлся пограничный пункт Гевгели на ж/д пути Салоник —Скопье.

После напряженных переговоров и подписания протокола с Великобританией (11 октября 1920) страну захлестнули отсиживавшиеся на о. Лемносе русские — третья волна (27 октября — 17 ноября 1920) — 2053 человека. Эшелонами погружались на пароход "Тамбов" и поездом прибывали из Салоник. О них заботилась созданная в июне 1920 г. при МИДе Государственная комиссия по приему и устройству беженцев

С четвертой иммиграционной волной (25 ноября — 23 декабря 1920) в Королевство СХС влилась самая многочисленная "крымская" эвакуация. С пароходов "№ 206", "Eastern Victor", "Szeged", "Siam", "Владимир", "Brisgavia", "Austria" и "Херсон" на берега Адриатического моря высадилось 21.343 беженца, гражданских и военных лиц.

Пятую волну (1 июня — 17 ноября 1921, февраль 1922, 5 мая 1923) составляли эшелоны воинских подразделений Русской армии ген. Врангеля — всего 11.750 душ.

Перед тем как подвести сложный итог и указать общее число русских эмигрантов, оказавшихся в Королевстве СХС, М. Йованович приводит цифры из всевозможных статистических и исторических трудов, подвергает их объективному анализу и выявляет причины ошибочных подсчетов.

Учитывая непрерывную миграцию беженской массы внутри страны, а также групповые и одиночные переселения в другие страны, отсутствие данных или их неполноту, автор останавливается на следующих цифрах: в 1923 г. в стране проживало ок. 42.000, а перед Второй мировой войной — ок. 25.000 русских эмигрантов.

Разделы книги "Размещение" и "Социальная картина" полны интересных подробностей и статистических таблиц (построенных по возрастному признаку, полу, образованию, профессиям), относящихся ко всей диаспоре или к отдельным городам и регионам страны.

"Эпилог" знакомит нас с яркими примерами поведения беженцев, с их обособленностью, первыми очертаниями беженского самоустройства, контактами с государственными учреждениями, встречами (и недоразумениями) с местным населением, поступлением на работу — вплоть до судьбоносного шага некоторых из них — принятия гражданства.

Текстуальную часть дополняют редкие фотографии: эвакуация, прибытие, начало жизни на чужбине ("Русская санатория для туберкулезных", "Казачьи части на постройках горных дорог в Сербии"). Воспроизведены личные документы беженцев (прокомментированные историком в основном тексте). Книга снабжена списками источников и указателем имен, резюме на четырех языках и справкой об авторе.

Алексей Арсеньев,
Нови Сад, Югославия

Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine. Edited by Samuel H. Baron and Nancy Shields Kollmann. Northern Illinois University Press. DeKalb, Illinois, 1997, viii + 213 pp.

Soldiers on the Steppe — Army Reforms and Social Change in Early Modern Russia. Northern Illinois University Press. DeKalb, Illinois, 1995, xii 240 pp.

В русской историографии принято считать, что 17-й век начался в 1613 г. с избранием Михаила Федоровича Романова на московский престол и что он окончился в 1694 г., когда Петр Алексеевич начал царствовать самолично (после смерти своей матери, Нарышкиной). Но трудно дать однозначную характеристику этого отрезка в истории России, т. е.

выявить черты, которые определили динамику развития московского государства.

Историческая литература о 17 веке подходит к эпохе первых Романовых с двух противоположных точек зрения. Первая видит в этом периоде вершину старой Руси и истинно русский уклад жизни православного народа; уклад, который был уничтожен вредными нововведениями Петра I. Это взгляд таких историков 18-го века, как Щербатов и Болотин. Наиболее яркий выразитель этого взгляда — славянофил К. Аксаков (середина 19 в.). Вторая точка зрения видит 17 век как переходное время, подготовившее преобразования Петра Великого, европеизацию России. Это точка зрения (хотя и с некоторыми оговорками) С. Соловьева и его учеников. Советские историки занимали противоречивую позицию. В плане внешней политики, рассуждают они, первые Романовы укрепили мощь государства, расширили границы, содействовали формированию "всероссийского рынка". Но в области социального строя и культуры Москва усилила крепостную кабалу и влияние религиозных "предрассудков". Таким образом, заключает советская историография, "отсталость" Московского государства привела к кризисному состоянию, из которого единственным "прогрессивным" выходом явились петровские реформы.

За последнее десятилетие наметилась переориентировка в изучении русского 17 в. Историки (и литературоведы) теперь смотрят на эпоху не столько с точки зрения ее конца или начала, сколько стремятся выявить черты и факторы, которые определяли быт и структуры общества. При этом ясно осознается, что отдельные аспекты жизни одной эпохи могут быть противоречивы, иметь много разных корней и иметь разнообразные ритмы и динамику развития. Несомненно, в этой историографической переориентации определяющую роль играют идеологические и культурные ценности нашего собственного времени. На Западе историки России применяют методологию, выработанную французской исторической школой "Анналов" и ставят в центре внимания своих исследований проявления народной культуры (в определении антропологов) и ее символических систем. Большое влияние на этот подход оказали труды М. М. Бахтина и Тартуская школа семиотики. Таким образом, анализ религиозных верований, исследование символов и ритуалов стоят в центре внимания молодого поколения историков. Переоценивается (в положительном направлении) деятельность представителей церкви, искусства и литературы 17 в. — например, боголюбцев и лидеров старообрядчества, патриарха Никона, иконописца С. Ушакова, Симеона Полоцкого и др.

Вновь ставится старый вопрос: "Россия и/или Запад?". При этом новое

иссследование источников показывает, насколько этот вопрос многогранен и сложен. Для 17 в. однозначного ответа нет — много зависит от слоя населения или области культуры, которые рассматриваются историком. Влияния с "Запада" (необходимо уточнить, о каком "Западе" идет речь) шли разными путями. Ключевую роль играли Украина и украинцы. Западные примеры "конкурировали" с желанием вернуться к прошлому благочестию. Здесь мы также имеем дело с разными влияниями: новогреческим, киево-византийским или просто до-романовским. Изучать следует всю народную культуру (простых людей и элиты), выделяя по мере возможности долю "органических" и "искусственных" элементов.

Как замечает Давид А. Фрик в своей статье в рецензируемом сборнике "Религия и культура", в 17 в. на Руси не существовало резкого разделения между культурой простого народа и культурой элиты, между общественно-религиозными нормами в столице и в провинции. Если это так, то необходимо исследовать, какими именно путями выработался культурный синтез, который восторжествовал в нашем веке. Бесспорно, что 17 в. характеризуется рядом кризисов, вызванных явлениями, которые имели свои корни как в предыдущем столетии, так и в общении с иностранными культурами. Совместно они и подготовили почву для той "перестройки", которую краткости ради мы называем преобразованиями Петра Великого.

Рецензируемые книги дают богатый фактический материал и интересные выводы для нашего понимания 17 в. Сборник "Религия и культура" состоит из докладов, представленных в июне 1993 г. на второй сессии по ранней восточно-славянской культуре в Стэнфорде (Калифорния). Присутствовали русские и американские ученые "молодого поколения". Каждый доклад трактует специальную тему на основе насыщенного научного аппарата. Доклады поучительны и для неспециалиста, так как все они затрагивают вопросы, о которых говорилось выше.

Три раздела сборника посвящены широким аспектам социально-культурной истории Москвы и Украины в 17 в.: общество и проявления культуры в его ежедневной жизни, религия и верования, представления и самосознание членов общества. Редактор сборника Джанет Мартин на основании теоретической модели, выработанной на опыте сельскохозяйственных обществ третьего мира, показывает, что сопротивление русского крестьянина техническим нововведениям (напр., трехпольная запашка, введение новых культур) объясняется не столько отсталостью и косностью хлебопашцев, сколько рациональным учетом колебаний в численности и плотности сельского населения данного района. Расширение

границ государства способствовало переселению в новоприобретенные южные уезды, и таким образом устранялась надобность в рискованных нововведениях.

Представления русских людей об обществе в целом и о собственном положении в нем можно выяснить из многочисленных челобитных, сохранившихся до наших дней. Рассматривая этот материал, профессор Нанси Колман приходит к выводу, что москвичи описывали общество и его структуру, свое собственное место в нем по-разному, в соответствии с каждым конкретным обстоятельством. Не выработалось четких, юридически определенных категорий, как это было на Западе. В текучести своих социальных категорий Московская Русь отличалась от обществ Западной Европы, где правовые нормы имели обязательную форму и силу. Эта текучесть наблюдается и в императорской России 19 в., что подчеркивает неприменимость марксистских категорий к эволюции дореволюционного русского общества.

Профессор Франк Е. Сысин ясно и основательно описывает изменения, происшедшие в Левобережной Украине, вследствие восстания Богдана Хмельницкого и последующего присоединения к Московскому царству. В дальнейшем эта глубокая социальная революция оказала существенное влияние на русское общество.

Религия играла важнейшую роль в жизни допетровского общества. Многие стороны церковной жизни, напр., отношения между светской и духовной властью, раскол и появление старообрядчества имеют свою богатую историографию. Но в чем заключалась религиозность и каково было ее развитие (т. е. изменения, реформы) в течение 17 в.? Эти вопросы редко привлекали внимание историков. Доклады второго раздела сборника являются важными шагами на пути заполнения этого "белого пятна". Пионеры разработки этой тематики — двое ученых Зарубежной России — о. Георгий Флоровский и профессор Георгий Федотов. Флоровский впервые дал глубокий анализ истории соотношения богословской и общественной мысли ("Пути русского богословия", Белград-Париж, 1939), в то время как Федотов охарактеризовал русскую духовность (религиозные представления и чувства народа) в двухтомном труде (The Russian Religious Mind. 1946-1966), опираясь на анализ духовных стихов и житий. Следуя по их стопам, авторы второго раздела сборника извлекли много интересных фактов и выводов из описания публичных церемоний (выходы царя и патриарха, шествия на осляти, хождение на Иордань и т. п.), заклинаний и заговоров, чудес, испытанных женщинами, и житий первых деятелей раскола.

Давно идет спор об истоках новшеств, введенных патриархом Никоном. Являются ли они возвратом к старине (и если да, то какой) или они были настоящими реформами на новых основах? В некоторой мере, считают наши авторы, и то, и другое. Возврат к благообразной старине оказался возвратом преимущественно к киевско-византийской практике, а реформистские элементы были украинского и отчасти западного происхождения. Как и на Западе в 16 в., в Москве реформация середины 17 в. была ответом на ощущаемые злоупотребления и непорядки внутри церкви. Но как и в европейских странах, обновления вызвали расколы не только в церкви, но и в национальном самосознании всех слоев общества. Раздвоение народного самосознания предшествовало преобразованиям Петра I и возникновению европеизированной элиты. Здесь уместно повторить наблюдение профессора Д. А. Фрика, что до конца 17 в. элита и простой народ жили одной общей религиозностью. Именно этот факт перестает быть очевидным на протяжении следующего столетия.

В возникновении кризиса в церковной жизни и его разрешении большую роль сыграли взаимоотношения между царем и патриархом. Стремление к реформам было одинаково сильно у "боголюбцев", у царя Алексея Михайловича и у патриарха Никона. Но Никон хотел формально узаконить превосходство церкви и воссоздать "Новый Иерусалим" — не только в своем Новоиерусалимском Волоколамском монастыре, но и в смысле слияния властей светской и духовной по старозаветному прообразу. Другой вопрос — понимал ли он, что это означало отклонение от новозаветных принципов разделения этих двух властей. Несомненно лишь то, что в конечном счете пострадала существенная черта народной жизни Московской Руси, а именно — сравнительно широкая автономия, которой пользовались женщины в своей религиозной жизни, как это выявлено профессором И. Тыре в ее иссследовании чудес, касающихся женщин.

В историографии укоренилось убеждение о неизменности народного мировоззрения на протяжении длинного периода и о "молчании" допетровской Руси. Под молчанием о. Флоровский, который ввел этот термин в научный оборот, подразумевал, главным образом, отсутствие серьезных богословских и философских дискуссий. О полном молчании говорить нельзя, но и в более ограниченном смысле это якобы молчание приходит к своему концу в течение второй половины 17 столетия. Толчок к "говорливости" был дан Смутным Временем и необходимостью определить национальное самосознание, выявить основные черты русской духовной и политической культуры, чтобы противостоять чуждым элементам. В этом процессе действенное влияние принадлежит церков-

нокультурной элите Украины, в частности, ученикам киевской Могилянской Академии. Проф. Фрик и Виктор М. Живов в своих докладах освещают некоторые стороны истории этого развития в культуре допетровской Москвы. Притом, подчеркивает Живов, касательно византийского влияния нужно иметь в виду, что оно исходило не столько из столичного Константинополя, сколько из разных провинциальных центров. Что же касается новых веяний в искусстве, то Е. С. Смирнова убедительно показывает на примере творчества иконописца Семена Ушакова, что дело не в восприятии европейского барокко , а скорее всего, в следовании Ушаковым моделям, выработанным в 14-15 вв. на Кипре, на Крите, в Далмации при непосредственном влиянии итальянской (Сиена, Венеция) живописи 14 века.

В конечном итоге, так думает Живов, ко времени вступления на престол Петра Алексеевича в литературе, т. е. и в обществе, появляется индивидуалистический тип человека — человека со своими собственными взглядами, идущего своим собственным путем, будь это в светской или церковной деятельности. Несомненно, автор прав, когда он объясняет появление этого типа человека расколом — не только церковном, но и в светской культуре. Здесь явная параллель с Западом на рубеже 15-16 вв. (Реформация).

Кризис народного самосознания проявился не только как результат Смутного Времени, но также и вследствие расширения московских границ в юго-восточном и юго-западном направлениях. Тем самым широко открылась дверь новым западным умственным и техническим течениям. Но такое расширение было результатом наступления московской военной силы в процессе защиты от крымско-татарских и польских нашествий. Как объяснить это успешное наступательное движение, когда Московское государство переживало сильные экономические, социальные, политические и культурные потрясения? Частичный ответ дает интересная книга Карол Б. Стивенс. В ней подробно на основании тщательного изучения архивных документов описывается система снабжения провиантом военных сил на постоянно продвигающейся южной "засечной черте" в последней трети 17 в. Москва полагалась, главным образом, на повинность поставок хлеба, лежавшей на крестьянах, живших поблизости от засечной черты. В свою очередь, повинность вызывала государственное поощрение крестьянского переселения на окраину, со всеми из того вытекающими последствиями. Эти выводы в общих чертах были известны историкам и раньше. Заслуга

г-жи Стивенс в том, что она подробно описала динамику процесса и документировала его новыми архивными материалами.

Важна не столько фактографическая сторона рецензируемых книг, сколько новая проблематика, поставленная современной историографией в результате привлечения новой документации и анализа источников и новых концепций. Правда, авторы, по крайней мере на мой взгляд, часто чересчур увлекаются модными понятиями и гипотезами. Зато они освещают по-новому забытые стороны или проявления "дел и словес" Московской Руси.

Марк Раев,
Нью-Йорк

Обзор книг, присланных в редакцию

Г. Адамович. "Одиночество и свобода". Составитель, автор предисловия и примечаний Вадим Крейд. Москва, издательство "Республика", 1996, 447 сс.

На протяжении многих лет статьи Георгия Адамовича (1892-1972) о литературе — классической, эмигрантской, советской и французской — появлялись в ведущих изданиях русского рассеяния. Некоторые из них были после войны изданы на Западе в виде сборников. Теперь творчество Адамовича станет доступным и в России. Как пишет Крейд, "в зарубежье у Адамовича была совершенно особая роль, едва ли не миссия. В годы, когда шли споры о возможности или невозможности оторванной от родной почвы литературы в диаспоре, Адамович.. у всех на глазах фактически "делал" эту "невозможную" литературу. Собирал ее, организовывал, разбирал, поощрял, вдохновлял, осмысливал, находил критерии для оценок, ориентиры и направление для дальнейших шагов". Крейд включил в том сочинений Адамовича эссе, собранные самим автором под заглавиями "Одиночество и свобода" и "Комментарии", множество других статей, стихи, три рассказа, 85 писем и "Разговоры с Адамовичем" Юрия Иваска. "Книгу пронизывает уверенность автора в исключительности своего жизненного опыта, уверенность в том, что случившееся с людьми в нашу эпоху выпадает на долю человека, быть может, раз в тысячу лет.. замечает Крейд. — В его наследии видна целая эпоха, и о ней Адамович свидетельствовал мастерски".

Адамович вернулся в Россию как критик. Критиком он, в первую очередь, и был и, подобно своим знаменитым предшественникам, читал неимоверно много, а писал быстро и легко. Его слабости и его сила проистекали из одного и того же источника. В наши дни широко известна профессия литературоведа, но, хотя в классификации гуманитарных профессий литературовед — ученый того же плана, что лингвист или историк, непросто объяснить, что́ ему надлежит знать. Например, современный американский литературовед может иметь крайне узкую специализацию, но располагать системой политических взглядов (желательно, самого радикального свойства) и анализировать книги как соответствующие или не соответствующие им. В этом смысле наши современники ничем не отличаются ни от Ленина — автора статей о Толстом, ни от Добролюбова, размышляющего, когда же придет настоящий день. В истории критики был замечательный период, когда выступили русские формалисты и Бахтин. Сейчас модно подчеркивать неприязнь Бахтина к Шкловскому и его кругу, но, оглядываясь назад, видишь не столько различия, сколько сходство между Бахтиным и формалистами: сообща они заменили идеологическую критику XIX века анализом художественной ткани литературного произведения. Они и были первыми настоящими литературоведами.

Эта преамбула понадобилась потому, что Адамович много думал о месте критики в современном мире и прекрасно знал разницу между рецензентом, то есть критиком типа Белинского или Айхенвальда, и литературоведом типа Тынянова. Но он писал для широкой публики и в отличие от формалистов и Бицилли в эпоху своего расцвета нигде не преподавал, а когда в зрелые годы стал профессором Манчестерского университета, то ничего, кроме скуки, от общения со студентами не испытал; "новинки" же ему давно опостылели. Жанр научной статьи был ему ни к чему. За несколько лет до смерти он опубликовал некоторые мысли о литературной критике. Он понимал, что эти мысли частично порождены брюзгливым старческим задором, но отсюда не следует, что их можно оставить без внимания. Адамович говорит примерно следующее: "Существуют Пушкин, Толстой, Флобер и Диккенс. Неужели читатель не поймет их произведений без помощи тупицы-экскурсовода? Критик нужен, только если он и сам может сказать что-то новое". Особенно раздражали его структурные методы. "Романы Достоевского полифоничны". И что дальше? А где откровения вроде бодлеровских: "Только благодаря поэзии и сквозь поэзию, только благодаря музыке и сквозь музыку душа улавливает великолепие, находящееся за гробом"? Невыносима импрессио-

нистическая критика, но "удручает нарочитое очерствение, обеднение, самодовольное вторжение пустоты".

Легко понять чувства, которые вызывало у Адамовича наукообразное французское литературоведение шестидесятых годов (золотой век по сравнению с тем, что пришло ему на смену!), но о полифонизме романов Достоевского сказал не "самодовольный" и "черствый" структуралист, а Бахтин, и сказал замечательно. Великое произведение искусства открывает свои тайны лишь посвященным; остальные редко идут дальше сюжета. Человек, услышавший полифонизм романов Достоевского, не соблазнится поисками их "идейного содержания", не упрекнет автора в непоследовательности и не будет спрашивать, что "хотел он сказать" той или иной сценой. Не напрасно проходят в консерватории курс "анализ формы"! Критик-профессионал сродни музыковеду.

Природная восприимчивость к литературе и исключительная образованность позволили Адамовичу занять положение, достойное его таланта (многие полагали, что это положение слишком высоко, но не нам сейчас разбирать старые тяжбы). Однако он не всегда считал нужным обосновывать свои мнения. Так, он любил повторять, что, как бы коряво ни писал Толстой, у него все равно получалось лучше, чем у кого угодно другого, но не попытался ответить на вопрос, почему "корявый" Толстой производит столь сильное впечатление? Своим любимцам (например, Пастернаку, к которому его тянуло почти против воли) он прощал многое. Признавал он и исключительный талант Маяковского, и его удивляло, что головокружительная техника не создает великой поэзии. Здесь его объяснение не шло дальше того, что Маяковский вульгарен. С другой стороны, он враждовал с Мариной Цветаевой (см. ее статью "Критик о поэте") и, хотя не отрицал ее одаренности, не обнаружил в ней почти ничего, кроме позы и немыслимого количества тире. Проникновенное стихотворение ее памяти дела не меняет. Поразительно его устойчивое отталкивание от Фета и глубокое презрение к Есенину. Словом, желающий показать, что Адамович капризен, пристрастен и самоуверен, легко справится со своей задачей.

Но не зря писали свои статьи и Чернышевский с Добролюбовым, не говоря уже о Белинском. Только не надо искать в них того, чего они дать не могли. То же относится к Адамовичу. Адамович застал конец символизма и входил в кружок Гумилева. Из года в год он возвращался к вопросу о роли символистов в истории русской поэзии. От него можно узнать о некоторых русских писателях кое-что очень существенное, притом оставшееся скрытым (это — перифраз его отзыва о Шестове).

Адамович осознал, что литература не движется по прямой линии (одно из главных положений формалистов, впервые сформулированное Шкловским) и что в зигзагах ее развития заложен глубокий смысл. Смешны "ароматные осиянности" и "бледно-пепельные жемчужности" Бальмонта, утомительны "тайны" и "бездны" символистов, но "теперь мы, может быть, и видим, что между Пушкиным и Толстым, с одной стороны, и тем, что у Блока и Белого нам дорого, необходимой пропасти нет, но надо было подышать их воздухом, пространствовать вместе с ними по их пустыням и дебрям, чтобы открытие это сделать" (с. 48). И этот вывод глубок и неоспорим. Так как Адамович прожил долгую жизнь, он возвращался к творчеству одних и тех же писателей по многу раз, и самое ценное у него не "анализ формы", а историческое чутье, то есть способность посмотреть на Блока, Бунина, Шестова, Леонтьева, Зайцева, Розанова и писателей меньшего масштаба как бы из разных эпох: глазами ближайших современников, глазами давно умерших (что бы сказали о Блоке Пушкин и Толстой?) и даже глазами будущих поколений (что останется от нас в XXI веке, если к тому времени люди не одичают окончательно?). Его воспоминания об Аппенском, Вяч. Иванове, Штейгере, Фельзене заслуживают того, чтобы издать их отдельно.

Книга, собранная и отредактированная Крейдом, потребовала гигантского труда. Аппарат к ней не вполне ровен. Исключительно полон и безупречен лишь комментарий к письмам. В статьях же остались неопознанные цитаты, темные имена и непереведенные с французского фразы. Но главное упущение — отсутствие именного указателя. Благодаря такому указателю специалисты получили бы легкий доступ ко всему, что сказал Адамович, и широта его интересов была бы очевидна без доказательств. ● деятельности эмигрантских писателей существует обширная литература по обе стороны океана, но эта книга не затеряется на библиотечных полках, и даже люди, далекие от литературной критики, прочтут ее, не отрываясь, от корки до корки.

Philologia. Рижский филологический сборник. Выпуск 1. Русская литература в историко-культурном контексте. Рига (Латвийский университет), 1994, 124 сс.

Если осуществится план кафедры русской литературы Латвийского университета, "Рижский филологический сборник" станет продолжающимся изданием. В первом выпуске 16 статей на самые разнообразные те-

мы: русская гимнография второй половины XVII века, источник стихотворения Пушкина "Эхо" (не столько Thomas Moore, сколько Barry Cornwall, и то в весьма ограниченной степени), пародии Минаева, возможный лубочный подтекст "Скверного анекдота", переделки Лесковым рассказа "Чертогон", творчество символистов (мифы и мотивы), Гумилева (мотив прапамяти), Райниса (перевод "Демона"), Ходасевича (его мартиролог русских писателей "Кровавая пища"), Адамовича (бунт против Пушкина), Заболоцкого (адресат стихотворения "Читая стихи" — Мандельштам, а не Пастернак) и Самойлова ("Сон о Ганнибале"). Чрезвычайно любопытны материалы, собранные в статье с остроумным заглавием "Словесное воздухоплавание" о деятельности известного фальсификатора первой половины XIX века А. И. Сулакадзева. Среди прочего, Сулакадзев подделал рукопись, сообщающую, будто в 1731 году рязанский подъячий изобрел некое подобие аэростата. В эпоху "приоритета" на этом сообщении основывали вывод, что родина воздухоплавания — Россия. Заслуживает внимания и статья "Внук дьячка" о родословной тургеневского Базарова.

Самая большая статья в сборнике ("К теме: Мандельштам и Пушкин") принадлежит Е. А. Тоддесу. Она служит продолжением его же работы "Мандельштам и Тютчев" (1974), и к ней примыкают статьи других исследователей: "Мандельштам и Лермонтов" и пр. Если сложить сведения, собранные во всех этих работах, то выяснится, что Мандельштам не сказал ни одного слова, не отсылающего читателя к какому-нибудь поэту от Гомера до Блока. Например, "А над Невой посольства полумира" — намек на "Все флаги в гости будут к нам", "равнодушная отчизна" напоминает "равнодушную природу" и "блаженно-равнодушную весну" Тютчева, "От лазурных влажных глыб" вызывает ассоциацию с тютчевским же "Блестят и тают глыбы снега" и т. д. Подобный анализ — средневековых ли текстов (где в каждой фразе готовы видеть переиначенное высказывание отцов церкви) или современных — представляется мне некорректным. В любом веке существует формульный поэтический фонд. Чем образованнее поэт, тем обширнее фонд, хранящийся в его памяти. Есть и образы, закрепленные за хрестоматийными стихами: парус невольно возвращает нас к Лермонтову, косарь — к Кольцову и даже дядя — к Пушкину. Хотя доказать существование таких ассоциаций невозможно (в конце концов, не всякий же дядюшка в русской литературе из "Евгения Онегина", хотя мало у кого из них карьера сложилась успешно), принимать их во внимание в каких-то случаях следует. Но едва ли оправдано составление тезауруса отсылок по принципу: "*А* наводит на мысль о *Б*". Большинство отсылок анонимно или полуанонимно, ибо

опосредовано существованием формульного фонда, кроме, конечно, пародий, подражаний и тех случаев, когда удается доказать прямое цитирование.

Почти все статьи сборника свободны от зауми. Изредка узнаешь, что "баллады Гумилева.. эксплицируют атрибутивные признаки философского комплекса поэта" или что "эволюция символистского "мифотворчества" может быть представлена как путь от "субъективистского", "орнаментально-декоративного" мифопоэтизма "старших" символистов.. к младосимволистскому "мифологизму".. и социально ориентированному мифопоэтизму..." (почему все самые важные слова поставлены в кавычки?), но такие пассажи — исключение. Уровень сборника позволяет надеяться, что русская филология Латвийского университета не растеряет своих традиций и в наше тяжелое для научных изданий время, "в настоящее время, когда...", как ехидно писал Минаев в 1860 году.

Эмиль Дрейцер. Потерялся мальчик и другие рассказы. Москва, "Московский рабочий", 1993, 200 сс.

Дрейцер, по его собственным словам, стал юмористом более или менее случайно; его всегда тянуло к серьезной психологической новелле. В сборнике "Потерялся мальчик" 34 веселых и грустных рассказа. Самый ранний из них был написан в 1974 году в Москве, а под послесловием стоит: "Нью-Йорк, 1991". Книге предпослано введение Льва Аннинского, озаглавленное "Судьба солдата в Америке". Но не следует думать, что между героем старого фильма и Дрейцером есть что-нибудь общее.

Некоторые лирические миниатюры Дрейцера (например, "Директор моря" и "Это непростое дело") написаны очень искусно, в других случаях он смазывает конец (как в "Билете") и в поисках драматического эффекта впадает в сентиментальность ("Клоун"), но важнее другое: почти все его ситуации и решения вторичны. Кто-то нечто подобное уже рассказывал, и рассказал лучше. Вот, например, сюжет "Дворкина". Всю жизнь маленький человек по фамилии Дворкин проработал кассиром. Подобно тому, как Акакий Акакиевич находил неизъяснимое наслаждение в переписке и ждал встречи с любимыми буквами, Дворкин нашел свое призвание в бухгалтерии: он не пытался продвинуться по службе, и дни выдачи получки были его счастливейшими днями. Потом его выгнали на пенсию, а жена увезла в Америку. Работая в России, Дворкин боготворил своего начальника, и однажды в синагоге на окраине Нью-Йорка он встретил

своего кумира как бы на том свете. В видении он обратился к великому человеку с мольбой: "Объясните, зачем я прожил свою жизнь?". Лишенный кульминации, рассказ не производит впечатления. Даже такая тенденциозная повесть, как "Сон Макара" Короленко, спасена броской концовкой. Чехов — мастер внешне никуда не идущих рассказов, но его заключения глубоко органичны (ср. "Дворкина" и "Скучную историю").

В рассказе "Исчезновение" события развиваются еще более непредвиденно. У одного человека бесследно пропала жена. Подавленный горем, он кое-как дожил до субботы и поехал навестить сына, который учился в частном пансионе. Но он не только не нашел там мальчика, но выяснил, что никто в школе и не знал о существовании ребенка по имени Патрик. Исчезло и место захоронения его отца, а, позвонив по номеру, напечатанному на визитной карточке случайного знакомого, он услышал в ответ, что нужного ему человека не существует. И наконец, он пошел сфотографироваться на паспорт. К ужасу фотографа на месте лица было сплошное белое пятно. Читателя пугают, но ему не страшно, так как ни причины, ни последствия столь жутких событий не описаны.

Некоторые таинственные рассказы в книге чрезвычайно похожи на абсурдистскую фантастику шестидесятых годов. Фарсы из американской жизни разгадываются мгновенно, и к ним сразу теряешь интерес: ясно, что вежливый и внимательный собеседник — страховой агент, что ехать на черепашьей скорости по автостраде не рекомендуется и т. д. Проникновенные одесские миниатюры (такие, как упомянутый выше "Директор моря") имеют ту грустно-ироническую интонацию, которой от них и ждешь. Поэтому трудно сказать, хороши рассказы Дрейцера или нет. Все зависит от того, с какой меркой к ним подойти. Рядом с великими новеллами они сильно проигрывают. Если же их читать вне связи с литературной традицией, то замечаешь и умение автора сочинить интригу, и ярко выраженное чувство юмора, и его добрый взгляд на мир.

Ирина Муравьева. "Душа, плывущая в эфире..." Повесть и рассказы. Москва, "Терра", 1992, 207 сс.

"Душа, плывущая в эфире..." — название первой и самой длинной повести, помещенной в сборнике. В ней почти 80 страниц. В "Душе..." переплетены жизнеописания рассказчицы и двух поколений ее предков. Повествование начинается с дореволюционных времен, охватывает гражданскую войну и доходит до наших дней; нить тянется от Петербурга до

Бостона. Мысли, высказанные в этой повести, лежат на поверхности, а образы и слова в ней банальны. "А в Париже было сухо. Гостиничный номер пах лавандой. Лавандовое мыло хранило тепло наших рук, медленно просыхая". "Кто возьмет на себя смелость сказать, каким ветром ты, вольно плавающая в дымном эфире душа, сегодня принадлежащая мне и стучащая в мои ребра своими болезненными крылышками, а вчера отданная ей, застывшей в дверях арбатского особняка, каким ветром ты, вольная, заплаканная душа моя, переносишься в этом насторожившемся от твоих прикосновений мире, и, как тень, упавшая на воду, ищешь в ней свое время и пространство". Болезненные крылышки, заплаканная душа, лавандовое мыло .. "Отчего я так тоскую по снегу здесь, в Новой Англии, где медовый воздух шелково натянут над пустынным пляжем с пучеглазыми чайками и запахом гниющих водорослей?". И так из страницы в страницу: разгорающийся закат, лимонный свет лампы, губы, похожие на разогретые солнцем озерные кувшинки, блестящие зрачки, черные блестящие глаза, лихорадочный блеск глаз, полуоткрытые губы, узенькая полоска кремового кружева на груди — нескончаемый список красивостей, которые невозможно видеть на печатной странице без смущения. (Кстати, зрачок — это отверстие в глазу и блестеть не может.) Эпитет *пронзительный*, бич лирических описаний, служит автору верой и правдой: пронзительная отчетливость, пронзительно накрашенное лицо, пронзительная печаль короткого разговора, пронзительная синева неба, река пронзительно синела и т. д. Иногда кажется, что упоминание синего цвета вызывает у Муравьевой мысль о пронзительности автоматически: только возникла над городом "непереносимая синева", как сразу зазвучали и "пронзительные голоса". Бытовые детали, не разукрашенные подобными узорами, чаще всего лишь растягивают текст. "— Я не согласна с тобой, — вдруг перебила его Лида, вспыхнув и перебрасывая косу на спину". "— Н-у-у... — неестественно засмеялся Николай Васильевич и щелкнул щипцами для сахара". Что-нибудь изменилось бы, если бы Лида не перебросила косу на спину, а ее собеседник оставил щипцы в сахарнице?

Ситуации в "Душе..." то лубочны, то оперны. Женщина, оставляющая мужа и сына ради любовника; она же, умирающая от слабости; жених, гибнущий на фронте; измученные беженцы; тургеневские девушки в Петрограде во время Гражданской войны; большевик — волосатое чудовище, кокаинист и насильник — каждый из этих мотивов не раз становился основой для драматического рассказа, но у Муравьевой события сменяют друг друга, как в калейдоскопе, и ни одно из них необязательно, как необязательны те щипцы для сахара и та коса. Да и как примешь всерьез

Большую Дворянскую, над которой низкое красное солнце лежало ломким веером ? Разве в таких декорациях встретишь настоящую жизнь?

И все же "Душа..." — лучшее, что есть в книге. Остальные рассказы совсем уж надуманы и несущественны. Страсть невинной девушки к одноногому мужчине; мрачный энкаведешник в ГДР; любовь в тюрьме (он в мужской камере, она в женской); опустившаяся старушка; старуха в забытой деревне; женщина, влюбившаяся в прекрасного молодого человека, но неожиданно для самой себя вышедшая замуж за его близнеца, и т. д. Дело, конечно, не в ситуациях, ибо новеллу определяет не происшествие, а то, как оно рассказано; рассказано же все Муравьевой в стиле жестокого романса, отчего атмосферу приходится нагнетать катастрофами. В ее произведениях постоянно гибнут дети; некоторым даже не дают родиться. Соблазну убивать прелестных мальчиков и девочек поддавались и великие мастера. В угоду литературной схеме, обычно, чтобы доказать нежизнеспособность рода, умирают дети у Диккенса, Томаса Манна, Хаксли (и это ничуть не красит их романов) и многих других. Не каждому дано описать гибель Пети Ростова, но хладнокровно избивать младенцев, чтобы вызвать сочувствие к оставшимся, — это запрещенный прием, равно как и вышибающая слезу патетика (см. с. 154, где речь идет о том, как пошлют наших солдат в далекую страну, а там им живьем отрежут бритые головы и выколют серые глаза). В рассказе о певце ("барде") герой, готовый начать новую жизнь, переходит мост, как раз когда мост обваливается. Кто, кроме начинающего Кронина, позволил бы себе такую развязку? Один из персонажей Муравьевой говорит подруге женщины, с которой живет и которая любит его без памяти: "Но раз уж ты все равно пришла, сделай доброе дело: забери ты от меня все эти салфеточки, всех этих зверюшек да куколок. Ты посмотри, во что она комнату превратила? Музей прикладного искусства, а не жилье!". Совет этот приложим и к книге Муравьевой, но есть опасность, что без "зверюшек да куколок" в ее литературном доме не останется почти ничего.

Тамара Петровская (Халили). Рассказы о русских людях в Эстонии. По дороге оттуда. В Америке. Нью-Йорк, 1994, 174 сс.

Петровская-Халили выпустила две книги кратких очерков. Об одной из них, посвященной, в основном, Америке (1997), было рассказано в НЖ 206. Сборник 1994 года удался автору гораздо меньше, хотя Петровская-Халили выросла в Эстонии, получила там образование и работала учи-

тельницей в медвежьих углах, так что воспоминаний у нее накопилось много. После войны она бежала в Германию, а сейчас живет в Америке. Наиболее интересны страницы, посвященные реакции эстонского населения на приход Красной Армии. Мы привыкли видеть в Прибалтике страну непокоренных, но этот идеализированный образ нуждается в поправках: и в ненавидевшей советскую власть Эстонии нашлось достаточно людей, которые сразу устроились за столом победителей. Рассказы же о школах в довоенной Эстонии, о жизни в лагерях для перемещенных лиц и об Америке написаны вяло; слабее всего те, которые претендуют на философские обобщения. И странно: готовя свою рукопись на домашнем компьютере, так ли трудно исправить хотя бы основные ошибки? В наши дни хорошо вычитанные книги — редкость, но по две-три опечатки, а то и ошибки на страницу (и таких страниц много), не чересчур ли?

Михаил Назаров. Триумф мировой закулисы. Десять уроков "демократических" выборов и русская идея. Москва, "Русская идея", 1996, 95 сс.

Кроме десяти главок, посвященных переизбранию Ельцина, Назаров включил в это издание три очерка о путях России. Назаров не выносит Ельцина, однако не во всем согласен и с Зюгановым, лидером, ему близким по духу, но нерешительным, непоследовательным и отягощенным старыми лозунгами. Россия, как выясняется из "Триумфа...", могла бы уже сейчас стать счастливой и процветающей страной, если бы не сговор двух врагов: Запада (особенно США), главная цель которого — ослабить могучего, но все еще грозного соперника, и иудаизированной денежной аристократии, а проще говоря, евреев, которые России чужды и которым чужда Россия, ибо иудаизм в дополнение ко всем своим грехам не признает бессмертия души. Видимо, Назаров евреев навидался вдоволь (сам Ленин был евреем, с. 37)) так что в углубленных теоретических изысканиях особой нужды не обнаружилось.

Русские, как заметил Назаров, — народ духовный (вроде японцев; в Японии, правда, автору как будто жить не приходилось), и для них в экономике этические ценности не менее важны, чем выгода. На Западе же нищие и безработные опасны своим недовольством, и лишь поэтому от них вынуждены откупаться разными пособиями. США были "изначально.. слеплены из денационализированных пришельцев от разных народов-"искателей счастья", не остановившихся перед геноцидом або-

ригенов". "Расчеловеченные" американцы, бездуховные космополиты и денежные мешки стремятся колонизировать весь мир. Ельцин и "демократы" активно им в этом деле способствуют. Но России, Святой Руси, выпала роль "удерживающего" (в библейском смысле этого слова). Четвертому Риму не бывать. Если вдохнуть в население истинную веру, то еще придет православный Царь, Царь-Помазанник, и обратит свою власть на бескорыстное служение нравственному идеалу народа, как это, добавим от себя, делали князья и цари на протяжении всей русской истории. Конкретной программы действий Назаров не предлагает, но против таких воинов, как он, мировая закулиса (выражение это идет от И. А. Ильина), надо полагать, не устоит.

Олег Агранянц. Враг народа. Подлый документ. Охотник за правдой. Пьесы. London, Overseas Publication Interchange Ltd., 1989, 272 сс.

Три пьесы, включенные в этот сборник, образуют цикл. Первая посвящена сделке Ленина с германским генеральным штабом и роли немецких специалистов в организации восстания 25 октября, вторая и третья — попыткам найти подлинник "Декларации о лояльности по отношению к Австро-Венгрии", в которой Ленин обещал способствовать победе немецкого оружия. Поисками этого "подлого документа" занимается хорошо законспирированный центр, имеющий поддержку в самых высоких эшелонах власти. На дворе 1989 год, и в самом СССР лед тронулся.

"Враг народа" (о Ленине, Зиновьеве, Парвусе, Крупской, Сталине и пр.) — наименее сценичная из трех пьес. Две других, напротив, написаны в жанре, который принято называть осторосюжетный детектив. Действие разворачивается, примерно как в "Опасном повороте" Пристли или "Мышеловке" Агаты Кристи. Все оказываются двойными агентами, происходят головокружительные превращения и загадочные убийства, но искомый листок бумаги то ли ускользает от "охотников за правдой", то ли будет найден, когда опустится занавес. Авантюрный настрой пьес делает их увлекательным чтением, но отодвигает на второй план "идею": приключения конспираторов гораздо интересней, чем тот документ, ради которого столько людей пускаются во все тяжкие.

Павел Кузнецов. Археолог. Роман. London, Overseas Publication Interchange Ltd., 1992. 173 сс.

Я не могу не начать с эпического введения. Вокруг бушует писательское море, издаются с напутственными предисловиями именитых прозаиков все новые книги, раздаются премии, а их лауреаты ездят по городам и весям с лекциями о своем творческом методе, но от большинства расхваленных книг не остается ни зарубки в памяти, ни следа в душе, а вместе с тем тут же, рядом, на складах типографий и на полках редакций, валяются блестящие романы, и они не только не удостоились громких похвал, но неизвестно даже, прочел ли их кто-нибудь. Один из таких романов — "Археолог" Павла Кузнецова. Его действие происходит, как кажется, в Ленинграде восьмидесятых годов. "Когда-то в этом городе обитали боги, они жили едва ли не в каждом пятом доме, но теперь было сложно представить, что они действительно существовали здесь когда-то — бродили, дышали и простужались так же, как и мы, на тех же улицах, проспектах и площадях". Таким городом мог быть только Петербург. Да и один из персонажей романа, семидесятилетний художник Ипполит Ильич, входит после войны в свою разоренную квартиру, в которой во время блокады погибли его жена и дочь. Сейчас он доживает свой век в средних размеров коммунальной квартире (той самой?), и в ней же обитает Археолог, специалист по древней истории, преподающий свой предмет в некоем Институте. Есть у него и другие соседи: неженатый отпрыск дворянского рода (с матерью) и опекаемый тетушкой "крепко просвиртованный" буян Гога, очень гордящийся тем, что в его жилах не течет голубая кровь. ("Надо сказать, что Гога заблуждался относительно своей родословной, — как потомственный жлоб и родовитый алкаш в третьем поколении он имел генеалогическое древо. Это был выродившийся потомок тех крестьян-"богоносцев", что перебрались в город в 21-м году, сразу же после трагического завершения неудачного романа — вековой безответной любви интеллигенции к народу, и теперь весьма напоминал то самое пугало, которым Мережковский стращал еще в 1905 году...")

Институт, поле деятельности героя, был когда-то средоточием блестящих умов (сразу вспоминается Институт истории искусств), но его в известные времена очистили от скверны и закрыли, а потом опять открыли, и сейчас он вполне образцовое советское учреждение. Тон в нем задают бодрые молодые диалектики, вскормленные историками новой формации. В отличие от средневековых схоластов они ни секунды не сомневаются, что бывшее можно сделать небывшим, и активно участвуют в

этом превращении. Но есть в Институте несколько человек, робко пытающихся воскресить ушедшее в небытие. Их не ждет ничего хорошего. Один уходит "по собственному желанию" после проработки, которая бы сделала честь 1951 году. Археолог как бы тает (его фамилия без всяких видимых поводов исчезает из официальных бумаг) и, не одумавшемуся вовремя, ему не может помочь даже участие старших товарищей, искренно желавших ему добра; глава робких историков принимает слишком сильную дозу снотворного. В жизни этих служителей Клио, знатоков погибших цивилизаций, были и женщины, а у одного даже есть ребенок, но какая уж там семейная жизнь!

Странные вещи происходят и с домом Археолога. Его ставят на капитальный ремонт. О, розовая мечта коммуналок! Теперь всех жильцов расселят по отдельным квартирам. На запросы героя ему отвечают, что слухи о расселении ложны, но время от времени перед подъездом останавливается фургон: очередной счастливец получил заветный ордер. Первым, конечно, уезжает Гога: туда, к Белым водам забвенья, где у него будет роскошное жилье с финским унитазом. И потомок аристократической фамилии получил ордер, и даже старик-художник (но он умер от сердечного приступа, так и не попав в земной рай). И наступает день, когда Археолог остается один в огромном доме, в котором забыли отключить свет и газ и куда доходит почта: восторженные послания от переселенцев.

В романе есть нечто вроде второго плана: дворницкая, кафе, чердаки и подвалы, где часами напролет, почти не закусывая, пьют и спорят о судьбах России, ищут духовного возрождения, ссорятся и обвиняют друг друга в отступничестве, а то и в стукачестве. Почти все спорщики как-то тоже оседают у Белых вод. Сколько уж таких книг мы читали! Но "Археолог" не похож ни на одну из них. Так безысходен этот роман, так безнадежны попытки его героев проникнуть в суть добра и зла, так страшно посмотреть на себя со стороны и понять, что провел весь век, гоняясь за призраками истины, ради которых пожертвовал даже финским унитазом! Какие шумеры в какой истории были призрачнее нас? Что делать, закрыв эти записки из советского подполья? "Нет, лучше упасть навзничь на тахту, завернуться в умирающие сумерки и лежать в полупрозрачной скорлупе, слыша, как стучит сердце".

Как во всяком истинном произведении литературы, главное в "Археологе" не сюжет, а характеры, композиция и язык. И риторика, и ирония в этой книге удивительно сдержанны, а действие предстает, как в замед-

ленной съемке, отчего ни одно движение, ни один жест не остаются незамеченными. Вот сокращенное описание Земли Обетованной глазами художника-модерниста, которого то подкармливали, то втаптывали в грязь: "Дима писал, что живут они теперь там, все вместе, втроем, у его тетки в деревянной избе на берегу Белых вод у самого озера.. жизнь тут совершенно удивительная.. проходит день за днем, а невозможно привыкнуть. Ну представь себе: озеро среди рощ и холмов, деревянные домишки — половина из них пустые, церковь, старый монастырь, изумительный воздух, никакой цивилизованной гадости. Мечта сбылась, они теперь поселятся в одной из опустевших изб, чтобы создать другую, новую жизнь, возродить русскую общину; они бросили пить, все вместе будут работать, пахать землю, косить, разводить скот. Пойми, убеждал он, тут все иначе — и хлеб, и молоко, и сено, небо, лес и снег, золоченые кресты на куполах, звон колоколов к обедне, — ты должен приехать сюда и увидеть все собственными глазами. Иного пути нет, рано или поздно все в этом убедятся. А ты там погибнешь или тебя окрутит эта чернота, поганые оккультисты, служители Сатаны, ну как можно верить во всю эту пакость! А какие тут люди — простые и удивительные, пусть их мало, но нигде больше таких не встретишь! И трудятся совместно, и живут смиренно в соборном единении, живут здесь жены благоверные со своими отечестволюбивыми мужьями, рожают им сынов славных, и хозяйство ведут, и не мыслят боле ни о чем.. Правда, на душе пока все равно тяжело, признавался он под конец, грехи не отпускают, никак не отойти.. Но дурное пройдет — уже март, пройдет Великий пост, будет Вербное воскресенье, потом Страстная, наступит Пасха. Христос восстанет из мертвых, люди выйдут под колокольный звон, и поедет Государь на белом коне со своею свитою, мы все встретимся, обнимемся, и свету не будет конца.. Письмо заканчивалось пожеланиями скорой встречи и упованием на всесильное "завтра", которое разрешит и осуществит все".

А тем временем Археолог сидит в мертвом доме и пишет, как все произошло (с этого и начинается роман). И однажды дом заколачивают. Об Археологе, уподобившемуся экспонату его собственных давнишних раскопок, забыли. Зеркало еще раньше перестало показывать его отражение, но он жив и, спотыкаясь о нечистоты и обдирая в кровь руки о ржавые замки, выбирается на крышу: "Он выполз, распрямился, стал, держась за козырек трубы, и ветер ударил в лицо, зашумел, заговорил, зашептал.. И гремела кровля, и стонали верхушки тополей, и чернели трубы, и ломались крыши, убегая вдаль, и стояло мертвое воинство антенных распятий, и сплошные темные облака медленно шли по небу, и

лежал под ними прах и пепел всех миров.. "И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба.. и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло..." И была тьма безвидная, и лежало внизу мертвое время — тысячи лет, и дальше на другом берегу, в глубине, за черной бездной, за книгою жизни, за кровью столетий, за озером огненным, за поверженным злом, — он все увидел, — был град Новый — россыпь слезящихся огней, тусклый дрожащий свет, туманность — как будто Млечный Путь упал на землю, мерцающий призрак свободы, финал, которому не суждено исчезнуть никогда".

Анатолий Либерман,
Миннеаполис

ОБ АВТОРАХ

АКСЕЛЬРОД Елена Мееровна. Родилась в Минске. Жила и работала в Москве. С 1991 г. — в Израиле. Автор книг лирики "Окно на север" (М., 1976), "Лодка на снегу" (М., 1986), "Стихи" (Иерусалим — СПб., 1992), "В другом окне" (Иерусалим, 1994). Опубликовала десять книг для детей. Печаталась в "Новом мире", "Дружбе народов", "Юности", "Огоньке", в сборнике "День поэзии" и др. Стихи включены в несколько антологий русской поэзии.

АРСЕНЬЕВ Алексей Борисович (1946, Югославия). Инженер, работает на нефтеперерабатывающем заводе в г. Новый Сад (Югославия). Публицист, исследователь культуры эмиграции. Возглавил редколлегию сборника "Русская эмиграция в Югославии" (М., 1996). Автор еще неизданной книги "На берегах Дуная" — о русских в Новом Саду.

ВЕРШИНИН Лев Александрович (1926, Москва). Окончил Военный институт иностранных языков. После демобилизации вернулся из Севастополя в Москву и занялся переводческой работой. Статьи об итальянской литературе и переводы печатались в журналах "Новый мир", "Знамя", "Иностранная литература", "Огонек". Статьи и переводы выходили в издательствах "Прогресс", "Гослитиздат", "Искусство". Опубликовал в издательстве "Детская литература" повести "Отныне и навсегда", "Рим или смерть", книгу сказок "Игра в загадки" и сборник рассказов "Серебряная рапира". Был членом Союза писателей. В США с 1995 г.

ГАРБЕР Марина Юрьевна (1968, Киев). Эмигрировала в 1990 г. Начала печататься в филадельфийском альманахе "Встречи" в 1993 г. Опубликовала сборник стихов "Дом дождя" (Филадельфия, 1995) и совместно с поэтом Гари Лайтом — сборник "Город" (Киев, 1997). Живет в Денвере.

ДРУЖНИКОВ Юрий Ильич (1933, Москва). Прозаик и историк русской литературы. Профессор Калифорнийского университета. Вице-президент Международного ПЕН-клуба (Американская секция "Писатели в изгна-

нии"). Был членом Союза писателей с 1971 г., исключен за антисоветскую деятельность в 1977 г. Автор книг "Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова" (Лондон, 1987; Варшава, 1990; Рига, 1990; Москва, 1995; США, 1996); "Ангелы на кончике иглы" (1989 и 1991); "Микророманы" (1991); дилогия "Узник России" ("Изгнанник самовольный" и "Досье беглеца", 1992, 1993, 1997); "Я родился в очереди" (1995); "Русские мифы" (1995).

ИОФФЕ Генрих Зиновьевич (1928, Москва). Доктор исторических наук. Имеет 320 публикаций по проблемам истории России. Статьи печатались в журналах "Наука и жизнь", "Отечественная история" и мн. др. Опубликованы монографии: "Февральская революция в английской и американской историографии", "Крах российской монархической контрреволюции", "Октябрь и эпилог царизма", "Белое дело. Генерал Корнилов", "Революция и судьба Романовых", "17-ый год. Ленин, Керенский и Корнилов" и др.

КАЗАК Вольфганг (KASACK Wolfgang, 1927, г. Потсдам, Германия). Профессор истории русской литературы Кельнского университета, автор ок. 700 публикаций, в том числе переведенного на русский и др. языки широко известного литературного словаря "Lexikon der Russischen Literatur des 20. Jahrhunderts".

КОСИНСКИЙ Иосиф Алексеевич (1929, Ленинград). В 1948 г. поступил в университет, через три года был арестован и приговорен к 10 годам концлагеря. Освобожден по амнистии в начале хрущевской "оттепели". Эмигрировал в конце 1981 г. Работал в "Новом русском слове" — опубликовал около четырехсот статей. Печатался также в "Русской мысли" и в журналах "Грани", "Континент", "Страна и мир", "Время и мы".

ЛЕБЕДЕВ Валерий Петрович (1937). Кандидат философских наук. Преподавал в вузах Минска и Москвы. Философские работы опубликовал в двух книгах. Многочисленные статьи печатались в "Дружбе народов", "Континенте", "Литературном обозрении", "Огоньке", "Независимой газете" и др. С 1992 г. живет в Бостоне. Печатается в эмигрантской и российской прессе. Имеет свою программу на американо-русском радио и издает альманах "Лебедь" на Интернете.

ЛЕДКОВСКАЯ Марина Викторовна (1924, Берлин). Эмигрировала в США в 1951 г. Получила докторскую степень в 1969 г. (Колумбийский университет, Нью-Йорк). Профессор Барнард колледжа при Колумбийском

университете. Автор книг: *The Other Turgenev: From Romanticism to Symbolism*; "Россия глазами женщин: Литературная антология"; *Russia according to Women: A Literary Anthology; A Dictionary of Russian Women Writers*. Около 60 публикаций в американских, немецких и русских журналах, сборниках, альманахах.

ЛИБЕРМАН Анатолий Симонович (1937, Ленинград). Преподавал английский язык в Политехническом институте. В 1965 г. защитил кандидатскую, в 1972 г. докторскую диссертацию. С 1972 г. ст. научный сотрудник в Институте языкознания АН СССР. С 1975 г. профессор германской филологии Миннесотского ун-та. Более 300 печатных работ, в том числе книги: "Исландская рапсодия", *Germanic Accentology, Word Heath*, переводы на англ. Лермонтова (1983) и Тютчева (1992), комментированные издания по-английски трудов Н. Трубецкого, В. Проппа, Стефана Эйнарссона. Автор поэтического сборника "Врачевание духа" (1996).

МАРК Григорий (1940, Ленинград). Две книги стихов — "Гравер" (Нью-Йорк, 1991), "Среди вещей и голосов" (Hermitage Publishers, 1995) и книга прозы "Имеющий быть" (СПб., 1996). Печатался в "Дружбе народов", "Гранях", "Звезде", "Континенте", "Знамени", "Новом мире", "Октябре", "Юности", в "Новом Журнале". Стихи переводились на английский.

ПОЛЧАНИНОВ Ростислав Владимирович (1919, Новочеркасск). Юрист по образованию, журналист по профессии, историк и общественный деятель. С 1921 в Югославии, с 1942 в Германии, с 1951 живет в США. Автор брошюры "По русским улицам Парижа" (1982), книг "Заметки коллекционера" (1988), "О Югославии и русских в Югославии" (1989), а также учебников для приходских школ. Выпускает бюллетень "Страницы истории". В "Новом русском слове" с 1968 по 1995 вел "Уголок коллекционера". Сотрудничает в русских, американских и сербских газетах и журналах.

ПОПОФФ Александра Григорьевна (урожд. Бакланова, 1959, Москва). Окончила Литературный институт им. Горького. В течение десяти лет работала корреспондентом и редактором в "Литературной газете". Печаталась в "Октябре", "Юности", "Огоньке" и др. периодических изданиях под псевдонимом Александра Ланина. В 1989 опубликовала в Москве сборник рассказов "Судьбы скрещенья". Была принята в Союз писателей. С 1992 г. живет в Канаде.

РАЕВ Марк Исакович (1923, Москва). Получил школьное образование в Германии и во Франции. Защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете в 1950 г. Автор книг: *Michael Speransky — Statesman of Imperial Russia 1772-1839* (два издания); *Origins of the Russian Intelligentsia — The Eighteenth Century Nobility*; "Понять дореволюционную Россию", "Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919-1939".

РАЗИН Виген Петрович (1922, Киев). Участник Великой Отечественной войны. Окончил факультет журналистики МГУ. Очеркист, прозаик, автор книг "Высоты", "Сильна любовь", "У времени на виду", "Строка в "амбарной книге", "Приношение в жертву" и др. Повести "Приношение в жертву" и "Смерч" печатались в НЖ. Живет в Москве.

САРАФАННИКОВ Николай Иванович (1942, Рыбинск). Филолог, образование получил в Московском и Петербургском университетах. Работал журналистом, редактором в издательстве. С 1983 живет во Франции. В Париже опубликовал поэтические сборники: "Кипрей" (1987), "Черствые именины" (1991), "Самсонов день" (1997).

СВИРСКИЙ Григорий Цезаревич (1921). Первая публикация — повесть "Заповедь дружбы" (1947). До изгнания из СССР по секретному постановлению Политбюро вышли еще две книги. В конце шестидесятых годов произведения Г. Свирского были запрещены и изъяты из библиотек. На Западе опубликовал книги "Заложники", "Полярная трагедия", "На лобном месте", "Прорыв", "Прощание с Россией", "Мать и мачеха", "Бегство". Произведения Г. Свирского переведены на главные европейские языки.

УРИН Виктор Аркадьевич (1924, Харьков). В 1942 г. — тюрьма и ГУЛаг. В 1943 тяжело ранен в боях за Днепр. В 1949 окончил Литературный институт им. Горького. Выпускал нелегальный журнал "Мост друзей". В 1972 г. исключен из Союза писателей. Эмигрировал в США в 1978. Начиная с 1938 г., т. е. за шестьдесят лет творческой работы, вышло более сорока книг, в том числе "Избранная лирика" (1970), "Избранные стихи" (1972), "Книга жизни" (1974), трехтомник "Жизнь поэта" (1979-1981), "Собрание сочинений" (вышло 5 тт., 1988-1993), "Эпос. Двенадцать поэм" (1997).

КНИГИ НА ОТЗЫВ

Hilton, Alison. *Russian Folk Art.* Indiana Univ. Press, Bloomington & Indianapolis, 1995.

Сергей Шабалин. *Прогулки по облакам.* Стихи. Изд. "Спектр", Нью-Йорк, 1995.

L. Flieshman, H.-B. Harder, S. Dorzweiller. *Boris Pasternaks Lehjahre* (*Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса Пастернака*), в 2-х тт. Stanford Slavic Studies. Stanford, 1996.

Борис Пастернак и Сергей Бобров: письма четырех десятилетий. Публикация М. А. Рашковской. Stanford, 1996.

After Plattling. Published by Olga Müller Cooke. Berkeley Slavic Specialties, 1996.

Андрей Архипов. *По ту сторону Самбатиона (этюды о русско-еврейских культурных, языковых и литературных контактах в X-XVI веках).* Berkeley Slavic Specialties, 1996.

Вадим Андреев. *Стихотворения и поэмы.* В 2-х тт. Berkeley Slavic Specialties, 1996.

Валерий Черешня. *Своё время. Стихи.* Hermitage Publishers, 1996.

The Reluctant Modernist. Andrei Belyi and the Development of Russian Fiction 1902—1914. By Roger Keys. Caledon Press. Oxford, 1996, 268 pp.

Literary Translation in Russia. A Cultural History. By Maurice Friedberg. Pennsilvania State University Press, 1997, 224 pp.

Исследования по славянскому фольклору и народной культуре. Под ред. А. Архипова и И. Полинской. Выпуск 1, 140 сс.; вып. 2, 162 сс. Berkeley Slavic Specialties, 1997.

Кофейня разбитых сердец. Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О. Э. Мандельштама.. Stanford Slavic Studies. Vol. 12, 1997, 88 сс.

Игорь Ефимов. *Четыре горы.* Hermitage Publishers, 1997.

Андрей Битов. *Новый Гулливер.* Hermitage Publishers, 1997.

А. Р. Небольсин. *Le soleil inconnu II. Неведомое солнце.* М., Христианское издательство, 1997.

Довид Кнут. *Собрание сочинений. В двух томах.* Т. 1. Сост. и автор комментариев В. Хазан. Иерусалим, 1997, 420 сс.

Гари Лайт, Марина Гарбер. *Город.* Стихотворения. Киев, 1997, 78 сс.

Татьяна Аист. *Китайская грамота.* Poems in Russian, English, and Chinese. Филадельфия, "Побережье", 1997, 92 сс.

Григорий Марк. *Имеющий быть.* СПб., Роспринт, 1996, 110 сс.

Р. Р. Чайковский. *Поэтический перевод в зеркале мнений (15 интервью).* Магадан, 1997, 102 сс.

Давид Шраер-Петров. *Пропащая душа.* Стихотворения и поэмы., 1997, 101 сс.

Константин Мочульский, А. Блок, А. Белый, В. Брюсов. Сост., автор предисловия и комментариев Вадим Крейд. М., "Республика", 1997, 480 сс.

Дмитрий Бобышев. *Ангелы и силы.* Стихи. Нью-Йорк, "Слово", 1997, 110 сс.

Глеб Глинка. *Собрание стихотворений.* М., "Дом-музей Марины Цветаевой", 1997, 198 сс.

“РУССКАЯ МЫСЛЬ”
Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе.
Гдавный редактор Ирина Иловайская-Альберти
Редакция и контора: 217, rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

ПОДПИСКА НА “РУССКУЮ МЫСЛЬ”

(В указанные цены входят почтовые расходы)

	6 мес.	1 год
Обычной почтой:		
Франция:	**280 F**	**450 F**
	(56 $)	**(90 $)**
Другие страны:	**450 F**	**700 F**
	(90 $)	**(140 $)**
Авиапочтой		
Европа и Сев. Африка:	**500 F**	**800 F**
	(100 $)	**(160 $)**
Израиль, Иран:	**580 F**	**850 F**
	(116 $)	**(170 $)**
Америка, Южная Африка:	**620 F**	**950 F**
	(124 $)	**(190 $)**
Австралия, Япония:	**720 F**	**1000 F**
	(144 $)	**(200 $)**

Комитет "Книги для России"
при благотворительном фонде
"Демократическая Россия—США"

Комитет "Книги для России" создан с целью сбора и пересылки в Россию книг, представляющих духовное и культурное наследие русской эмиграции. В задачу Комитета входит также выявление в США находящихся в частных руках русских архивов и других материалов, представляющих собой литературный и исторический интерес.

В России Комитет сотрудничает с библиотекой-фондом "Русское Зарубежье", организацией, основанной Фондом А. И. Солженицына, парижским издательством YMCA-Press и правительством Москвы. Библиотека-фонд "Русское Зарубежье" (директор В. М. Москвин), помимо создания представительного рукописного и книжного собрания в своем московском центре, занимается также распространением книг русской эмиграции в городах России и Ближнего Зарубежья, в странах Балтии и Восточной Европы и имеет уже более сорока филиалов.

Если дарители книг и архивов высказывают пожелание, чтобы их материалы были переданы в России определенным библиотекам или организациям, Библиотека-фонд выступает в качестве гаранта выполнения воли дарителя.

В правление Комитета входят: Людмила Оболенская-Флам (председатель), в прошлом ответственный сотрудник радиостанции "Голос Америки"; д-р лингвистики Галина Туник-Роснянская (секретарь), в прошлом профессор Калифорнийского университета и дипломатический переводчик Госдепартамента США; проф. Ольга Раевская-Хьюз, бывший сотрудник кафедры славистики Калифорнийского университета (Беркли).

Все члены Правления работают на добровольных началах. Единственный расход Комитета связан с обеспечением транспорта книг, для чего Комитет проводит акции по сбору средств и с благодарностью принимает пожертвования, которые жители США имеют право списывать с налогов как на благотворительность.

За справками обращаться:

Л. С. Оболенская-Флам
P. O. Box 354
Port Tobacco, MD 20677

или на западном побережье:

О. П. Раевская-Хьюз
(510) 549-3436

The NEW REVIEW (NOVYI ZHURNAL) is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly in the free world. It requires the support of loyal friends:

Patron	– $1,000
Benefactor	– $ 500
Sponsor	– $ 250
Fellow	– $ 100
Friend	– $ 50

The Internal Revenue Service has determined, in a letter of March 29, 1990, that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a "public charity" pursuant to the provisions of the Internal Revenue code.

Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks may be made to The NEW REVIEW.

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 842
New York, NY 10012

РЕДАКЦИЯ
РАСПОЛАГАЕТ

номерами "Нового Журнала" прошлых лет издания.

Цена — от 15 до 10 долларов.

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА "НОВЫЙ ЖУРНАЛ"
— ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДРУЗЕЙ
И РОДСТВЕННИКОВ В С. Н. Г.

Стоимость подарочной подписки,
включая пересылку — $ 40.00

Новый Журнал
THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Подписная цена на 1997 год (за 4 книги)
для университетов и организаций — $60.00
(пересылка в США — $7.00, за границу — $14.00)

Индивидуальная подписка (за 4 книги) — $40.00
(пересылка в США — $7.00, за границу — $14.00)

Цена отдельного номера — $12.50
(пересылка в США — $1.70, за границу — $3.00)

Плата от заграничных подписчиков принимается
ТОЛЬКО в международных чеках.

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ
"НОВОГО ЖУРНАЛА":
The New Review
611 Broadway, #842
New York, NY 10012

Телефон и факс редакции (212) 353-1478
e-mail: nreview@village.ios.com

Прием по делам редакции и конторы
— по понедельникам, средам и пятницам
от 10 до 12 дня

Наш представитель в Москве:
Галина Ивановна Завидовская
Тел.: (095) 468-4457